НАПОЛЕОН

МЕМУАРЫ КОРСИКАНЦА

ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В историческом романе Эдварда Радзинского поверженный император на острове Святой Елены сам описывает свой фантастический путь.

Великий избранник судьбы объясняет и что такое счастье и как услышать голос Судьбы и почему изменчивая фортуна дает удачу и когда она отворачивается от нас. Наполеон описывает любовь, политику и великие битвы, чтобы здесь в заточении одержать последнюю и самую главную победу – в сражении с Историей. Мы узнаем его тайны и загадку смерти породившей столько версий и легенд.

«Невозможно» – это слово предназначено для словаря дураков.

Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую.

Книга также выходила под названием «Наполеон. Жизнь после смерти».

- Эдвард Радзинский
  -
  - Письмо издателю
  - Рукопись
  - Обычный вечер
  - Жаркие дни после Ватерлоо
  - Генерал Бонапарт
  - Император Наполеон
  - «Святая Елена, маленький остров»
  - Исчезнувшая битва
  - Из архива Шатобриана
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37

Эдвард Радзинский
Наполеон. Мемуары корсиканца

© Радзинский Э. С., 2013
© ООО «Издательство АСТ», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

* * *

Письмо издателю

Я купил рукопись Лас-Каза в сентябре 1842 года в Женеве. Основной текст рукописи написан, видимо, в 1815 году. Но много позднее автором были сделаны многочисленные вставки в этот текст – другими чернилами. Думаю, их следует набирать курсивом.

P. S. Вчера я читал рукопись маленькому Гийому. Ему четырнадцать лет, он родился после смерти Бонапарта, и все великие имена, столь недавно будоражившие воображение века, ему уже неизвестны. Банальное, но, увы, вечное – Sic transit gloria mundi! А что будет еще через десяток лет?..

Поэтому высылаю с нарочным самые краткие (ибо ненавижу, когда прерывают чтение) примечания.

Рукопись

Долго смотрел я на свою, увы, дрожащую руку: переплетение морщин – таинственная карта…

Однако к делу. С острова Святой Елены вернулся мой сын… Нехороша фраза. Нет в ней силы, как любил говорить император. Он умел чеканить строку. Его обращения к армии… «красноречие победы»…

Король[1] *послал целую делегацию выполнить последнюю волю императора – привезти его тело в Париж. Я не поехал: мне восемьдесят лет, и я вижу все хуже и хуже. Книги, труд с пером убили мое зрение…*

А на остров за гробом отправилась знакомая (но – увы! – прополотая временем) компания – те, кто разделял вместе со мной изгнание императора.

Поехали:

Мой сын.

Гофмейстер двора императора граф Бертран. (Теперь ему под семьдесят. Его белокурая жена Фанни умерла, он поехал с сыном.)

Камердинер императора Луи Маршан. (Я помню его юношей, а нынче он – почтенный буржуа.)

Слуги императора Сен-Дени и Новерра – повар и конюх.

Генерал Гурго. Этот несносный человек сохранил свой отвратительный характер и в долгом плавании сумел перессориться со всеми.

Не поехали:

Я.

Граф Монтолон. Говорят, что за какие-то девять лет он промотал полтора миллиона франков. Буквально за несколько месяцев до поездки он поступил на службу к племяннику императора[2]*. Монтолон умудрился возглавить экспедицию, которая должна была свергнуть короля и возвести на трон Луи Наполеона. Эти идиоты решили повторить подвиг покойного императора. Но великий побег с острова Эльба превратился в жалкую комедию. В их заговоре конечно же участвовали агенты короля, и когда простаки высадились в Булони, их уже ждали. Графа Монтолона осудили на двадцать лет.*

Врачи, лечившие императора, О'Мира и Антомарки. Оба этих лекаря весьма поспешно последовали на тот свет за знаменитым пациентом.

Мне хочется написать – ***слишком поспешно…***

На острове императора похоронили, как он того желал – подле родника с чистой водой, текущего мимо двух ив, на небольшой полянке, заросшей цветами. Место называлось «Долина герани».

Хорошо помню, как он впервые увидел это место с вершины оврага. И, усмехнувшись, сказал мне: «Здесь меня следует похоронить». Это случилось месяца через три после нашего приезда. Он тогда был отменно здоров, в расцвете сил – ведь ему не было и пятидесяти… Так что я только улыбнулся.

Но там его и похоронили. Там он и лежал почти двадцать лет и ждал, пока за ним приедут из Парижа. Ждал под безымянной плитой, которую охраняли английские солдаты.

Я не видел ни похорон, ни могилы. Император умер после того, как меня увезли с острова.

* * *

Сын рассказывал мне: когда подняли безымянную плиту, под нею оказались еще несколько тяжелых плит (две были отлиты из металла). Император покоился в четырех гробах, заключенных друг в друга. Так англичане стерегли его после смерти…

Наконец открыли последний гроб. В истлевшей одежде, покрытый истлевшим синим плащом с серебряным шитьем (в нем он был при Маренго), император лежал совершенно… живой. Он был таинственно не тронут тлением!

И Бертран воскликнул:

– Как он помолодел… юноша!

– Просто мы стали стариками, – ответил Маршан, – а император все такой же.

– Нет, – шептал Бертран, – он отчего-то не подвергся тлению. А ведь его не бальзамировали…

– Он всегда побеждал, – сказал Маршан. – Победил и тление. Фраза слишком патетичная для бывшего камердинера. Я услышал в ней голос императора.

После чего Маршан вынул бумагу и прочел несложные и странные строки:

– Император завещал передать вам: он всегда знал, что вернется в свой город, и Париж еще услышит знакомое: «Да здравствует император!»

Мой сын сказал, что все это было написано… рукой самого императора! И тогда вся компания прокричала над открытым гробом:

– Да здравствует император!

Теперь я уверен: Маршан всё знал. И император знал, что не подвергнется тлению…

Я пошел встречать его гроб, когда он прибыл во Францию, хотя сын отговаривал – декабрь, ледяной ветер… Я стоял в толпе. Ив меркнущем свете (мои глаза!) неясно видел, как гроб, покрытый черным покрывалом, плыл в воздухе, качался на фоне парусов.

Император вернулся.

Я сильно простудился. Встану ли?..

* * *

Открываю записную книжку и в который раз перечитываю старые записи.

Его тайна…

25 ноября 1816 года я в последний раз видел императора.

В ту ночь, вопреки обыкновению, он отпустил меня рано. Я тотчас уснул, но посреди ночи проснулся от ужасающего грохота. Выбили дверь. Ворвались. Зажгли свечи… Солдаты побросали мои вещи в сундуки.

Как я боялся вмешательства императора! У его постели всегда стояло заряженное ружье… Но из спальни не донеслось ни звука. Неужели он не проснулся? Какое счастье!

Меня вывели в ночь. И в окне я увидел… лицо императора! Освещенный свечой – ее держал Маршан – император совершенно спокойно смотрел, как меня уводили…

Только теперь я понимаю: он этого хотел. Ведь вместе со мной на волю уходило все, что он рассказал мне…

Через час я сидел в маленькой камере. Утром пришел губернатор. Говорят, доктор О'Мира рассказал ему о слабом здоровье моего сына – просил не высылать меня. Губернатор ответил: «Что значит для большой политики смерть одного ребенка!»

Губернатор проследовал в камеру. Потрясая моим (перехваченным) письмом, он кричал, что предупреждал меня не писать клевету на него и английскую корону, прославляя преступника – «генерала Бонапарта» (так он называл императора). Я тотчас предупредил, что хотя сейчас, к его счастью, я безоружен, но – клянусь честью Лас-Казов! – впоследствии отыщу его хоть на дне морском. И он мне ответит –

мы будем драться!.. Жалкий трус пытался расхохотаться, но по лицу было видно – испуган.

Потом меня посадили на корабль, идущий до мыса Доброй Надежды. Я заболел тропической лихорадкой, несколько месяцев провалялся в госпитале. Но Господь помог мне. Вопреки приказу губернатора, меня с сыном отправили в Лондон. Мои бумаги были опечатаны и лежали в каюте капитана. В Лондоне их отобрали. Но кое-что я сумел спрятать…

Через много лет я вернул все свои бумаги. И написал, книгу, которая стала знаменитой. Я составил ее из записей, которые продиктовал мне император. Величайшие умы нашего времени признают, что во многом благодаря этой книге он вновь стал кумиром просвещенной Европы.

И вот вчера вернулся на родину и его прах. Но только теперь, вспоминая все, перечитывая заново свои бумаги, я догадался… Яне понимал главного! Все мы – я, его свита, охранники, губернатор и даже сам остров, на который его сослали, – были лишь жалкими марионетками в игре императора. Точнее – в его последнем сражении, которое он выиграл при нашей общей помощи.

Да, я часто перечитываю его слова… И все, что произошло, представляется мне совсем в ином свете.

И его смерть – тоже.

О себе. Я – Эмманюэль Огюст Дьедонне Мариус Жозеф маркиз де Лас-Каз. Еще в XI веке мой предок прославился в сражениях с маврами. Я появился на Божий свет в родовом замке Лас-Казов в департаменте Верхняя Гаронна.

Судьба будто направляла нас друг к другу. Я учился в том же Парижском военном училище, которое четырьмя годами позже окончил император. Я был морским офицером, когда познакомился на Мартинике с Жозефиной де Богарне (тогда ее звали Мари Жозе-Роз Таше де ля Пажери). Креолка… она – само желание, маленькая богиня… Потом судьба разбросала нас.

После революции я эмигрировал, был в армии принца Конде, сражавшейся против Республики. И только при императоре получил возможность вернуться во Францию. Тогда я и узнал обо всех событиях бурной жизни моей хорошей знакомой. Оказалось, она переехала в Париж:, где вышла замуж за виконта де Богарне, впоследствии генерала революции (и, конечно же, гильотинированного той же революцией). Креолку спасло только падение Робеспьера. Ну а далее, как известно, она стала женой генерала Бонапарта и, наконец, императрицей французов.

Благодаря Жозефине (во-вторых) и собственным

достоинствам (надеюсь, во-первых), я сделал карьеру в империи: получил графский титул, пост камергера и успешно исполнил ряд секретных дипломатических поручений. Но главное – стал автором «Исторического и географического Атласа», весьма популярного в Европе.

В окружении императора я появился после его возвращения с Эльбы, во время великих Ста дней, «когда орел вновь распростер крылья над Францией» (его фраза). Но только после Ватерлоо, в дни отречения, я оказался рядом с императором. И вместе с ним отправился на Святую Елену.

Я пробыл там почти год, и все это время непрерывно вел записи под диктовку императора. Порой мы работали по шестнадцать часов в сутки… пока не наступил тот самый день – 25 ноября 1816 года.

Лицо императора, освещенное свечой в окне… оно исчезает в ночи… Скоро, скоро оно исчезнет вместе со мной…

Обычный вечер

Первый раз догадка о его тайне мелькнула уже на острове. В тот вечер мы ужинали как всегда в восемь. И вначале все шло как заведено. Это был самый обычный вечер. Я описал его тогда же в своих записях.

Перед ужином он позвал меня в кабинет – маленькую комнатушку. В доме их два десятка, в них живет полсотни человек. Слуги ютятся и в чердачных помещениях.

На месте дома когда-то был скотный двор. Целых полстолетия здесь мирно обитали домашние животные. И только недавно его превратили в жилище, настелив доски поверх свиных экскрементов. Сегодня утром прошел дождь и из-под досок особенно несет навозом. Это напоминает о прошлом дома… В другие дни запах менее силен, но постоянен.

На нашей проклятой скале всегда сыро – мы живем среди вечных туч. Когда внизу над долинами сияет солнце, здесь идут дожди. Книги и мои записи постоянно покрываются плесенью.

Но он, император-солдат, живший в палатке на бивуаках, не снимавший во время маршей по нескольку дней сапог, будто не замечает ничтожества своего нынешнего жилища… Нет, не так: замечает, но не страдает.

Страдаем мы.

Император занимает две комнатушки по двенадцать метров с низенькими потолками. Здесь его кабинет и спальня.

В кабинете на жалких обоях – портреты Марии Луизы, Жозефины и сына в столь нелепых здесь великолепных рамах из Тюильри. И огромный стол, занимающий почти всю комнату.

– Садитесь, – сказал мне милостиво император. – Сегодня после ужина я хочу прочесть в салоне вольтеровскую «Заиру».

Обычно после ужина он развлекает нас чтением своих любимых произведений. Но (тоже как обычно) пьеса куда-то запропастилась. Вещи как-то умудряются теряться в этой крохотной комнатушке!

Император беспомощно ищет пьесу на столе, на стульях, даже на полу, подслеповато роется в бесконечных бумагах. Приподнимает карты собственных походов и походов Цезаря. Ворошит кипу страниц, записанных мною под его диктовку…

И тут я впервые замечаю: буквально в последние дни император начал стремительно (и загадочно) дряхлеть…

Пьеса нашлась на столе.

На том же столе вскроют его мертвое тело.

Она торчала из-под треуголки, которую император всегда почему-то кладет на стол поверх карт. И когда он, торжествуя, приподнял свою знаменитую, оставшуюся на тысячах картин треуголку, из-под нее выскочила огромная крыса. В доме множество крыс, и они особенно полюбили треуголку императора.

Крыса плюхнулась на пол, и я с отвращением смотрел, как эта жирная тварь неторопливо уползала в дыру между досками. Император рассмеялся. Крысы его не смущают – они напоминают о походах, о времени славы…

Часы пробили восемь. Киприани (слуга, он же – уши императора) в черных панталонах и темно-зеленом мундире с золотым шитьем торжественно застыл у двери с бронзовым канделябром в руке.

С последним ударом часов он объявляет:

– Ужин Его Величества подан!

Император предлагает руку даме. Как обычно, это Альбина Монтолон, жена графа Монтолона. Другая дама – Фанни Бертран, жена гофмейстера – не пришла, лежит дома с мигренью. Так она объявила. На самом деле она попросту не любит наши «сборища».

Император и Альбина первыми входят в еще одну комнатушку, именуемую «столовой Его Величества». За ними следуем мы, три графа: Монтолон, Бертран и я, Лас-Каз. И чуть сзади – один барон, генерал Гурго.

Генерал, как обычно, зол и старается затеять ссору. Я слышу, как он шепчет Монтолону: «Если ваша жена – шлюха и спит с императором, это еще не повод садиться на почетное место». (Почетные места – стулья рядом с императором.) Мне Гурго уже успел поведать, что не может видеть, как жадно я ем, «это неестественно при таком тщедушном теле». Садясь, он поспешил сказать неприятное и гофмейстеру: «Все же лучше иметь жену-шлюху, как у Монтолона, чем худую белобрысую селедку с вечной мигренью». И уже за едой он сообщает нам троим свистящим шепотом, что мы можем его «вызвать», если сочтем нужным.

Мы давно привыкли к генералу. И гофмейстер остается невозмутим, и Монтолон делает вид, что не расслышал. Только я не выдерживаю и шепчу в ответ что-то злое.

Император ужинает в мундире гвардейских егерей.

В нем его и похоронят.

Все мы сидим перед тарелками севрского фарфора, украшенными сценами его победоносных сражений. И с тоской глядим на пьесу, которую император торжественно положил рядом с собой. Понимаем, что чтения (император читает ужасающе, усыпительно-монотонно) не избежать.

Покончив с едой, переходим в «салон» – еще одну столь же восхитительную комнатушку, пахнущую навозом. И, как обычно, Альбина Монтолон поет любимые арии императора.

Потом играем в карты. Император рассеянно глядит куда-то поверх голов и равнодушно проигрывает несколько золотых наполеондоров.

Потом, опять же как обычно, он заговорил о литературе. Заговорил со мной – остальным эта тема скучна.

На сей раз император хвалит Шатобриана. И себя – за то, что не отправил Шатобриана в тюрьму.

Он глядит на меня, и я понимаю – этот разговор нужно записать.

– Я несколько раз должен был посадить его в Венсеннский замок! Сначала Шатобриан написал в своей газете… – Император с удовольствием цитирует по памяти: – «Что с того, что Нерон процветает, где-то в империи уже рожден Тацит». Нерон, как всем должно было быть понятно, – я. А Тацит конечно же… Не обращать внимания на газеты – это то же, что заснуть на краю пропасти. И я позвал к себе Шатобриана. Лесть – отличное средство, чтобы держать в узде господ литераторов… Я сказал Шатобриану: «Как странно – маленькая литература всегда за меня, а великая почему-то против». Он молчал, хотя по лицу было видно – доволен! Тем временем у него сделали тайный обыск и нашли некую рукопись о смерти Бомарше, где были какие-то глупости обо мне, о бегстве короля… – Император, усмехнувшись, посмотрел на меня: – Это можно не записывать. Потом мне передали речь Шатобриана, которую он собирался произнести при вступлении в Академию. Когда я прочел ее, я был краток: «Ему повезло. Будь она произнесена, этого господина непременно пришлось бы отправить в каменный мешок». Но, ценя поэта, я сам занялся правкой его речи. И конечно же он отказался ее исправить. И конечно же я его не тронул – но отправил в ссылку… Но воздадим ему должное: он много сделал для торжества любимых им Бурбонов. И он воистину великий человек…

Я понял – это надо записывать. Император кивнул. И вздохнув, прибавил, что вообще-то Шатобриана он не любил и

что поэт в своих памфлетах против него часто опускался до клеветы.

Это записывать было не нужно.

– Но за одну фразу Шатобриана о Фуше и Талейране, – продолжал император, – я все готов ему простить. Когда жалкий король вернулся в Париж, перед его покоями появились мсье Талейран и мсье Фуше. И Шатобриан заметил: «Вот идет Порок об руку со Злодеянием!»

Это необходимо было записать. Император вновь одобрительно кивнул и пояснил:

– У Шатобриана лучшее перо во Франции. Прочтя наши слова о себе, он не преминет написать и о нас что-то стоящее.

Император, как всегда, думал об Истории.

«Он вернул Богу самую могучую душу, когда-либо вдохнувшую жизнь в глину, из которой лепится человек», – написал Шатобриан после смерти императора.

Император и здесь не ошибся.

Он заговорил о Цезаре, попросил Гурго принести карту. И по карте дал несколько ценных советов галлам, как им было лучше выстроить оборону против Цезаря две тысячи лет назад. Жаль, что галлы не могли этого услышать…

Потом он сказал:

– А теперь, господа, идемте в театр.

Сие означало: он будет читать пьесу.

Император читал «Заиру» усыпительным голосом и снова давал советы. На сей раз Вольтеру – как ему было лучше написать последнее действие. Жаль, что и Вольтер в своей могиле не мог этого слышать…

Он кивнул мне, и я записал его советы Вольтеру.

Потом он сравнил «Заиру» с «Тартюфом» и заговорил о Мольере:

– Мир – это воистину великая комедия, где на одного Мольера приходится с десяток Тартюфов. – Он скосил глаза, удостоверился, что я записываю, и прибавил: – Но я не поколебался бы запретить постановку этой великой пьесы: там есть несколько сцен, оскорбляющих нравственность.

Это записывать явно не стоило. Я отложил перо.

Император кивнул.

Все, кроме меня, после сытного обеда борются с дремотой. Но «салон» нельзя покидать, пока император не скажет обычное:

«Который час, господа? Ба! Однако пора спать!»

Сегодня император особенно милостив. К восторгу присутствующих, он глядит на часы Фридриха Великого, стоящие на камине, и говорит:

– Ба! Однако…

Он встает.

– Пора спать!

Перед сном камердинер Маршан позвал меня в спальню императора.

Потертый ковер на полу, муслиновые занавески на окнах, грубые деревянные стулья и походная кровать с зеленым пологом из его палатки под Аустерлицем. Перед кроватью китайская ширма. На камине серебряная лампа и серебряный таз для умывания. Остатки империи…

В спальне я застал скандального генерала. Император говорил ему, снимая мундир:

– Послушайте, Гурго, вы несносны. Вы действительно спасли мне жизнь в России, вы храбрый солдат и хороший штабной офицер, с вами интересно обсуждать походы Цезаря, но… вы несносны!

– Вы окружены льстецами, только их и цените. А этот Лас-Каз, с которым вы неразлучны и позволяете ему записывать за вами… он первый вас и предаст, – сказал Гурго, глядя прямо на меня.

Я собирался ответить наглецу, но император предостерегающе поднял руку:

– Это не так, и вы это сами знаете. Но если бы и так… Я люблю полезных мне людей, и люблю в той мере, в какой они полезны. Мне нет дела до того, что они думают. Если они впоследствии предадут меня… что ж, они сделают то же, что и многие другие. Род человеческий должен состоять из очень больших негодяев, чтобы оправдать мое мнение о нем.

Он засмеялся. Гурго угрюмо молчал.

– Простите его, Лас-Каз. Он нервен, ибо молод… и ему, видимо, попросту нужна женщина. Но это не повод беситься и бесить нас всех. В конце концов, Гурго, спуститесь вниз, в городок, и уладьте это обстоятельство. Или поступайте, как я – не думайте о женщинах. Если о них не думаешь, они не нужны. Берите пример с меня.

Тут Гурго не выдержал. Его понесло:

– Брать пример с вас, Сир? Вчера я застал Альбину в вашей комнате полуодетой. А до этого я видел… она сидела около вас в ванной!

Император усмехнулся:

– Ну хорошо, даже если я сплю с нею… а это отнюдь не так… что тут обидного для вас?

– Нет, в это я не верю, – съязвил генерал, – не могу даже предположить, что у Вашего Величества такой дурной вкус!

Император посмотрел на него. У него бывает страшный взгляд: в нем нет ни злости, ни угрозы – просто бездна. И ты содрогаешься…

– Простите меня, Ваше Величество, – прошептал Гурго.

В июле 1816-го Альбина родила девочку и назвала ее Наполеона. И покинула остров.

Подавленный Гурго ждал разрешения удалиться. Император долго молчал, потом заговорил:

– Потерпите немного. Когда я умру, вам всем достанется приличное состояние – я об этом позаботился. Но сейчас, в этом аду, мне хочется видеть вокруг себя только веселые лица. И если вы не можете… лучше уезжайте. Я вас отпущу.

И когда, окончательно уничтоженный, Гурго уходил, император вдруг сказал:

– Неужели вы думаете, что я не переживаю самые горькие минуты, когда просыпаюсь ночью и вспоминаю… Но я же терплю!

Гурго заплакал.

* * *

Впрочем, придя в свою комнату (ему определили самую убогую, ибо он приехал один – я был с сыном, Бертран и Монтолон с женами), Гурго не простил себе слез. И мстительно записал в дневнике «Жалкий Монтолон, какую роль он играет! И этот противный уродец Лас-Каз, который столько о себе думает!»

Поразмыслив, он внес в дневник и последние слова императора. А потом на протяжении недели каждый день писал одно и то же: «Скука… Скука… Великая скука!»

Незадолго перед моим отъездом Гурго со злобной улыбкой показал мне эти записи.

Мы с императором одни. Второй час ночи. Император расхаживает по спальне, и очередная крыса ринулась от него в дыру между досками.

Он посмотрел на знаменитую кровать, на которой спал в дни

Аустерлица. Кровать была расстелена, и ширма, прикрывавшая ее, отодвинута.

И вдруг император сказал:

– А ведь я на ней умру…

– Да что вы такое говорите, Ваше Величество, – запротестовал я, подумав: «Вот уж непохоже…» И посмотрел на него внимательно, чтобы ничего не пропустить, когда буду описывать его в моих записях.

Короткие ноги, крупная плоская голова, каштановые волосы, сильные плечи, толстая шея. Квадратный подбородок тяжеловат и несколько нарушает классичность профиля. У него красивый нос, лоб без единой морщины, великолепные зубы (которым завидовала Жозефина) и холеные руки. Полная (даже несколько женская) грудь с редкими волосами едва прикрыта халатом. Когда я впервые увидел его в ванне (он обожает там сидеть), я поразился – какой маленький член у императора… как у мальчика…

Таков облик человека, потрясшего воображение мира.

«Целых полтора десятка лет в Европе жил лишь один человек – все остальные стремились наполнить свои легкие воздухом, которым дышал он», – напишет все тот же Шатобриан. После падения императора по Европе прокатилась волна самоубийств молодых людей – мир для многих потерял былую притягательность.

– Вы правы, Лас-Каз, сейчас я здоров. – Император, как всегда, читал мысли. Для тех, кто был с ним рядом, это давно перестало быть удивительным, сделалось даже привычным. – Мое сердце делает шестьдесят два удара в минуту, я его попросту не чувствую. Природа наградила меня двумя способностями для истинного долголетия: спать в любое время суток и не излишествовать в еде и питье. Вода, воздух и чистота – главные лекарства в моей аптеке. У меня железное здоровье хорошего солдата. И все-таки… все-таки я скоро умру. И не надо тратить время на пустые возражения. Я уже говорил вам, что у меня есть некое внутреннее чувство… я всегда – слышите: *всегда!* – знаю, что меня ожидает. За семь дней до моего рождения на небе появилась комета. И поверьте, скоро она появится вновь – уже над этим островом. Кометы возвещают о рождении и смерти великих властителей… И еще: однажды ко дню рождения мне прислали забавный подарок. В Парижском военном училище разыскали мою юношескую тетрадь – записи по географии, знаменитый курс аббата Лакруа. И последняя запись в этой тетради была… вы уже

догадались?

Он посмотрел на меня, застывшего с пером, и улыбнулся:

– «Святая Елена, маленький остров». И всё! Далее записи почему-то обрывались, хотя в тетради оставались пустые страницы, много пустых страниц. А ведь я тогда был беден и экономен… Я тотчас вспомнил об этом на корабле, когда эти негодяи объявили мне место изгнания. И понял – это моя последняя гавань… конец… Так и запишите: «Со мной никогда не случалось того, чего бы я не предвидел». Наши милые глупцы так и не поняли, почему сегодня я читал им «Заиру»…

И он продекламировал из вольтеровской пьесы:

– «Но увидать Париж мне недостанет силы.

Ужель не видите – я на краю могилы!»

* * *

Так что я не удивился, когда узнал от Маршана, что в первых числах февраля 1821 года (за три месяца до смерти императора) над Святой Еленой появилась… да, комета!

Маршан рассказывал: «Комета! – воскликнул император с какой-то странной радостью. – Я ждал ее! Комета возвестила смерть Цезаря и вот – возвещает мою…»

Третий час ночи. Император в вишневых шлепанцах и белом халате расхаживает по комнате. Он думает. Машинально тронул знаменитую треуголку, на этот раз положенную им на камин. Очередная крыса тотчас плюхнулась на пол. Как они полюбили его шляпу! И когда они только успевают туда залезть?

– Надо заделать, – бормочет он, глядя на дыру в полу.

В этой треуголке его похоронят.

Потом он сказал:

– Какой роман вся моя жизнь! – И добавил торжественно: – С сегодняшнего дня мы будем писать материалы к моему завещанию. Это непростая работа, к ней надо отнестись серьезно. Я хочу, чтобы после меня не осталось никаких долгов. Я должен отблагодарить по заслугам моих друзей. И врагов – тоже.

И тотчас начал диктовать, продолжая ходить по комнате:

– «Я оставляю в наследство всем царствующим домам **ужас и позор последних дней моей жизни!»** Вот начало моего завещания!..

Я хотел спать, я умирал… моя голова упала… Он засмеялся:

– Меневиль[3] обычно падал именно в это время. Стоило мне задуматься, отвлечься… оборачиваюсь, а он спит. И рядом с ним мирно храпят мои министры.

Он посмотрел на мою голову, опять стукнувшуюся о стол.

– Ба! Вам пора спать.

Сегодня, повторюсь, он милостив.

* * *

Я вернулся к себе. Сон вдруг пропал. Я знал, что и он не ложится – сидит на кровати, а дождь стучит по крыше… Я представлял, как в темноте его душит бешенство.

Чем он занимается? С кем говорит? С этим ничтожеством Гурго, который посмел… Генерал спас его в России. Но и здесь, на острове, он, оказывается, тоже его спас. Киприани донес: Гурго рассказывал в городском кабаке, что недавно второй раз спас императора… когда на него напал бык! Вот правда о его сегодняшней жизни, о ее опасностях, героях! О жалких людях, делящих с ним изгнание!..

Бедный Маршан ждет, не гасит свечу. Его мать служила нянькой Римскому королю, и сам он с юности прислуживает императору. Маршан знает: пока император не спит, свечу гасить нельзя…

Наконец в тишине ночи сквозь тонкие перегородки я слышу звук – император лег, точнее – грузно, ничком упал на кровать. И наверняка, как обычно, в то же мгновенье заснул.

И Маршан, услышав знакомое ровное дыхание, торопливо загасил свечу и ушел в свою каморку.

Короткий сон овладевает императором. Раньше он спал по три часа – и этого ему хватало. Теперь порой хватает получаса перед рассветом.

В ту ночь, уже засыпая, я вдруг снова явственно услышал его слова: «Я оставляю в наследство всем царствующим домам ужас и позор последних дней моей жизни!»

На следующее утро – все как обычно. Солнце только поднялось, но я уже слышу голос императора. Он ждет, когда караульные уйдут с постов у нашего дома. Он не желает появляться в присутствии неприятеля. Он запрещает себе быть пленником.

Но солдаты не могут уйти, пока его лицо не покажется в окне. Император это отлично знает. И начинается молчаливая игра: он

глядит в окно, будто хочет удостовериться, ушли ли караульные, а в это время их командир может разглядеть в окне лицо императора. Теперь он имеет право передать губернатору – пленник не сбежал. «Корсиканское чудовище» (так называли его в Англии, так именует его губернатор) на острове, все в порядке.

Губернатор Гудсон Лоу – средних лет, и все в нем среднее. Никакое лицо – одно из тысяч английских лиц: узкое, с узким носом, не отражающее ни пороков, ни страстей. Маленький человек, счастливый правом распоряжаться вчерашним повелителем королей. И мучить его.

Но и сам губернатор – тоже мученик. Призрак Эльбы преследует его. На каждом корабле, прибывающем к острову, ему мерещатся заговорщики, каждый день ждет он бегства императора.

Караул покидает нас. Теперь император может выйти в сад.

Он в белом сюртуке, шлепанцах и в шляпе с широкими полями. Нетерпеливо трясет большим бронзовым колокольчиком:

– Маршан, не спи! Выспишься, когда вернешься к себе домой. Все тот же, но уже веселый намек на свою смерть.

Император в отличном настроении, он напевает:

– Мамзель Маршан, поднимайтесь, уже светло, встало солнце!

Несчастный, заспанный «мамзель Маршан» выходит из дома, неся серебряный тазик с водой, зеркало и походный несессер. Император замечает мое лицо в окне и говорит (уже для моих записей):

– Все стоящие правители вставали раньше своих слуг. И Фридриху Великому, и русской императрице Екатерине приходилось их будить.

Он садится на скамью. Выходят полусонные слуги. Один берет зеркало, другой растирает его жирную безволосую грудь полотенцем.

Император бреется сам. И говорит – опять же для моих записей:

– Убийцы начали охотиться за мной, как только я стал Первым консулом. С тех пор я предпочитаю сам держать бритву.

Он бросает взгляд на наш жалкий сад.

– Цветник Жозефины в Мальмезоне был больше…

Это тоже для моих записей.

От порта, от утопающих внизу в райской зелени домиков в наше обиталище, именуемое Лонгвуд, ведет дорога длиной в восемь километров. Несмотря на непрерывные дожди, земля здесь не плодоносит – редкая трава и маленькие деревца, стонущие под

порывами вечного ветра.

Как всегда, император вынимает из кармана маленькую подзорную трубу и осматривает окружающий мир. Плато Лонгвуд окружено горными пиками. На одном из них сейчас видны красные мундиры – это один из сторожевых постов англичан. Там стоит пушка, которая бьет на закате и восходе и оповещает о прибытии кораблей.

– Все сделано грамотно, – говорит император.

Теперь его труба опущена вниз. Внизу виден лагерь и те же красные мундиры.

– Думаю, их сотен пять-шесть, – рассуждает император. – И расположены они так, чтобы видеть друг друга. А на холмах, – его подзорная труба вновь вскинута вверх, – конечно же дозорные. Видите сигнальные флажки? Они сообщают о том, что я делаю, вниз, на командный пункт. И по всей горе, донизу, концентрическими кругами стоит охрана.

Он засмеялся:

– Когда-то я хотел отобрать у Англии этот остров и намеревался послать сюда десант в полторы тысячи солдат. А они, по моим подсчетам, свезли сюда около трех тысяч… может, даже на сотню-другую поболее. – (Недавно я узнал – три тысячи двести!) – Таким образом, куда бы мы ни отправились, мы будем внутри линии часовых. Четыре бухты острова также охраняются…

Его труба уставилась на море, где были видны два брига, медленно плывущих один навстречу другому.

– Я подсчитал: нас стерегут с моря семь судов: пять постоянно дежурят в порту Джеймстауна, а два, как видите, непрерывно курсируют вдоль берега. Однако их просчет в том, что вся охрана вполне удовлетворена визуальным наблюдением за моей персоной. Пока они меня видят, они спокойны. Но есть ночь, когда я имею право быть невидимым… И тогда их главный страж – океан – легко может стать их врагом. Если ночью у берегов острова появятся несколько кораблей… хватило бы четырех…

Он снова засмеялся.

– Не записывайте этого, Лас-Каз. Клянусь, у меня нет никакого намерения бежать. – И добавил: – Поверьте, **я здесь совсем не за этим…**

Он работает (но немного) с лопатой в саду. Потом переодевается. Выходит в зеленом мундире с бархатным воротом, со звездой Почетного легиона, в легендарной треуголке.

Граф Монтолон подводит ему коня. Как обычно по утрам – прогулка верхом. Меня император не приглашает – считает, что я

дурной наездник.

Я смотрю, как исчезает кавалькада всадников: граф Бертран, генерал Гурго и граф Монтолон. Сейчас они остановятся у какого-нибудь поместья и попросят приюта в саду от поднимающегося солнца… Император любит поражать обывателей. Что ж, они на всю жизнь запомнят его приезд и знаменитую треуголку.

Вернувшись, он принимает ванну. Его ванна – небольшой чан, куда он с трудом помещается. В ванне император читает книги.

Перед обедом приходит врач-англичанин. Император обнажил жирный торс, и англичанин приник ухом к его сердцу. Не обращая внимания на призывы врача хоть немного помолчать, император привычно делится неосуществленными планами поругания Англии:

– Я должен был переправить через пролив двухсоттысячную армию. На четвертый день я вошел бы в Лондон и обратился с прокламацией к гражданам: «Мы пришли, как друзья, чтобы освободить британскую нацию от коррумпированной, развращенной аристократии». Я провозгласил бы республику, упразднил дворянство и палату лордов, с которыми Англия вскоре сгниет. Очень сожалею, что отказался от этого плана!

– Я уверен, что лондонцы сожгли бы свой город, но не сдали бы его врагу, – возражает англичанин.

– Нет-нет, вы слишком богаты и любите деньги, чтобы портить свое имущество. Так смогли поступить русские – у них нет имущества, все принадлежит их царю… Я привез бы в Англию великие идеи нашей революции. Отныне ничто не способно уничтожить или стереть ее великие принципы…

Помолчав, он обратился ко мне:

– Моя миссия во Франции – смыть кровавые пятна террора революции потоками славы. Я уничтожил анархию, упорядочил хаос. Люди, упрекающие меня за то, что я не дал достаточно свобод моему народу, забывают, что в тысяча восемьсот четвертом году лишь четверо из сотни французов умели читать. Всю ту меру свободы, которую я мог дать этим смышленым, но невежественным и развращенным революционной анархией массам, я дал.

Я торопливо записываю. Император весь во власти собственного монолога. Доктор печально просит своего пациента одеться. Император не слышит и продолжает дразнить его:

– Нет, очень жаль, что я не сделал всего этого с Англией. Теперь вашей стране предстоит сгнить на манер Венеции.

Наконец он одевается.

В 11 часов обед – куриный бульон (император считает его лекарством), два мясных и одно овощное блюдо. И два бокала разбавленного водой вина «Шамбертен».

После полудня на нем опять знаменитый сюртук со звездами Почетного легиона и Железной Короны. Император принимает посетителей.

Англичане постановили: императору зваться «генералом Бонапартом». И даже придумали ему официальный статус – «генерал без поручений». Это вызывает его постоянный гнев.

– Я не позволю навязать мне этот титул! Не потому что мне так уж важно, как они меня именуют… я всегда презирал жалких болванов, именовавшихся европейскими королями. Я обожал заявлять в их присутствии: «Когда я был лейтенантом во Втором полку в Балансе…» – и наблюдал, как вытягивались их рожи. Для меня трон всегда был куском дерева, обтянутым бархатом. Но я единственный монарх в Европе, получивший титул не от жалкой кучки епископов, а от всего французского народа. Я – император именем революции и не позволю в моем лице унизить эту великую даму. Я носил не только корону Франции, но и древнейшую корону Италии и позаботился, чтобы религия освятила мой титул – сам Папа благословил мое вступление на трон. Я думаю не о себе – о моем сыне, о будущем… Династия, в которой воплотилась сама революция, должна вернуться!

Он задумался и медленно произнес:

И я сделал все, чтобы **помочь ей вернуться как можно быстрее…**

Да, он сделал все. Но понял я это только теперь.

Он болезненно заботится о том, чтобы его приближенные (три десятка человек) помнили: они по-прежнему свита императора. И все мы обращаемся к нему – «Сир». И посетители письменно просят аудиенцию. Их встречаем мы – три графа и барон – и проводим к императору. В дверях ждет Киприани, который торжественно объявляет имя посетителя.

Франческо Киприани – особая личность, отнюдь не простой слуга. Он знает императора с малых лет, служил его семье. Они говорят друг с другом только по-корсикански. Это его император посылал с острова Эльба налаживать связи и собирать информацию во Францию. Киприани – шпион и верный пес императора.

Посетители императора, как правило, – английские чиновники, закончившие службу и уезжающие в Лондон. Они

понимают, что удостоены исторической беседы. Император, как всегда, очаровывает. И визитеры повезут в Англию то, что нужно: рассказ о жестоком губернаторе и великом узнике – о Прометее, прикованном к скале.

Император улыбается…

Вечером нас навестил губернатор. Не в силах скрыть радости, он зачитал бумагу о том, что император и мы, его свита, проели слишком много денег. Отныне наш бюджет будет сокращен.

О, как этого ждал император! Тут же последовал его яростный крик, от которого еще несколько лет назад дрожали в ужасе монархи Европы:

– Как вы смеете говорить со мной о таких мелочах?! Кто вы такой? Я знаю имена всех ваших генералов, участвовавших в сражениях, и я готов беседовать с ними. Вы же – ничтожество! Штабной писаришка в войске Блюхера, вы никогда не имели чести командовать настоящими солдатами. А теперь, когда ваша страна обманула меня, бесчестно сослав сюда, вам дали право распоряжаться моей жизнью. Но не сердцем! Запомните: оно такое же гордое, как и в те – не столь давние! – дни, когда вся Европа слушалась моих приказаний, а ваши ничтожные правители умирали от страха, ожидая моего прихода на ваш жалкий островок!

Все это он выпалил залпом, с темпераментом, которому мог бы позавидовать сам великий Тальма. Бешеное лицо императора… Я боялся, что его хватит удар.

Губернатор выбежал из дома, дрожа от гнева, шепча бессильно: «Я покажу ему!» А император… преспокойно расхохотался. И сказал, глядя на мое изумленное лицо:

– Вы знаете, что говорил обо мне Талейран? «Его ярость никогда не поднимается выше шеи». Точнее, жопы… – Он остановился, подумал: – Нет, напишите все-таки «шеи»…

Мне рассказывали, что во дворец к императору часто приходил знаменитый Тальма – учить его актерскому искусству. Сейчас я вспомнил об этом.

Он привычно прочел мои мысли и добавил (уже для моей тетради):

– Да, часто говорили, что меня учил своему мастерству наш великий трагик. Будто я даже брал регулярные уроки. Какая глупость! Пожалуй, я сам мог бы поучить его. Тальма – живое воплощение нашей «Комеди Франсэз». Я уважаю этот театр и в горящей Москве даже написал для него Устав… Конечно, это тоже был театр: я попросту решил унять дурные слухи, доходившие тогда до Парижа. Ибо если император в столице

противника находит время, чтобы заниматься Уставом для актеров, – у него наверняка все в порядке… Но поверьте, я с трудом выносил все эти бесконечные трагические завывания на сцене «Комеди». И после очередного спектакля не выдержал и сказал Тальма: «Приходите ко мне во дворец как-нибудь утром. Вы увидите в приемной весьма театральную толпу: принцесс, потерявших возлюбленных, государей, лишившихся царства, маршалов, выпрашивающих себе корону… Вокруг меня – обманутое честолюбие, пылкое соперничество, скорбь, скрытая в глубинах сердца, горе, которое прорвалось наружу. Мой дворец полон трагедий, и я сам порой ощущаю себя самым трагическим лицом нашего времени. Но разве мы вздымаем руки кверху? Испускаем истошные крики? Нет, мы говорим естественно, не правда ли? Так делали и те люди, которые до меня занимали мировую сцену и тоже играли свои трагедии на троне. Вот над чем стоит подумать вам, актерам неповторимой «Комеди Франсэз»!..

Император дал мне возможность все это записать и ушел раздумывать, как развить столь удачно начатую атаку на губернатора. Когда-то он воевал с целым континентом, теперь – с жалким губернатором…

План был составлен, и уже к вечеру Киприани спустился с нашей скалы в Джеймстаун, а утром весь остров шепотом передавал друг другу монолог императора.

Далее император развил успех. У него огромное состояние, однако он из принципа предпочитает жить на «тюремные деньги», которые ему выделяет Англия. И он приказывает принести столовое серебро.

– Рубите! – велит он.

Маршан и Бертран топорами порубили посуду на куски. И Киприани отправляется с этими кусками серебра в городок, в съестную лавку. Он ждет, когда туда зайдут английские офицеры с корабля, стоящего на рейде.

Офицеры заходят в лавку. И тогда слуга императора вываливает перед лавочником серебро.

– Сколько это стоит? – спрашивает он хозяина. И поясняет: – Я пришел продать вам его, чтобы прокормить нашего повелителя.

И он еще раз пересказывает монолог императора.

Завтра рассказ о нищете вчерашнего владыки мира и гнусном поведении сэра Гудсона Лоу поплывет в Европу.

Но император неумолим. Он продолжает наказывать губернатора. Сегодня он сказался больным и утром не вышел из

дома. Губернатор пребывает в ужасе. Эльба! Призрак проклятой Эльбы! Он не выдерживает и днем посылает караульных. Мы отвечаем, что император нездоров. Посланцы требуют «предъявить генерала Бонапарта». Император велит отвечать солдатским матом.

Появляется сам губернатор. Он приказывает солдатам войти в дом (если понадобится – взломать дверь) и сообщить, там ли пленник.

Я наблюдаю, как император преспокойно заряжает ружье и говорит с радостной улыбкой:

– Если кто-нибудь войдет ко мне – клянусь, я его убью.

В этот момент он вновь на поле боя!

Он посмотрел на меня. Я кивнул – запишу.

Как всегда, положение спас Маршан. Он вышел к англичанам и шепотом пообещал приоткрыть занавеску. И английский караульный с облегчением смог написать в рапорте: «Наблюдал генерала Бонапарта в халате с ружьем в руках».

Больше в тот день нас не тревожили.

Перечитал всю сцену, записанную тогда. (Как изменился с тех пор мой почерк – все больше походит на почерк покойного отца!)

Повторюсь: я сблизился с императором после Ватерлоо. И то удивительное, очень странное, что случилось тогда на моих глазах и казалось подчас совершенным безумием, суждено мне понять только теперь.

Я выбираю из вороха записей ***те дни…***

Жаркие дни после Ватерлоо

Только что я узнал – император проиграл битву при Ватерлоо. По слухам, очень много солдат погибло в кровавой резне. Старая гвардия прикрывала отход остатков наших войск, беспорядочно бежавших. Однако (опять же по слухам) маршал Груши сумел вывести свой корпус без потерь к Парижу.

Сегодня во время заседания Совета министров Люсьен[4] рассказал о поражении при Ватерлоо и, говорят, тщетно пытался приуменьшить потери. Он сказал: «Гибель даже нескольких десятков тысяч солдат не должна решить судьбу Франции».

Но министры молчали…

Только что прискакал курьер – император приедет завтра. Союзники опять движутся на столицу. Второй раз в течение одного года должно произойти то, чего великий город не знал тринадцать веков – неприятель войдет в Париж. И оба раза позор случился в правление того, кто расширил границы империи до размеров всей Европы, при ком Франция правила миром!

Сегодня 21 июня. Рано утром император вернулся в Париж. Но слухи о катастрофе его обогнали.

Вместо Тюильри император решил остановиться в Елисейском дворце (многими это воспринято как знак краха). Я приехал во дворец.

Император сидит в зале с отсутствующим видом. Собрались министры. Он комментирует битву равнодушным голосом и вообще ведет себя странно – как посторонний.

Я слышал, как Люсьен говорил Гортензии[5]: «Он парализован и полностью покорился судьбе…»

Однако уже через пару часов его посетил прежний прилив энергии. Вечером опять собрали министров. Император начал излагать великолепный план новой кампании. Но вскоре погас и, не закончив речь, попрощался. И затворился в своем кабинете.

А враги не дремали! Лафайет добился экстренного созыва Палаты депутатов – и раздались грозные речи. Я вновь поспешил во дворец.

Стоит нестерпимая жара, но никто не покидает раскаленный город. Тысячи людей собрались на улицах, предместья пришли в Париж – как во времена революции. И рабочие, как это ни странно, – за него.

Бесконечные процессии идут мимо дворца. Народ приветствует императора…

Император выходит в сад. Все с тем же равнодушным видом слушает приветственные крики из-за решетки дворца. Он медленно расхаживает по саду. Замечает меня:

– А, это вы, Лас-Каз…

Я кланяюсь и подхожу ближе:

– Вам повезло – вы наблюдаете Историю. Вам будет что написать. Вы недурно пишете, я читал ваш «Атлас».

Император глядит на часы – видимо, ждет возвращения брата, уехавшего в Палату депутатов. Забавно: когда-то Люсьен организовал переворот в Палате и сделал его первым консулом. Потом они были в ссоре. Теперь все забыто, и Люсьен снова в Палате – спасает его.

При свете солнца я вижу, как изменился и обрюзг император. Тяжелое приземистое тело, мешки под глазами…

Люсьен сказал вчера Гортензии: «В первый момент я его не узнал – это развалина. Император французов исчез».

* * *

За воротами не смолкают крики: «Да здравствует император!» Но он будто не слышит, все так же медленно расхаживает по саду. И молчит.

Я останавливаюсь в стороне, чтобы не мешать ему думать.

– Да нет, идите рядом, – бросает он.

Так мы и ходим кругами под крики: «Да здравствует император!»

Наконец приехал из Палаты Люсьен. С ним маршал Даву. После поклонов и приветствий Люсьен начинает:

– Сир, только что Лафайет предложил Палате заседать беспрерывно. И они приняли решение…

Он замолкает, глядит на меня.

Император сухо бросает:

– Говорите при нем!

Мы проходим во дворец. Здесь Люсьен подробно рассказывает о вчерашней ночной встрече Фуше и Лафайета. (Дворцовая полиция, видимо, все еще неплохо работает. Или враги уже не желают таиться?)

– Фуше сказал Лафайету: «Как видите, я был прав. Этот человек… – так он назвал вас, Сир, – вернулся еще более

безумным, еще более воинственным и, что самое страшное, еще большим деспотом. Вы, Лафайет, – Французская революция, которая воскресла, чтобы его уничтожить». Они договорились устранить вас, Сир. Фуше пообещал Лафайету: «Мы так просто не сдадимся. Мы выговорим у союзников республику!» И этого было достаточно. Лафайет поверил, он с ними. Мираж республики соединил глупца-идеалиста с подлым интриганом. Фуше конечно же решил пока сам стать главой Франции и принести Бурбонам на блюдечке ваше отречение, Сир, а лучше – и вашу голову. Так он рассчитывает вымолить себе прощение за кровь короля. Он развел вас с Палатой, Сир! И сейчас там льются подлые речи…

Люсьен остановился, ожидая реакции брата.

– Продолжайте! – равнодушно сказал император.

Чтобы разбудить наконец его негодование, Люсьен читает по бумажке речь Лафайета:

– «Настал момент объединиться нам вокруг знамени восемьдесят девятого года – знамени свободы, равенства и порядка. Только под знаменем Великой революции мы сможем противостоять иностранным притязаниям и внутренним попыткам мятежа. И еще: я предлагаю объявить вне закона всякого, кто попытается совершить акт насилия по отношению к Палате представителей народа…» А дальше уже непосредственно о вас, Сир: «Я вижу между нами и миром одного человека. Пусть он уйдет – и будет мир».

– Далее? – все так же равнодушно произносит император.

– Далее – гром оваций. Аплодируют все – и старые республиканские безумцы, поверившие в возвращение революции, и сторонники Фуше, и испуганное «болото».

– Ну что ж, пусть делают, что хотят. На свою голову я приучил их только к победам – в беде они не могут прожить и дня… Поезжай, объясни безумцам, что революция, вернее, ее опасный призрак, и вправду вернулась!

Он указывает рукой за ограду, откуда несется рев тысяч глоток.

– Но этот призрак не с ними, не в зале Палаты. Он за ее окнами. И он – со мной.

– И это только начало, Сир. Предместья входят в Париж. – Люсьен приободрился. Он добавляет, многозначительно улыбаясь: – Кто-то сообщил народу, что происходит в Палате. И народ требует разогнать предателей!

Но ловкость брата не трогает императора. Он молчит.

А с улицы продолжают доноситься грозные вопли: «Да здравствует император! Депутатов на фонарь! Диктатуру императора!»

Император подходит к окну и глядит на тысячи людей, которые славят его. Люсьен громко шепчет:

– Надо распустить Палату и объявить: «Отечество в опасности!» Париж укреплен. Груши сохранил свою армию…

Но император по-прежнему молчит и смотрит на улицу. На лице Люсьена – отчаяние. А люди идут и идут мимо дворца…

Принесли последнее сообщение из Палаты: выступили Сийес и Карно. Они говорили об обороне Парижа, которую может организовать лишь один человек – император. Но Лафайет своей речью опять переломил ход заседания… И Люсьен, все еще надеясь разбудить гнев брата, читает (с выражением) патетические слова Лафайета:

– «Кости наших братьев и детей наших разбросаны от пустынь Африки до снегов Московии. Миллионы жизней отдала Франция человеку, который и теперь мечтает о борьбе со всей Европой. Довольно!..»

– Глупец! – не выдерживает император.

– Сир, вы должны решиться!

Но император опять молчит.

Наступает ночь. Император уходит спать. Люсьен отправляется то ли в Палату, которая все еще заседает, то ли в город. Мы бодрствуем.

В половине четвертого утра приносят новое сообщение. Палата, охрипнув от воинственных речей, постановила: император должен отречься. В противном случае он будет объявлен вне закона.

Люсьен читает императору решение Палаты. Император остается совершенно равнодушен. Преспокойно пьет кофе. И о чем-то думает…

Приезжает Бенжамен Констан. Тот, кто во времена славы императора клеймил его «Чингисханом и Атиллой», теперь – его советник. Он перепуган:

– Сир, вас просят отречься…

Император не отвечает. Но отвечает улица:

– Да здравствует император! – ревет толпа из-за решетки дворца.

Он улыбается:

– Вы слышите голос простых людей? Разве я осыпал их почестями и деньгами? Нет, они мне ничем не обязаны. Они были и остались нищими, но их устами сейчас говорит вся страна. И достаточно одного моего слова, чтобы они расправились с жалкими безмозглыми строптивцами. Запомните: если я

пошевельну пальцем, ваша Палата перестанет существовать! Но я не для того вернулся с Эльбы, чтобы потопить Париж в крови!..

Он замолчал.

Последняя фраза мгновенно разлетелась по Парижу.

Впрочем, для того он и сказал ее нашему славному публицисту…

Из Палаты приносят проект отречения. Его подготовил Фуше. Удивительный тип этот Фуше! У него мертвенно-бледное лицо – лицо трупа. В день гибели Робеспьера он все организовал, но выступали другие. Так и сегодня – выступал Лафайет, но все организовал он, Фуше.

– Мы теряем драгоценное время, – говорит Люсьен. – Умоляю, Сир, объявите мерзавцев вне закона. Велите! Решайтесь!

Император долго молчит. Наконец отвечает – глухим голосом:

– Я решился.

Он подходит к столу, берет перо. Быстро пишет.

– Читай, – говорит он брату.

Люсьен берет бумагу и, побледнев, читает вслух:

– «Моя политическая карьера окончена… Я отрекаюсь от престола в пользу моего сына Наполеона Второго…»

Неужели он не понимает: союзники не пойдут на это! Никогда и ни за что! Не для того они приходят в Париж…

Люсьен умоляет брата подождать, но император странно торопливо подписывает отречение.

– Передай его нашим глупцам. И скажи: уже вскоре они потеряют все, ради чего меня предали. У Лафайета не будет его республики, а у Фуше – его министерского поста.

Братья выходят в сад. Люсьен продолжает уговаривать. Он тычет пальцем в ревущий людской поток за оградой, откуда слышны бесконечные приветствия императору и проклятия депутатам.

– Они умоляют вас: «К оружию!» Вся Франция, Сир, сегодня провозглашает: «Да здравствует император!» Вы никогда не были так любимы! Мы разгоним депутатскую сволочь… как когда-то, восемнадцатого брюмера[6]. Нет, куда легче!

Император отвечает слишком громко – будто всем нам:

– Восемнадцатого брюмера я обнажил шпагу ради Франции. Сегодня я должен вложить ее в ножны, я не хочу гражданской войны. Я не могу залить страну кровью. Я не буду императором Жакерии.

Он снимает треуголку и стоит с обнаженной головой, отвечая на приветствия толпы.

Потом братья отходят в сторону от свиты. Теперь они стоят прямо под моим окном. И я слышу шепот Люсьена:

– Слова, красивые слова… Что с тобой? Я тебя не понимаю. Неужели ты так устал? Ты постарел? Или… ты что-то задумал?

Император не отвечает.

За решеткой все идут люди. И кричат до хрипоты: «К оружию! Да здравствует император!»

«Ты что-то задумал». Эта фраза уже тогда озадачила меня. И потом я не раз вспоминал вопрос Люсьена.

Вечером мы узнаем: Фуше уже ведет переговоры с союзниками. Они хотят одного: возвращения Бурбонов. Мечта о династии умирает на глазах. Но император остается в странном бездействии.

Приезжает маршал Даву, путано объясняет:

– Пока вы в Париже, Сир, Фуше опасается народного восстания…

Император усмехается:

– И вы хотите, чтобы я…

Этим «вы» император соединяет маршала с изменниками.

Даву жалко бормочет:

– Новое правительство просит, Сир… покинуть дворец… и Париж.

Император молча выходит из комнаты.

Растерянный, Даву уезжает.

Вечером появляется сам Фуше. Тощая фигура, тонкие бесцветные губы, угодливо склоненная голова. Но в рыбьих глазках – постоянная насмешка.

– Ваше Величество, я пришел как глава временного правительства.

Он не желает скрывать свое торжество.

Император улыбается:

– Я в первый раз вижу вас поглупевшим. Вам нельзя повелевать, Фуше. Цезарем рождаются, впрочем, как и слугой. Вы – великолепный слуга… Но в одном вы правы: ваше правительство – временное. Очень временное. Надеюсь, после его конца вы вновь приобретете те качества умного слуги, за которые я прощал вам столь многое.

– Я и пришел послужить вам, Сир. Вам следует покинуть

дворец. И как можно скорее – Францию. Я не хотел бы, чтобы вас захватили союзники. Блюхер обещает повесить вас на первом суку… Сир.

И опять – торжество в глазах.

– Что ж, Блюхер прав в своей ненависти ко мне. Это от страха. Я столько раз бил его… И если бы вы не предали меня, ни один пруссак не ушел бы за Рейн.

И тогда Фуше сказал… клянусь, я слышал это, ясно слышал! Но, по-моему., **вы сами захотели, чтобы вас предали?** Вы сами предоставили нам эту возможность. И вы не заставите меня поверить, Сир, во все глупости, которые вы наговорили Констану и вашему брату. – (Фуше, как всегда, отлично осведомлен обо всем.) – Вот только для чего вы это сделали, я не понял.

– Вам трудно поверить, что польза Франции, безопасность Парижа могут быть для кого-нибудь превыше всего?

– Для «кого-нибудь», но не для вас, Сир. Я никогда не поверю, что есть хоть что-то на свете, ради чего вы согласитесь перестать воевать.

Оба помолчали. Наконец Фуше спросил:

– Вы действительно думаете уехать в Америку?

– И я уверен, что вы уже предупредили об этом англичан, – усмехнулся император.

Фуше молчит. Наконец произносит:

– Я дам вам охранную грамоту от имени правительства.

– Временного, не забывайте постоянно добавлять это слово. От имени временного правительства императору Франции и королю Италии охранную грамоту даст вчерашний убийца короля. Смешно.

– А по-моему, логично. Убийце герцога Энгиенского даст охранную грамоту убийца Людовика Шестнадцатого, – отвечает Фуше. И добавляет: – Полжизни бы отдал, чтобы понять: что же вы задумали?

– Этого вам никогда не понять. Точнее – не дано понять. Мечты цезаря и мечты лакея такие разные…

Фуше молча откланивается.

Император объявил:

– Мы покинем дворец, коли они так настаивают. Утром мы отправимся в порт Экс. А оттуда…

Он замолчал.

– В Америку? – не выдержал я.

– В Америку… – как эхо повторил он. – Но по дороге заедем в Мальмезон.

Тут заговорил кто-то из придворных (кажется, граф Бертран):

– Но, Сир, осмелюсь сказать, нельзя терять времени. Союзники вот-вот войдут в Париж. Роялисты охотятся за вами…

Он не ответил. Пошел принимать свою любимую ванну.

Вскоре император позвал меня.

Он лежал в ванне и читал «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря. Я вошел, держа в руках предусмотрительно взятую с собой тетрадь – решил записывать в нее важные события и мысли императора.

Он одобрительно посмотрел на мою тетрадь:

– Спрашивайте, Лас-Каз.

– Сир, почему вы не повесили Фуше и Талейрана?

– А зачем? Талейран слишком любил деньги и женщин. Покуда он знал, что при мне можно хорошо зарабатывать и хорошо е…ся, – (император любит солдатские выражения), – он служил мне верой и правдой. Умнейший человек! Сохрани я его, я и сегодня сидел бы на троне. За ним просто надо было следить – но неусыпно. Моя вина, что я не сумел этого сделать… Что же касается Фуше, здесь та же история: подлый лакей, оставленный повелителем без должного присмотра. Я всегда знал, что при первой неудаче они меня продадут. Но опрометчиво был уверен, что никогда не дам им такой возможности… Что ж, банальное: никогда не говори «никогда».

Я вопросительно посмотрел на свою тетрадь для записей.

– Записывайте, записывайте. Вы сейчас свидетель Истории.

Да, я свидетель. Я добросовестно записал события этих неповторимых дней: как император мог смести этих жалких говорунов, как он мог установить диктатуру, о которой умолял его весь Париж, и как он отказался это сделать. Но сейчас, глядя на него, преспокойно лежащего в ванне после того, как он отдал империю, я вслед за Фуше задавал себе вопрос: почему? Почему он, который пролил потоки крови, вдруг испугался крови? Или он… устал от крови?

Император засмеялся и тотчас ответил:

– Я сказал правду этому лакею Фуше – цезарем не становятся, им рождаются. И мысли цезаря не понять тем, кто не рожден цезарем. Не записывайте, ибо это тоже банально. Понять цезаря не дано было даже великому Тальма. Потому он так плохо сыграл шекспировского Цезаря. Я объяснял ему: «Когда Юлий Цезарь произносит тираду против монархии, он не верит ни единому своему слову. Так что эти слова нельзя произносить с пафосом, наоборот, – со скрытой насмешкой». Тальма не смог… Ах, мой друг, как я хохотал над слухами, будто я учился у Тальма

искусству жеста! Нет, цезарь не учится у актеров. Цезарь уже рожден великим актером.

И вот тогда он сказал:

– Какую прекрасную книгу оставил Юлий Цезарь! Мы с вами позаботимся о том же.

И замолчал.

– Я не понял, Сир…

– Нет, поняли.

Читал мысли! Конечно, я понял (именно тогда понял): он уже думает об изгнании и решил взять меня с собой. Ему нравилось, что я записываю за ним. Тогда же он спросил меня: «Вы, кажется, отлично знаете английский?» И я решил, что он думает об Америке. Но уже скоро мне пришлось понять истинное значение этого вопроса.

В ту ночь я помогал императору. До трех утра мы сжигали его бумаги, наполнив пеплом весь камин. В четвертом часу император отправился спать, а я – домой.

Жена не спала. Я рассказал ей о предложении императора.

– Я должен оставить вас, надеюсь, ненадолго. И еще надеюсь: ты поймешь меня.

Она поняла меня… и заплакала.

Но когда я сказал, что хочу взять с собой сына («Быть рядом с величайшим человеком столетия – это большое счастье и самая лучшая школа»), началась бурная сцена с рыданиями и истерикой. Но я настоял.

Я так и не смог лечь спать. Выпил кофе и разбудил сына. Мне пришлось долго ему все объяснять. Договорились, что он приедет ко мне в Экс через пару дней. Я поцеловал жену, и мы простились. На сколько? Знает один Господь…

В семь утра я вернулся в Елисейский дворец.

Мы покидаем столицу. Император проехал по Елисейским Полям, остановил коляску у недостроенной Триумфальной арки и долго глядел на нее…

* * *

Больше он никогда не увидит Париж.

Свита прямой дорогой отправилась в Экс. Но сам император, граф Коленкур, граф Бертран, несколько офицеров и я должны

были остановиться на пару дней в Мальмезоне.

Этот дом император купил Жозефине после свадьбы и оставил ей после развода. Она жила здесь с дочерью Гортензией и внуком. И здесь она умерла меньше года назад (император был тогда на острове Эльба).

Он хочет проститься с домом, который видел столько его побед и где он был так счастлив.

По дороге он сказал мне:

– Любовь толпы… После отречения… – Он засмеялся: – … теперь следует говорить «после первого отречения»… мне пришлось покидать Францию переодетым! И что же я услышал после стольких лет величия, которое я дал стране? «Смерть тирану!» – кричала толпа. И комиссары союзников, ехавшие со мной, попросили меня… переодеться. Мне пришлось снять мундир, в котором я завоевал славу Франции, и надеть штатский сюртук. На шляпу мне нацепили белую роялистскую кокарду. Но самое смешное – мне предложили назваться британским именем! Нет, я не уезжал – я бежал из страны, которую сделал повелительницей мира. Бежал под именем ее врагов!

«Говорят, Людоед уносит ноги. Надеюсь, его прикончат по пути» – я услышал это в первой же харчевне, где мы остановились. Перепуганные комиссары попросили поспешить с обедом, им показалось, что хозяйка меня узнала. В карете на всякий случай они предложили мне опять переодеться – на этот раз в австрийский мундир. Последнее, что я увидел на французской земле, – свое чучело. Вымазанное дерьмом, оно качалось на виселице. И я мог сказать: «Ты был прав, презирая людей!»

«Но теперь-то ведь все было иначе! Они боготворили его, несмотря на гибель своих мужей, братьев и сыновей при Ватерлоо».

* * *

И опять этот страшный человек прочел мои мысли.

– И все равно! После стольких предательств мне трудно довериться толпе. Тогда, на Эльбе, я много думал об этом. И я их простил. В конце концов, я только солдат… И для меня ничего особенного не случилось – я всего лишь проиграл сражение и сдал город. Да, этот город был Париж, и я проиграл величайшую империю. Но я так привык к великим событиям, их было столько

за мою не такую уж долгую жизнь! И у меня попросту не было времени осознавать их, когда они происходили. Нестерпимая боль приходила потом… Но обычные люди переживали тогда вселенскую катастрофу: в их город, в который полтора тысячелетия чужеземцы входили только для того, чтобы выразить свое восхищение… и вот…

И он повторил:

– Я виноват. Я приучил их только к победам.

Он замолчал. Потом сказал:

– На сей раз в Париж войдут англичане, пруссаки и сбежавшие Бурбоны – все вместе. Я думаю, они уже в Сен-Дени.

Мы приехали. Мальмезон утопает в летней зелени. Изумрудный газон перед весьма скромным дворцом с двумя башнями. Пики стриженых деревьев – будто часовые… Кстати, с нами нет охраны, и если враг нападет, защищаться придется самим.

В доме уже собрались: Люсьен и Жозеф (братья императора), красавица Полина (сестра), Гортензия (дочь Жозефины от первого брака, вышедшая, точнее, выданная замуж за Людовика, третьего брата императора), граф Монтолон, граф Коленкур и гофмейстер Бертран с женами. И Летиция – мать императора.

Он сразу прошел в комнату, где умерла Жозефина, и оставался там около часа. А потом долго бродил по дорожкам сада – один.

Позже он сказал мне:

– Я все время вижу, как она идет по дорожкам с рассадой в руке. Она обожала сажать цветы… и немного изводила меня этим занятием. Я все время посылал слуг искать ее в цветниках…

Вечером все собрались в музыкальной зале. Император и Гортензия сидели у арфы и говорили о Жозефине. До меня долетали их слова, которые я поспешил записать той же ночью.

– Я не хотела прежде рассказывать, Сир, мне казалось, это будет слишком грустно для вас… Во время вашего изгнания она просила дозволения приехать к вам на Эльбу, но… вместо разрешения к ней приехал русский царь. Весь парк был переполнен огромными казаками…

Император усмехнулся:

– Мне рассказали – она танцевала с Александром.

– Она хотела получить право просить за вас… но жить не хотела. И оттого, когда она простудилась… всего лишь простудилась во время ответного визита к царю… ее не смогли вылечить лучшие доктора. Она умерла уже на следующей

неделе… Она сказала мне перед смертью: «Мне кажется, я давно уже умерла, как только осталась без него». Она умерла от грусти… все время думала о вашем изгнании, Сир. Она осталась обворожительной… даже в гробу…

Красавица Полина в бесценном колье сидит в стороне и мрачно молчит. Как и все Бонапарты, она не любила Жозефину и ее детей.

Но в глазах императора – слезы…

Уже ближе к ночи он принялся рассматривать вещи, которые привез с собой из Тюильри (и, видимо, решил взять в изгнание). Вещи самые странные – походная кровать, на которой он спал накануне Аустерлица, и военный трофей – часы, будившие Фридриха Великого.

Он сказал мне:

– Фридрих – мой кумир еще в военной школе. Когда я вошел в Берлин, его ничтожный потомок трусливо бежал. Он отправил мне послание, где жалостливо писал, что оставляет дворец в полном порядке и надеется, что я прекрасно проведу там время. Трус не посмел увезти даже вещи великого Фридриха… у могилы которого поклялся сокрушить меня… – Он расхохотался. – Не вышло!

Император, кажется, забыл, что нынче прусский король живет у себя во дворце, а мы должны бежать неизвестно куда…

В который раз он прочел мои мысли и сказал:

– Да, дело проиграно. Но не все потеряно, поверьте.

И продолжил рассказ:

– Но тогда… тогда я разгромил их. И первое, что я сделал, ступив во дворец, – бросился к шпаге Фридриха. Этот трофей был для меня дороже ста миллионов контрибуции, которые заплатила мне Пруссия. Я забрал шпагу и его часы…

– Но шпагу Фридриха вы не берете с собой, Сир?

– Зачем? У меня есть своя, – ответил он, улыбнувшись. – И поверьте, не менее ценная.

Он прав. Ни один великий полководец за всю историю человечества не выиграл столько сражений.

Он опять прочел мои мысли:

– Но было бы лучше погибнуть в одном из них. Если бы судьба послала мне тогда пулю, история поставила бы меня рядом с непобедимыми – с Александром Великим и Цезарем… Можно было бы умереть и под Дрезденом… Нет, Ватерлоо все-таки лучше. Любовь народа, всеобщий траур… И сражение, которое я не успел бы проиграть…

И задумчиво добавил:

– Но если судьба не дала мне этого, мы исправим ее ошибку…

И засмеялся.

«Мы исправим ее ошибку». Уже тогда он все придумал.

Из Мальмезона он вдруг отправил письмо Фуше. Император предлагал… стать генералом на службе временного правительства. И обещал победить. «Я клянусь, что пруссаки у Парижа наткнутся на мою шпагу».

Письмо отвезли в Париж.

* * *

Последняя ночь в Мальмезоне.

По просьбе императора, в тот вечер я беседовал с Коленкуром. «Набирайтесь сведений, впоследствии они вам понадобятся».

Коленкур рассказал мне удивительные вещи о русской кампании. И о своих беседах с императором, когда они бежали из русских снегов. После этого длиннейшего разговора я вышел в сад пройтись.

Тихая ночь. Запах цветов, дом темен, в Мальмезоне спят. Одно освещенное окно на первом этаже, в библиотеке. Это великолепная небольшая зала, разделенная колоннами красного дерева. На колонны опираются своды расписного потолка. Головы античных философов смотрят вниз. Темнеет красное дерево – шкафы, кресла, золотисто мерцает бронза: бронзовые грифоны – ножки стола, инкрустации на колоннах, прибор на зеленом сукне; отливают золотом корешки книг в шкафах.

Император сидит в кресле, повернутом спинкой к окну, – читает. Я подошел к окну вплотную. Он кладет книгу на стол, сидит неподвижно – о чем-то думает.

Теперь я вижу книгу, которую он читал. Это старинное Евангелие в кожаном переплете с бронзовыми застежками.

Утром я застал императора в саду. Прогуливается, пока сервируют завтрак. Я поклонился. Он пригласил меня пойти рядом.

Запах кофе смешивается с утренним запахом цветов. Цветники Жозефины…

У маленького фонтана император заговорил, глядя на струи воды:

– После того как Иисус сотворил великие чудеса – исцелил бесноватого и прочее, о чем просит Его народ?

Я не помнил. Он засмеялся:

– Удалиться! Они не выдержали Его чудес.

Он помолчал, потом добавил:

– Я слишком долго нес на своих плечах целый мир. Пора бы отдохнуть от этого утомительного занятия.

* * *

Семья собирается за столом. Жозеф и Люсьен выходят из дома. Братья о чем-то беседуют, но за стол не садятся, видимо, ожидают, пока император закончит прогулку.

Жозеф никогда не мог забыть, что он – старший брат. Бездарный, напыщенный светский бонвиван, которого император время от времени назначал королем в очередных завоеванных землях. Люсьен – единственный талант среди братьев императора. Бешено тщеславный, всю жизнь завидовал брату и никак не мог забыть свое (неоцененное) участие в перевороте 18 брюмера. Назло брату он отказывался от браков с европейскими принцессами, женился на дочери трактирщика, играл в любительском театре вместе с сестрой Элизой, подбивал ее выходить на сцену в обтягивающем трико… Все назло брату! В свои салоны братья охотно приглашали врагов императора, там царила мадам де Сталь с ее язвительными шутками.

Но нынче все распри забыты, и братья ждут от императора обычных (то есть великих) решений, которые спасут положение… семьи!

За столом рассаживаются три графа (Бертран, Монтолон, Коленкур) с женами… Наконец появляется император.

Пьем утренний кофе. Принесли депешу – ответ Фуше. Император с усмешкой проглядел, передал Люсьену. Тот читает вслух.

Фуше настойчиво (нагло!) просит (требует!) императора побыстрее оставить Париж, иначе «союзники не желают вести мирные переговоры… и грозят разрушить Париж. Столько веков, Сир, этого не было. И вот благодаря Вам мы увидим завоевателей второй раз за один год! Уезжайте, Ваше Величество. Преданный вам Фуше».

Люсьен закончил читать. Император помолчал, потом сказал:

– Мне все-таки следовало его повесить. Предоставлю это сделать Бурбонам…

* * *

Не понимаю, не понимаю! Если император захотел продолжить воевать, зачем надо было унижаться – просить разрешения Фуше? Достаточно было попросить улицу. И он получил бы назад свою армию. Тем более что Груши, опоздавший к битве при Ватерлоо, сумел привести к Парижу сорок тысяч солдат, жаждущих отомстить за поражение!.. Не понимаю!

Но теперь понимаю.

Император встал из-за стола и прошел в дом. В бильярдной долго один гонял шары.

Гортензия и Полина не вышли к завтраку. Я застал их в музыкальной зале, где стены до потолка увешаны картинами в золотых рамах.

Они сидели в креслах по обе стороны арфы и зашивали бриллианты в дорожную одежду императора. Точнее, зашивала Гортензия, Полина не умеет рукодельничать (но умеет, когда нужно, снять с себя эти бесценные камни). И теперь она наблюдала за работой Гортензии.

Здесь же Летиция, мать императора. Я поклонился, Летиция не ответила. Она смотрит перед собой невидящими глазами. Это не образ – она окончательно ослепла от переживаний. За все время, пока мы были в Мальмезоне, она не проронила ни звука. И теперь молча сидит на кушетке на фоне стеклянной двери в сад, между двумя мраморными бюстами римских императоров – как третье изваяние со столь же совершенным римским профилем. Но на недвижном ее лице тотчас начинает блуждать улыбка, когда входит он. Она узнает императора по шагам.

Обед. За столом, вновь накрытым в саду, молчание. Все ждут, когда заговорит император, он должен что-то придумать!

И он говорит – ко всеобщему разочарованию:

– Что ж, надо избавить Фуше и всех этих господ от моего присутствия. Мы сегодня же уедем в Рошфор… там мне действительно следует сесть на корабль и – в Америку!

Братья и сестры принимаются обсуждать его будущее изгнание. Но никто не предлагает разделить его с ним.

Император улыбается…

Приехали четверо офицеров из Парижа. Привезли слухи – роялисты всерьез готовятся напасть на Мальмезон и расправиться

с императором. Умоляют поспешить.

Слуги грузят вещи в экипажи. Коленкур передает мне на всякий случай оружие. Император, усмехаясь, глядит, как Коленкур заряжает мой пистолет.

В комнату врывается Тальма в солдатском мундире.

– Сир! Я хочу видеть, как ведет себя цезарь в такие минуты.

Император треплет его по щеке:

– Очень естественно… и просто. Прощайте, мой друг, вы замечательный актер.

Император ушел. Тальма почти в ужасе обращается ко мне и Коленкуру:

– Он знал… все знал заранее. Он как-то сказал мне: **«Я сам, может быть, самое трагическое лицо нашего времени».** Он говорил это, клянусь!

Его лицо стало белым от ужаса. Он легко возбуждался.

Коленкур не отвечает, ему не до того. Он выходит вслед за императором.

Тальма уязвлен невниманием. И я легко его «подобрал». Я сказал:

– Неужели мне выпало счастье беседовать с великим Тальма?

Глаза Тальма сверкнули, он – мой.

– Это правда, вы учили величию жестов самого императора?

Он вздохнул и кивком подтвердил: именно так и было дело. Но потом заговорил преувеличенно громко:

– Впрочем, император и сам великий актер. Когда Его Величество решил начать войну с Англией, он вызвал английского посла. В тот день в приемной императора ждали аудиенции Талейран и ваш покорный слуга. До нас доносились крики какой-то невиданной ярости: «Где Мальта, которую вы обязались мне отдать?! Вы бессовестная страна олигархов! – Тальма удивительно точно изображает императора. – Я чувствую, вы задумали войну! Но клянусь честью, если вы первыми обнажите шпагу, я вложу свою в ножны последним. Хотите войны? Вы получите ее. Но это будет война на истребление. И вашей рыбьей нации не выдержать галльской страсти! Готовься к великой крови, Англия!»

Несчастный, насмерть перепуганный посол выбежал из кабинета, буквально потеряв дар речи. Бедняга так и не узнал… как хохотал император! Он вышел следом за послом и сказал мне: «Ну, каково, Тальма! По-моему, я совсем недурно сыграл обманутого мужа? Учтите, у настоящего политика гнев никогда не поднимается выше жопы». Это любимая присказка императора.

Мы покидаем Мальмезон. Император долго смотрит на дом.

Потом садится в карету вместе с Гортензией. Я, Бертран, Монтолон, Коленкур – верхом окружаем карету императора. В другом экипаже едут их жены.

Граф Шарль Монтолон. Ему 32 года. Говорят, десятилетним мальчишкой он учился математике у капитана артиллерии Бонапарта. Был с ним во многих битвах. Потомок древнего рода, он был назначен посланником при дворе герцога Вюртембергского. Но посмел жениться против воли императора на разведенной красавице Альбине де Вассал. За что отправлен в отставку. Теперь Альбина едет за нами в карете.

Отрекшийся император и мы (сотня человек свиты с женами и слугами) живем в Рошфоре (на острове Экс в устье Жиронды). Мы занимаем мрачноватый дом командующего флотом.

Париж должен пасть со дня на день. И с часу на час мы ждем его решения отплыть в Америку. Точнее – попытаться отплыть.

Но решения все нет.

А пока из окна своей комнаты император наблюдает в маленькую подзорную трубу за английским фрегатом, стоящим на якоре в устье реки. Этот линейный корабль называется «Беллерофонт». Он перекрывает нам путь в океан – путь в Америку. Фуше постарался…

Вчера вечером на «Беллерофонте» прогремел салют из корабельных пушек. Утром к нам прискакал гонец из Парижа, и мы поняли причину салюта на английском корабле. Париж взят, Бурбоны вернулись во Францию. Медлить более нельзя – остров со дня на день будет захвачен.

Шхуна, на которой император должен бежать в Америку, – ждет…

Все эти дни наши офицеры запираются в большой гостиной, у дверей выставляется караул. Вырабатывают план бегства императора.

Сегодня я узнал этот план (точнее, один из планов). В нашем распоряжении есть два корабля, готовых принять участие в операции. Один из них отвлечет англичан – примет бой с «Беллерофонтом». Брат императора, Жозеф, очень на него похожий, будет в это время на палубе. И заставит англичан поверить, что император на судне. Пока они будут брать корабль на абордаж, второе судно – с императором и нами – ускользнет в открытый океан.

Утром этот план (признанный самым удачным) докладывают

императору. Но император молчит. И продолжает в подзорную трубу изучать «Беллерофонт».

Теряем драгоценное время…

И вот сегодняшней ночью он собрал нас. Каково же было изумление (нет, потрясение, потрясение!), когда император объявил:

– Я более не глава армии и государства… всего лишь частное лицо. Я не имею права рисковать жизнями французских моряков. И решил искать прибежище… – Он помолчал и закончил: – На борту английского корабля… вот этого… «Беллерофонта».

Наступила тишина. Мы не верим своим ушам!

– Вы намерены сдаться англичанам, Сир? – переспросил потрясенный Бертран.

Теперь я написал бы – «простодушный Бертран». Но тогда, повторюсь, потрясение было на всех лицах.

– Зачем же – сдаться? Просто я ухожу из политики… и вот решил искать прибежище у английского народа, под сенью его законов. Буду жить где-нибудь под Лондоном… под именем полковника Дюрока.

Было непонятно, он издевается над нами или впрямь стал безумным? Ну добро бы сдаться русским – он был прежде дружен с их царем. Но англичанам?! После того как тысячи английских солдат всего пять недель назад полегли при Ватерлоо! После того как двадцать лет он беспощадно воевал с ними, душил кольцом блокады!

И представить себе, что после этого они поселят его у себя этаким добродушным лендлордом?! Нет, англичане непременно посадят его в крепость.

Он посмотрел на меня, странно улыбнулся и сказал:

– Даже если вы правы…

Он, как обычно, прочел мысли.

Но и эту фразу я понял только теперь.

Сегодня 14 июля. В день взятия Бастилии я сажусь в шлюпку. Шлюпка подплывает к английскому кораблю. Я поднимаюсь на борт «Беллерофонта» и вручаю капитану послание императора, адресованное принцу-регенту.

Я знаю его наизусть: «Ваше Королевское Высочество! Я закончил политическую карьеру и надеюсь, как Фемистокл, найти

пристанище в стране британского народа. Я отдаю себя под защиту Ваших законов и прошу английский народ – самого могущественного и великодушного из моих противников – оказать мне защиту и гостеприимство. Наполеон».

Капитан прочел. Изумление на его лице! Он не в состоянии поверить. Перечел послание – и широкая улыбка! Он не может сдержать торжества. Еще бы: в одно мгновение безвестный офицер становится мировой знаменитостью – ему сдается вчерашний повелитель мира.

Он окончательно помешался от счастья – жмет мне руку, рассыпается в комплиментах, восторгается решением императора. На прощание говорит:

– Императора Наполеона конечно же примут в Англии с должным уважением. Наши люди и великодушны, и демократичны.

Нет, нет, капитан тогда не лукавил, в тот миг он верил…

Я передал императору ответ капитана.

– Ну вот видите, как все удачно сложилось, – говорит он с нехорошей усмешкой. И смотрит мне в глаза. Этот взгляд… тот самый, от которого дрожали его маршалы… бездна…

Он обращается ко всем:

– Что ж, пора собираться.

Я потрясен. Не министр, даже не адмирал, а какой-то капитан одного из бесчисленных английских кораблей что-то обещал – и этого достаточно ему – величайшему из императоров?! Я был уверен, что после обещания капитана все только начнется: переговоры с правительством, обмен посланиями…

Он привычно читает мои мысли:

– У нас нет времени, иначе нас попросту возьмут в плен. И, кроме того… – Он не заканчивает фразы и странно усмехается. – Короче, поторопитесь, господа.

Вот так, не получив никаких заверений от официальных лиц, он отдает себя в руки англичан.

Император в зеленом мундире с бархатным воротом, со звездой Почетного легиона и в треуголке садится в лодку. Отплываем.

Он поднимается на палубу корабля. Снимает свою знаменитую треуголку – приветствует капитана. (Хотя не снимал ее перед королями)…

Надо сказать, капитан принимает нас очень радушно. Сто

человек императорской свиты – их жены, слуги размещаются на корабле.

Раннее утро. Корабль берет курс на Англию.

До самого полудня император сидит недвижно на палубе, глядит, как исчезают берега Франции. Я стою рядом. И слышу:

– Более не увижу…

Я так и не понял – говорил ли он сам с собой или сказал это мне.

В пути император занимается делом, в котором ему нет равных, – очаровывает. Уже вскоре и капитан, и матросы пребывают от него в совершеннейшем восторге. Еще бы, сам Наполеон с таким энтузиазмом интересуется их экипировкой, пищей…

Вчера император участвовал в утреннем построении команды и сказал много комплиментов и морякам, и английскому флоту. Посетовал, что у него не было таких моряков, иначе он завоевал бы весь мир.

Все как-то сразу забыли, что император – пленник… Пленник? Нет, он бог войны, который ведет себя как добрый гость. Его любимая манера – трепать по щеке и щипать за ухо своих солдат. И уже вскоре английские моряки с восторгом терпят эти странные покровительственные ласки.

Да, он – вечный любимец солдат всего мира. Не прошло и недели плавания, а он уже может повелевать вчерашними врагами. Его обожают.

* * *

Первая остановка – Торбей. Набережная запружена людьми. Матросы рассказывают – пешком, верхом, в каретах народ прибывает из Лондона, чтобы увидеть его. Подзорные трубы продаются за сумасшедшие деньги. Вокруг корабля кружатся сотни лодок, взятых напрокат. Нанять шлюпку стоит небольшого состояния. Все взоры прикованы к нашему кораблю: ждут появления императора.

Я пообедал, вышел на палубу. Император продолжает обедать – точнее, сидит за столом с отсутствующим видом – о чем-то думает.

На палубе я увидел матроса, державшего большую доску с надписью мелом: «Он обедает».

Наконец император появляется на палубе… Безумные крики с

набережной: «Смотрите, смотрите!..»

Он уходит в свою каюту. И тотчас на палубу вышел другой матрос, написал на доске большими буквами: «Он отдыхает».

Толпа благодарно аплодирует.

Мы пришли в Портсмут. То же столпотворение.

Принесли газету, из которой я узнал: в Лондоне идут лихорадочные совещания министров с принцем-регентом.

Император балует англичан: выходит на палубу в знаменитом сером походном сюртуке и треуголке. На лодках, кораблях, на набережной тысячи людей обнажают головы…

Он доволен. Смотрит на меня.

– Я опишу это, Сир.

Он улыбается.

Свершилось! Сегодня, 31 июля, на борт «Беллерофонта» поднялся адмирал Кейт. Почтительно приветствует императора, зачитывает решение правительства.

Император не понимает по-английски, ему переводят: «Генерал Бонапарт (так теперь велено его называть) объявляется пленником союзников. Его отправляют в ссылку. Ему дозволяется взять с собой трех офицеров и двенадцать слуг. Место ссылки – остров Святой Елены…»

Император взрывается в яростном монологе. Он буквально орет:

– Вы попрали все законы гостеприимства! Я был величайшим вашим врагом и оказал вам величайшую честь, добровольно выбрав вашу защиту. То, что вы совершили, ляжет вечным позором на всю британскую нацию… Это равносильно смертному приговору!

Адмирал слушает с несчастным лицом.

После страстного монолога император… преспокойно выходит на палубу. На свою обычную вечернюю прогулку на потребу любопытным.

Я потрясен: он выглядит, повторюсь, совершенно спокойным. И это спокойствие пугает.

Погуляв с полчаса, он возвращается в каюту.

Маршан прибегает ко мне в панике:

– Он заперся в каюте. Как тогда – в Фонтенбло…

И Маршан раскрывает мне тайну – год назад, после первого отречения, император пытался покончить с собой… Бедняга Маршан боится повторения попытки самоубийства.

Он умоляет меня постучать в каюту императора – как бы по делу.

Я подхожу к каюте, и из-за двери тотчас раздается голос императора:

– Позовите Маршана.

Он и за дверью читает мысли?!

Потом Маршан рассказал мне: когда он вошел, император сидел на кровати.

– Помоги мне раздеться, мне нужно отдохнуть.

Потом лег, сам задвинул полог. Свет проникал через плотные пурпурные шторы на окнах, и каюта была цвета крови.

Маршан в ужасе стоял у полога кровати, ожидая неизбежного. И услышал ровный голос императора:

– Продолжай читать.

Это были «Жизнеописания» Плутарха, он читал их императору накануне. Маршан стал читать – в совершеннейшем ужасе… Он не знал, что происходило там, за занавесями.

Но когда он дошел до самоубийства Катона, император преспокойно раздвинул занавеси и попросил халат. Маршан подал – дрожащими руками. После чего император стал молча расхаживать по каюте. Походив, остановился и начал обсуждать с Маршаном, кого ему взять с собой на остров.

– Он был совершенно спокоен, будто все идет как надо, – сказал мне Маршан.

«Будто все идет как надо». Теперь понимаю – лучше фразы не придумать.

Ему пришлось выбирать из тех, кто поднялся с ним на борт. И он выбрал.

Маршан за ужином назвал их мне. Граф Шарль Монтолон с женой Альбиной, граф Бертран с женой Фанни… Причем Фанни (кстати, англичанка) была в ужасе от этого известия, говорят, чуть не бросилась за борт. Но сам Бертран был счастлив.

И еще император назвал меня.

– Он просил узнать, как вы к этому отнесетесь, – закончил Маршан.

Я вошел к императору в каюту и сразу начал:

– Сир! Если вы окажете мне честь и возьмете меня, вы исполните самое заветное мое желание.

Он улыбнулся и сказал:

– Граф, вы не только хорошо пишете, вы бегло говорите по-

английски. Я решил взять вас с собой к англичанам, в изгнание, еще тогда, в Париже, как вы, наверное, поняли.

«К англичанам, в изгнание»? Так что же выходит? Уже в Париже он знал, что сдастся Англии? И что его сошлют? Но тогда зачем он сдался?

* * *

Так я спрашивал себя тогда, глупец.

За ужином император объявил свите свое решение – назвал тех, кого решил взять с собой. И тогда вечно скандальный (и вечно обиженный) генерал Гурго устроил императору бурную сцену. Гурго вспоминал (весьма страстно), как спас его в России, как храбро бился при Ватерлоо. Он не просил – требовал, чтобы император взял его на остров.

Императору не могла не понравиться такая жажда служить. Я был перемещен на должность секретаря, а Гурго добавлен к двум офицерам.

Я, единственный из свиты, старше императора и ниже его ростом. К тому же я худ, как император в дни Тулона. Все это ему приятно…

Вечером он приглашает меня в каюту. На столе лежат перо и бумага.

– Не будем откладывать.

Он усаживает меня за стол и начинает диктовать. Диктует стремительно, приходит в ярость, когда я его останавливаю. Я понимаю, что мне придется придумать собственную систему стенографии…

Генерал Бонапарт

Император начал с детства:

– Я родился пятнадцатого августа одна тысяча семьсот шестьдесят девятого года.

Я вдруг сообразил, что сорок шестой день его рождения мы будем праздновать в океане – по пути в изгнание.

– Здесь не забудьте упомянуть о том, – продолжал он, – о чем я вам уже рассказал, – о комете. Накануне моего рождения в небе появилась комета. И встала над островом… Корсика, хаос творения… Горы! – Он смотрел в окно. – Как одинаковы волны… усыпляющий простор океана, а горы будят воображение. И небо. Воистину лазоревым оно бывает только на Корсике… Мирные селения, прилепившиеся к горам, черные покрывала женщин, спешащих в церковь… Пейзаж родины…

В моем роду – мятежные флорентийские патриции и сарацинские рыцари. Воинственная кровь опасно смешалась… Отец высокий, статный. Пожалуй, Люсьен больше всех нас похож на отца… Маленькая Петиция, моя мать, – истинная корсиканская красавица. Мраморное лицо, которое не берет загар. Бледность статуи… Я мамин сын.

«Действительно, маленький, с точеными чертами лица и с такой же отчаянной бледностью», – подумал я.

Он улыбнулся моим мыслям и даже продолжил их:

– И такими же, как у нее, маленькими руками… Она единственная в мире женщина, которую я боготворил. Когда однажды она опасно заболела, я умолял ее не умирать: «Вы уйдете, и мне некого будет уважать в этом мире». После каждого моего триумфа она пугалась.

Она говорила: «Мой мальчик, так вечно продолжаться не может…» И все повторяла старинную корсиканскую притчу: «Один великий богач нашел на дороге золотые часы… и очень расстроился. Потом он потерял все, остались только эти часы. Однажды он потерял и их… и очень обрадовался. На изумленный вопрос ответил: “У меня было так много всего, что когда я нашел еще и эти часы, то понял: так больше продолжаться не может”. И сейчас я радуюсь по той же причине: так больше продолжаться не может»… Да, я обладал всем, что может дать судьба. Пожалуй, для окончательного величия мне не хватало только несчастья…

И как-то торопливо он вернулся к прежней теме:

– Мать религиозна и тиха, и при этом отважна, как истинный воин. Только такая женщина могла родить настоящего солдата. Запишите: «Уже в чреве матери император слушал грохот пушек». Это была война жалкого глиняного горшка с чугунным котлом – корсиканцы сражались против королевской Франции… Мы были разгромлены. Остатки повстанцев вместе с вождем генералом Паоли бежали в горы. И все это время рядом с мятежным генералом был его адъютант – мой отец Карло Буонапарте. И его беременная жена Летиция… Надо описать отчаяние отступления – жара, ржанье коней и бешеная скачка. И в седле мать слушала меня, мои толчки… жизнь, которую носила… Так что огонь битвы в моей крови. Мы уходили через горные перевалы, где так близко небо. И когда в тысяча восьмисотом я задумал провести через Альпы целую армию, я имел право сказать себе: ты уже одолел горы в чреве матери».

Он задумался и потом произнес:

– Писатели лгут в начале и в конце. Все, что я рассказал, опустите. Начните торжественно, но кратко: «Его будущее Судьба определила до его рождения. Разгромив восставших, Франция завоевала Корсику, и император Наполеон родился французом». Военная увертюра отыграна, мой друг. Занавес поднялся…

Она родила меня, когда шла к обедне. Был праздник Успения Богородицы, и по дороге у нее начались схватки. Она вернулась домой и не успела дойти до спальни. Я родился в гостиной – на старинных коврах с изображениями героев Илиады…

Он говорил, а я видел (клянусь, видел!): в деревянной колыбели, накрытой белым кружевом, кричал мальчик…

Император улыбнулся:

– Как бывает у малорослых, потому бешено тщеславных, детей, я обожал подчинять. Не имел, да и не хотел иметь друзей, но хотел иметь подчиненных. Я, низкорослый мальчик, заставлял служить себе не только высоких сверстников, но и старших учеников и даже старшего брата.

Наш маленький белый дом в Аяччо… Если там будете, навестите его. Он не последний на острове – целых три этажа. Каким огромным он мне казался и как оказался мал… Дерево у моего окна… я открыл окно, ветка качается, и я вижу, как на ветке сидит черная бабочка… она тоже кажется мне огромной. Я лезу за ней, и мать ловит меня, когда я уже приготовился выпасть из окна… Все меня привлекает… особенно лепешки, которые в поле оставляют коровы. Я спешу их собрать, и мать шлепками

отгоняет меня от коровьего навоза… Отец не справлялся со мной, я был зверски упрям. Когда мне мыли голову… как я ненавидел мыло, оно щипало глаза, и я пытался съесть его… чтобы его не было! И за буйство в ванной она выгнала меня с мокрой головой… И я в слезах, отторгнутый ею, лежу в постели, а отец на цыпочках входит ко мне и с нежностью трет мою голову, сушит волосы… Но она – воплощенная месть – на пороге, и отец покорно исчезает перед разгневанной Немезидой… Он рано умрет, но, к великому моему счастью, останется она. Как она меня знала… будто между нами был заговор…

Но у маленькой красавицы были крепкие кулаки… Она понимала – только кулаками можно шлифовать мой характер. Мою вздорность она превращала в упорство. Я не хочу идти в церковь – пощечина. Я увязался за ней в гости – она велела остаться. Но я иду, молча, упрямо иду за ней. И полуоборот матери, и внезапная боль – пощечина. Удар беспощаден! От бешенства я бросаюсь на землю – я хочу разбиться, чтобы напугать ее. Истошно кричу, но она даже не оборачивается. Гордая, прямая спина удалявшейся матери… И до смерти буду помнить тот день: жару, пыль, твердость земли – твердость матери. Уважение к силе, к ее непреклонности вошло в мое сознание вместе с пощечинами…

Жизнь играла мной. В семьдесят девятом я поступаю в военную школу в Бриенне. Здесь учились дворянские дети. На стене – портрет графа де Сен-Жермена, основателя школы. Старик в мантии, со множеством орденов, в высоком парике… или он казался мне стариком? Мне шел шестнадцатый год, когда я покинул эту школу, а росту во мне было жалких четыре фута десять дюймов. Мать увидела меня… и не узнала в толпе здоровенных сверстников. Я бросился к ней с объятиями, а она недоверчиво смотрела на меня, у нее, как она потом рассказывала, даже возникла вздорная мысль: не подменили ли сына? Маленькое, худенькое, болезненное существо… это не мог быть ее Наполеоне!

На самом деле я был мал, но крепок, как сталь. И уже не раз научил своих сверстников уважать и опасаться моего маленького тела. Я вступал во все драки. Главное – ввязаться в драку, и тогда тебе спуску нет! Так я учил свое тело бесстрашию. Я выбирал самых сильных – они сбивали меня с ног, но я вставал и шел на них. Я научил их страшиться не только моих кулаков, но и моей непреклонности. Так требовала моя честь. Так учила мать. Уверен, все доброе и злое в человеке – от матери. Запишите: «Она всегда учила меня гордости, чести и славе»…

В Бриенне я взял свою первую крепость! Помню, выпал снег, и

я убедил товарищей построить из снега брустверы, валы, парапеты. Получилась маленькая крепость. Мы разделились – одни защищали ее, а я с другими должен был ее взять. Я придумал диспозицию и возглавил атаку. Защищавшие лихо отбивались замерзшими снежками. Это было очень больно – снежки в лицо, но я бежал впереди и добежал – мы ее взяли!

И вот результат: «Крепкое сложение, отличное здоровье, честен и благороден, отличался прилежанием к математике… будет превосходным моряком». Это моя характеристика в школе, и я ее заработал.

Я хотел быть моряком, но у меня не было протекции… Они меня не приняли. Я плакал. И тогда я услышал голос: «Ты еще увидишь море».

Так первый раз заговорил во мне этот голос. Да, мой флот проиграет все морские сражения. Но море будет ко мне очень милостиво. Когда я вез армию в Египет… и когда оттуда возвращался…

Он остановился:

– Нет, я хочу, чтобы все было по порядку. Мы еще подойдем к этому…

Император смотрел в окно каюты – гладь бухты, море. И повторил:

– «Ты еще увидишь море»… Меня отвезли в Париж, в военную школу на Марсовом поле… Содержали нас там великолепно. И хотя в большинстве мы были мальчиками из небогатых семей, в школе при нас была многочисленная прислуга, мы щеголяли верхом на великолепных казенных лошадях… Все это развращало. Помнится, я даже написал записку, где предлагал заменить эту ненужную роскошь умеренной жизнью. Вместо дорогих удобств я предложил побольше знакомить нас с тяготами военной жизни, с невзгодами, которые нам предстоят. Но начальники не захотели принять аксиому: трудности в учении помогают в будущих боях… В училище я пережил и первое видение военной славы – я увидел великого полководца принца Конде!..

Я не мог не подумать: «Его потомка, герцога Энгиенского, он расстреляет».

Император засмеялся (читал, читал мысли!)

– Я совершил много ошибок – не расстрелял мерзавца Фуше, затем Ватерлоо… история с Папой и так далее… много. Но не эту. Я и сегодня знаю – я имел право его расстрелять.

Я уверен – у него в этот миг было ощущение мужа, чья жена, по имени Франция, прелюбодействует с Бурбонами… И отсюда эта ненависть к несчастному, несправедливо погубленному им отпрыску Бурбонов.

Непрерывная диктовка… Я устал смертельно, но он не замечает, расхаживает по каюте и диктует:

– В Парижском военном училище при выпуске мне дали характеристику: «Высокомерен, любит одиночество, чрезвычайно самолюбив. Его честолюбие не знает границ». Отличная характеристика для того, кто решил поиграть с земным шаром!

Моя юность – мое одиночество. Мои товарищи постоянно болтают о любовных приключениях. У меня никого. Мое тогдашнее страдание… впрочем, обычное юношеское страдание. Я обожал гётевского «Вертера» – мой любимый тогда роман. Мысли о самоубийстве… Но у меня не было несчастной его любви, а я хотел иметь право глубоко страдать. И я нашел предмет постоянного страдания: поруганная судьба моего маленького острова. И я писал в дневнике: «О моя угнетенная родина! Если нет больше отечества – патриот должен умереть… Я всегда в одиночестве, даже когда кругом люди. О чем я тоскую нынче? О смерти. А ведь как-никак я стою лишь на пороге жизни. Мои земляки, закованные в цепи, целуют французскую руку, которая их сечет. Если бы нужно было умереть кому-то одному, чтобы вернуть свободу моему острову, я не раздумывал бы ни секунды…»

Хотя теперь я думаю, что истинная причина моего страдания была совсем иной. Во мне появилась уверенность… в моей избранности! Не могу точно сказать, когда появилась эта мысль – вполне возможно, она была всегда. Просто с возрастом ее голос становился сильнее и сильнее. Я читал и перечитывал Плутарха, биографии Цезаря, Александра Македонского, – истории жизни великих властелинов, земных богов – как руководство для своей будущей жизни. Я ревниво отмечал, во сколько лет они достигли первых великих успехов. Хотя, будучи достаточно трезвым, я понимал: невзрачный, нищий, неродовитый… в стране спеси, где главное – родиться знатным… Да, у меня не было ни одной лазейки в великое будущее… Скорее всего, здесь и была истинная причина моего постоянного страдания. А единственное прибежище от этого страдания – чтение о великих…

Ганнибал… Слоны взбираются на Альпы – блестящий маневр, и войско Ганнибала уже топчет римскую равнину. Потом мне придет в голову повторить все это в Итальянскую кампанию. Да – повторить, ибо в мечтах, в воображении я уже взбирался вместе с

ним на неприступные Альпы.

И, конечно, встреча с Александром Македонским. Я прочел о нем все, сделал множество выписок по маршруту его завоеваний. Я в совершенстве изучил географию Египта, Персии, Индии. У меня появилась безумная идея… Да, да – вы поняли. Тогда все бредили переселением душ… и мне все больше казалось, что когда-то я был – им. И я поклялся повторить его великие планы в нашем жалком веке… или умереть. И я сумел! Через тысячелетия я повторил грандиозные завоевания древности в нынешнем пугливом мире, который так страшится всего грандиозного и так обожает жалкую меру… И мир не выдержал величия древних планов…

Он стоял и смотрел, как на рейде становился на якорь большой корабль. Потом сказал:

– Да, тогда, в юности, я усвоил – не должно быть предела дерзанию. Всемирность – с этого ощущения начинается гений…

В это время мой отец умер. Надо иметь того, для кого вы пытаетесь добиться успеха, кто должен вам аплодировать… Теперь мать должна была восхищаться моими успехами. Но еще долго я продолжал разговаривать с умершим отцом… И в день коронации, сидя на троне, я сказал брату: «Если бы это видел наш отец!» И теперь я все чаще замечаю в себе его привычки, говорю с его интонацией…

Я был выпущен из училища в чине подпоручика в артиллерийский полк. Полк сначала стоял в Гренобле, потом нас перевели в Баланс. Обычный провинциальный городок – мир сонной скуки. Офицеры – богатые дворянчики, и я – полунищий, живущий на жалкое жалованье. Однообразные забавы молодых офицеров – соблазнять местных дам и после пересказывать друг другу свои любовные подвиги. Я старался не слушать их. Ведь если им верить, все женщины низки и похотливы, как кошки. И я утешал себя строкой из Овидия: «Всякий готов обсудить здесь любую красотку, чтобы сказать под конец – я ведь и с ней ночевал».

Я был тогда влюблен. Первая любовь для возвышенной души – пострашнее недуга. Ее звали Софи, дочь госпожи Коломбье… Да, помню ее фамилию. У этой дамы собирался местный салон, она была законодательницей мод валанского общества. И надо сказать, она меня поняла и, думаю, даже оценила. Юный, нелюдимый, нищий подпоручик был принят в ее салоне. И конечно же я тотчас влюбился в ее дочь. Какое это было блаженство – сидеть подле Софи… и есть вишни. Да, мой друг, все мое блаженство свелось к тому, что мы вместе ели вишни. Потом, через много лет мы встретились… она была замужем,

бедствовала. Я назначил ее статс-дамой ко двору одной из своих сестер. Разве я мог забыть первую любовь – невинную любовь жалкого подпоручика?

Следующая любовь… была тоже невинной. Родная сестра жены моего брата Жозефа… Как она была хороша! Помню, она искренне удивлялась, как я отважился в нее влюбиться! Даже спросила меня: «Ну что ты можешь мне предложить?» И я спокойно ответил: «Корону». Она расхохоталась. А ведь я не солгал. Это я помог ее мужу стать королем, хотя он был мне всегда противен. Теперь она шведская королева, а ее муж, которого я осыпал почестями, как вам известно, изменил мне первым. Король Бернадот… – Он расхохотался. – Этот бывший якобинец… На правом плече у него любимая татуировка якобинцев: «Смерть королям». Поэтому, говорят, даже камердинер не имеет права видеть его обнаженным…

После всех неосуществленных любовных мечтаний я записал в дневнике: «Считаю любовь вредной для общества. О, если бы боги избавили мир от любви». Я сделал тогда выбор: я буду любить одну даму – Славу. И у нее не будет соперниц. Я решил стать политическим писателем. И как великий гасконец[7] – завоевать умы Европы. Так началось мое первое нападение на континент. В своем тайном сочинении я впервые свергал королей. Я заклеймил Людовика, «который безжалостно тиранит мою несчастную Корсику». А заодно обличил и остальных монархов, «угнетающих нынче двенадцать стран Европы. И среди всех этих жалких королей только единицы не заслуживают того, чтобы их свергли».

Император помолчал.

– Пожалуй, все эти глупости про юношескую любовь мы вычеркнем… Итак, по ночам я расправлялся с королями, а утром пропадал на полигоне – учился ремеслу артиллериста на службе у французского короля. Это уже было серьезно: по шестнадцать часов в день я занимался своей профессией. Я понял: судьба преподнесла мне великий подарок. Ибо не штык и пуля, в которые свято верили тогда все королевские армии Европы, но огонь пушек будет решать судьбу будущих сражений. И я разыгрывал… и выигрывал великие битвы в своей каморке, собирая в кулак уничтожающий, яростный огонь батарей. А в свободное время… то бишь перед рассветом, – книги, книги, книги!

Я и носу не показывал в кафе, где молодые офицеры по-прежнему обсуждали прелести покоренных дам… пока я покорял Европу! И хотя они совершали свои «подвиги» в реальности, а я в

воображении, но в девятнадцать лет воображение реальнее реальности! И даже когда меня отправляли на гауптвахту, я добросовестно штудировал там знаменитый римский кодекс Юстиниана – как материал для будущих законов моей завоеванной империи! Будущей великой Империи! И каждый раз, засыпая на свои три часа (мне и тогда этого было достаточно), я молил о ней Высший Разум, так именовали Господа мы, просвещенные люди конца века.

И наступил он – «великий восемьдесят девятый»! Революция принялась за работу. Я присутствовал при роковых минутах королевской власти. С террасы Тюильри я следил за Историей… пока в качестве наблюдателя. Я видел, как тысячная толпа с топорами, пиками, саблями и ружьями штурмовала дворец королей. В окне показался несчастный Людовик. Ворвавшаяся чернь напялила ему на голову красный фригийский колпак. И я сказал: «Жалкий олух! У тебя были пушки! Надо было картечью рассеять пять сотен этих каналий, остальные разбежались бы сами…»

В тот день чернь познала ничтожество властелина. И я не сомневался: теперь они обязательно придут сюда вновь! И в знаменитый день десятого августа все с той же террасы я увидел конец ничтожной, слякотной власти… Дворец Тюильри вновь осажден наглым, подлым сбродом. Жалкое сопротивление швейцарцев… Вместо решительного пушечного залпа в толпу – беспорядочные одиночные выстрелы. И уже победившая чернь, сметая гвардейцев, ворвалась во дворец…

Потом, когда дворец был взят, я пошел посмотреть. Дальше двора меня, разумеется, не пустили. От тесноты ли места, или оттого, что я видел это в первый раз, но я был поражен таким количеством трупов: двор был устлан телами швейцарских гвардейцев… И все это время я слышал отчетливый голос: пришло, пришло твое время!..

Но начал я с ошибки – вернулся на Корсику и явился к генералу Паоли. Тот долго причитал, «как летит время», спросил о матушке, в которую был, конечно, как и все, влюблен. Я прервал эти старческие вздохи: «Генерал, я появился на свет, когда моя родина гибла. Вы должны поддержать человека, рождению которого были свидетелем… Моя жизнь принадлежит борьбе за свободу моей Родины. Я хочу сражаться вместе с вами!»

И он ответил мне, вздохнув: «Ты отстал от времени, Наполеоне, – разговариваешь смешным языком Плутарха. Ты до сих пор не покинул свою юность. К сожалению, мне нужны не говоруны-мечтатели, а молчаливые силачи-бойцы. Ты слишком

мал ростом для испытаний, которые нам предстоят».

Не думаю, чтобы моя патетика показалось ему столь смешной. Причина его слов была, конечно, иная – генерал Паоли был прирожденный вождь и его чуткое ухо услышало конкурента! И он испугался… Ну а потом и я разочаровался в корсиканской независимости. Ступени, ведущие к славе… я не нашел их на своем острове. Для всемирной славы он был слишком мал. И вскоре я снова был в Париже…

Пожалуй, на сегодня хватит. Перепишите и принесите мне утром. Лучше пораньше. Думаю, днем они переведут нас на другой корабль.

Вернувшись к себе в каюту, я до рассвета диктовал бедному сыну все, что записал и запомнил. А потом долго думал: как хитро император пропустил самое интересное!

О тех днях мне много рассказывал мой друг корсиканец Фернан, сражавшийся с генералом Паоли и эмигрировавший потом в Англию. Сначала будущий повелитель Франции принял участие в мятеже против Франции – командовал отрядом корсиканских сепаратистов, а потом… потом подавлял этот мятеж! Ибо сделал окончательный выбор – предпочел великую Францию маленькому родному острову. И вскоре уже штурмовал крепость, где засел генерал Паоли, но тщетно. С этого безуспешного штурма и началась военная карьера того, кто впоследствии завоюет целый мир…

А тогда он вместе с матерью и братьями был объявлен вне закона вчерашними сподвижниками. И, видимо, теми же горными тропами, какими когда-то спасалась от французских солдат, Петиция уводила с острова свою семью от разгневанных корсиканских патриотов, от вчерашнего кумира – генерала Паоли. На крохотном суденышке в шторм они отплыли к берегам Франции…

* * *

Бее это, естественно, я тогда тоже записал. Ибо в ту ночь решил делать записи не только для него, но и для себя. Точнее – для Истории. Императору, разумеется, я показывал лишь его диктовку.

Утром я принес ему переписанное. Он даже не стал читать – тут же разорвал.

– Я подумал, что… все не нужно! И детство, и отрочество у всех одинаковы. Все молодые Вертеры похожи друг на друга. А

так как «Вертер» уже написан… и я ничего не могу прибавить к великой книге… – Он усмехнулся. – Короче, этот период мы пропустим. Напишем лишь несколько предложений… Уже тогда я презирал все, что не есть Слава. И уже тогда знал все, что со мной случится! И оттого я окончательно понял – моя душа более не принадлежит маленькому острову, ей нужна Вселенная!.. Это был все тот же голос судьбы. Услышать его дано только избранным… Именно поэтому я, вчерашний мятежник, объявил комиссару Конвента: «Что бы ни случилось, Корсика должна быть соединена с Францией». Так состоялось мое второе рождение. Корсиканский акцент и окончание «е» в имени можно… нет, нужно было отбросить. Ибо не было больше Наполеоне Буонапарте. Был Наполеон Бонапарт, приехавший в Париж. Чтобы, как все честолюбцы, завоевать великий город? О нет! Прекрасную Францию? Тоже нет! Весь мир!..

Он стремительно заходил по каюте:

– Я набросал план нашей работы. Записывайте! Надо начинать не с рождения Бонапарта, а с рождения Наполеона. А его истинное рождение – это осада Тулона. Потом пойдет подавление восстания роялистов, консулат, империя… Далее – политика в отношении Англии, блокада гнусного острова… Затем – российская кампания, победа «генерала Мороза» над Великой армией… Эльба, Сто дней и Ватерлоо. Вот и вся жизнь… Между прочим, я сделал огромную ошибку, заночевав во Флерюссе и отсрочив начало битвы. При Ватерлоо сражение надо было начать на сутки раньше, тогда Веллингтон и Блюхер не успели бы соединиться… После Ватерлоо – вся история подлой ссылки на остров… Кстати, вы автор «Атласа»… что-нибудь знаете о Святой Елене?

– Конечно, Сир. Во-первых, когда-то вы хотели его захватить…

Я забыл о его удивительной памяти. Он тут же подхватил:

– Мы должны были высадить там десант – полторы тысячи человек с четырьмя орудиями. Но не вышло – после победы англичан при Трафальгаре каждое судно было на вес золота. Так Господь оставил остров у англичан – приберег, очевидно, для меня… Дальше…

– Я посмотрел в моем «Атласе»: остров небольшой, тринадцать километров в длину и около двадцати в ширину. Принадлежит Ост-Индской компании, население: чиновники и купцы. Остальные три четверти населения – негры-рабы. Четыре тысячи миль от Европы и вдвое меньше… от Америки. Ближайшая суша – остров Вознесения – тоже принадлежит англичанам.

– Итак – вода, вода, вода… Нас будет сторожить океан. Негодяи выбрали правильно.

– Но Америка, Сир…

– Не надейтесь, Лас-Каз, у нас другие планы… Климат?

– Тропики, экваториальная жара и постоянные ливни.

– Это значит – дизентерия, лихорадка, рвота, сердцебиения. – Мне показалось, что он улыбнулся. – Таковы будут условия для коронованного Папой монарха… И условия эти непременно украсят вашу будущую книгу…

И он продолжил диктовать план:

– Далее в дополнение к биографии мы с вами запишем ряд размышлений. Некий краткий очерк войн прошлого, походы великих – Тюренна, Фридриха и Цезаря. И еще – об укреплениях, об организации армии… для будущих военных учебников. Таков наш минимум.

– Я безмерно счастлив оказанной мне милостью, Сир. Мы напишем об Истории, которую творили вы.

– Но вы должны понимать: при таком климате неизвестно, сколько мне будет отпущено времени. Следует торопиться… Вам выпала удача – записать все, что я хочу рассказать о себе миру. И мне выпала удача – получить время для этого. Обычно люди, подобные мне, обремененные государственными заботами, не успевают этого сделать. Если бы я скончался на троне, я остался бы загадкой для всех. Сейчас, в моем несчастье, я наконец-то смогу поведать людям о себе. И надеюсь, что эта будущая книга в чем-то изменит мир…

В дверь каюты постучали.

– Как я и предполагал – пора. Ступайте собирать вещи, нас переводят на другой корабль. Видимо, вон тот… «Нортумберленд». – Он, усмехаясь, указал в иллюминатор, где был виден стоящий на рейде большой корабль. – Он и повезет нас на забытый Богом остров.

Я откланялся. Император, как обычно, забыл меня поблагодарить. Потом вспомнил – и потрепал по щеке…

Самое удивительное – он был в хорошем настроении. После всего, что случилось!

И только теперь, по прошествии стольких лет, я окончательно понял – почему!

Наш первый день плавания. «Нортумберленд» – огромный семидесятичетырехпушечный фрегат. Его сопровождает целая эскадра, я насчитал девять кораблей. На палубах все красно от

мундиров англичан – на остров везут наших тюремщиков. Две лучшие каюты на фрегате занимают император и командующий флотилией адмирал Кокберн.

Император вышел на палубу – провожает уходящие берега Англии. Прощается с Европой, которая должна была ему принадлежать… Возвращается в каюту. И более не выходит. Даже к ужину.

Почти все время он проводит в своей каюте по правому борту. Там есть туалетный столик, умывальник и два кресла. И серый матрас на полу у койки императора – на нем спит верный Маршан…

Каково же было мое удивление, когда я недавно узнал, что Маршан, этот бессловесный преданный пес, тоже вел дневник! Он описал жизнь императора на острове… точнее, его смерть… его загадочную смерть. А я-то считал, что простодушный Маршан делал только то, что ему приказывал император… Или?.. Или, может быть… это был тоже приказ – писать дневник?.. Ну конечно, как же я сразу не понял!

Сегодня, пока император гулял по палубе, Маршан наводил порядок в его каюте. Он заменил корабельную койку той самой походной кроватью и с моей помощью укрепил над ней полог из зеленой тафты.

Маршан говорит мне:

– На этой кровати император отдыхал перед Аустерлицем, Ваграмом и Фридландом. На ней он провел ночи великих побед…

Та самая кровать, на которой император умрет.

Он встает, как обычно, на рассвете. Маршан приносит ему черный кофе. Сразу после кофе должен появляться я.

Император в халате и шлепанцах стремительно ходит по каюте (зверь в клетке!) и, к сожалению, столь же стремительно диктует. Он ничего не умеет делать медленно, он подчинен другой скорости, живет в другом измерении… Мне приходится придумывать всё новые иероглифы для сокращения слов, с их помощью я веду непрерывную запись до обеда. Пока император обедает, я диктую расшифрованное сыну. Ему вчера исполнилось пятнадцать лет – взрослый мальчик. Я все вспоминаю, как жена не хотела его отпускать… нет, без него бы я не справился…

Обед императора: мясо и немного вина «Шамбертен».

Потом Маршан опять приходит за мною. Я возвращаюсь. И

вновь диктовка…

На следующий день император прочитывает записанный текст и вносит свои изменения – поправляет каждый абзац до двух десятков раз. А потом… все зачеркивает. Но я копирую для себя каждую запись.

Император отпускает меня обычно глубокой ночью. Я едва успеваю доползти до койки, падаю и сплю.

Сегодня необычный день – император отпустил меня вечером. Стоит прелестная погода, штиль. Он решил прогуляться по палубе.

Маршан приносит ему знаменитый зеленый мундир. Император выходит на палубу и останавливается, опираясь на пушку (его любовь). И молодые английские офицеры застывают, встают на караул. Кокберн ничего не может с этим поделать – он сам давно попал под обаяние бога войны. И уже не говорит императору «господин генерал», хотя, говорят, поклялся в Лондоне, что другого обращения тот от него не дождется.

После прогулки император идет в офицерский салон. Здесь приветствия офицеров звучат согласно строжайшему приказу: «Добрый вечер, господин генерал» или «Здравствуйте, Ваше превосходительство». Император не отвечает… В салоне его ждет свита. Наконец-то он слышит:

– Добрый вечер, Сир!

И только тогда здоровается.

Император сказал мне вчера: «Как они смешны со своим “генерал Бонапарт”! Мои победы давно сделали очевидным для всех: слово “император” навсегда срослось с именем “Наполеон”. Навсегда!»

В салоне он играет в карты с Кокберном, Монтолоном и Бертраном. Проигрывает, как обычно, свои золотые наполеондоры, которые со вздохом вручает ему Маршан. Или играет в шахматы с одним из наших, чаще всего с Бертраном (и тоже безнадежно проигрывает).

Английские офицеры изумляются: как великий стратег может быть столь бездарен в шахматах? Они не понимают – его мысли далеко. Он обдумывает нашу работу…

Ужин накрывают в другой части полуюта (уточнение для истории). Император сидит во главе стола. По левую руку – адмирал Кокберн, по правую – Бертран со своей белокурой Фанни, Монтолон и я. Беседа ведется по-французски (я или

Фанни переводим Кокберну).

После ужина император вновь прохаживается по палубе в сопровождении адмирала. Они ходят под руку, представляя собой забавную пару – высокий худющий Кокберн и коротенький толстый император…

Кокберн и все остальные скоро пойдут спать. А он… Ночью за мной неумолимо придет Маршан. И в свете свечи под стеклом, под тяжкий ропот океана мы продолжим…

Император диктует:

– Париж в семьсот девяностом – сладкие каникулы революции. Плотина запретов сметена! Сводящий с ума воздух шалой свободы… все опьянели… В саду Тюильри – выставка туалетов. Шпаги дворян, галстуки адвокатов, сутаны священников… и множество красавиц… Бесконечный праздник ораторов: диспуты повсюду – в клубах, в кафе, в Законодательном собрании, в ресторанах, театрах и даже в публичных домах. Громовые речи Мирабо… И все это наблюдаю я, жалкий лейтенант, ослепленный этим пиром накануне крови…

Он останавливается, и мы вычеркиваем слово «жалкий».

– Но скоро из многообразия туалетов останутся одни нищие куртки санкюлотов, потому что за всеми этими счастливыми людьми, пьяными от свободы, следят трезвые глаза законных детей революции – глаза Марата, глаза провинциальных адвокатов, которые жаждут двигать революцию вперед… Вперед – значит, к крови! Ибо у революции есть только один двигатель – кровь. И вот уже Дантон под восторженный рев толпы прокричал: «Мы будем их убивать, мы будем убивать священников, убивать аристократов… и не потому, что они виновны, а потому, что им нет места в грядущем, в будущем!»

Но тут-то и была его великая ошибка. Он почему-то думал, что революция убивает сословно. Он еще не знал, что гильотина – демократична! Ибо революция, как Сатурн, пожирает и своих законных детей! И скоро, скоро они все поедут на казнь. И отец революционного Трибунала Дантон, приговоренный к смерти тем же Трибуналом, и Робеспьер, и Сен-Жюст… всех пожрет эта вечно голодная до крови дама…

Я пережил это время в скучном своем полку, но я знал – скоро меня призовет слава… Республика задыхалась в огне мятежей и интервенции. Восстал Лион, и усмирять его был послан мой будущий министр, депутат Конвента Фуше. Он велел взять двести юношей. Их связали веревками. И в этот сгусток человеческого отчаяния он палил из пушек. Я читал его воззвание: «Пусть их трупы доплывут до Тулона, внушая ужас врагам Республики».

Император усмехнулся.

– Потом я часто напоминал Фуше о Лионе и о том, как он голосовал за смерть короля. Но эта хитрая лиса неизменно отвечала: «Чего не сделаешь, Сир, чтобы освободить место вам…» Фуше хитер и подл, а все думают, что умен. И самое глупое – он сам поверил в свой ум. Мерзавец не понимает, что вся камарилья во главе со старым маразматиком Людовиком, которая благодаря ему нынче въехала в Париж, уже завтра пожелает забыть, кому она этим обязана. Зато вспомнит его кровавые дела. Когда его вышвырнут из Парижа, ему придется понять: быть ищейкой, предателем – это он умел, но быть политиком – выше его разума… Впрочем, вычеркните все это, я не хочу марать будущую книгу.

И опять он вернулся в прошлое:

– Но как забилось мое сердце от странного предчувствия, когда я услышал: «Вслед за Лионом восстал Тулон». Роялисты захватили город и призвали армию интервентов. Семь тысяч испанцев, восемь тысяч пьемонтцев и неаполитанцев, а также две тысячи англичан и стоящие в порту британские корабли обороняли мятежный город. Тулон стал головной болью революции. Который месяц у защищенного с моря и суши города беспомощно топталась наша армия…

Но судьба… Запомните – если она служит вам, вы всегда окажетесь в нужное время в нужном месте. И вот уже мимо Тулона проезжает посланный за порохом в Авиньон капитан Бонапарт, и в это же самое время командира артиллеристов (я помню его имя – Даммартен) тяжело ранят, а в Тулонскую армию в это же время прибывает депутат Конвента, давний знакомец Бонапарта – корсиканец Саличетти.

Мы обнялись и заговорили на языке нашей родины. Он пригласил меня в палатку. Узнав, что я капитан артиллерии, он открыл рот, чтобы рассказать о ранении Даммартена. Но я уже знал – все тот же голос судьбы… И тотчас придумал, как действовать.

Я предложил ему прогуляться. И, показав на стоявшее неподалеку орудие, сказал: «Вы плохо ведете осаду! К примеру, какая польза от этого орудия, если вы не умеете даже правильно его поставить?» Саличетти воззрился на меня в крайнем недоумении, и я пояснил: «Ядро из этой пушки не долетит не только до укреплений Тулона, но даже до моря. Хотите пари?» И не дожидаясь его ответа, приказал артиллеристу: «Заряжай!» Три выстрела подтвердили мою правоту. А дальше было все, как я и ожидал: потрясенный моими знаниями, Саличетти тотчас

предложил мне заменить Даммартена.

Я согласился, и он сел писать в Конвент. Ему нужно было обосновать мое назначение, ибо во времена террора все боялись обвинений в предательстве. Головы летели каждый день. Я стоял над ним и видел, как перо его выводило: «…и случай нам помог: мы остановили проезжавшего мимо очень сведущего капитана Буонапарте и приказали ему заместить раненого». Случай? Да. Но – мой случай! Теперь все, что я продумывал в полку бессонными ночами, можно было начать осуществлять.

Крепости берет артиллерия. Но сначала надо было наладить дисциплину среди моих артиллеристов – этой вольницы санкюлотов… Я был худ, страдал от чесотки и сзади меня часто принимали за девочку. Подчинить этих полупьяных великанов можно было только одним – мужеством. Я велел укрепить над батареей знамя с надписью: «Батарея бесстрашных». И теперь во время артиллерийских дуэлей с тулонцами я поднимался на бруствер и преспокойно стоял под ядрами, скрестив руки на груди. Мои артиллеристы смотрели на меня сначала с изумлением, потом с великим трепетом. Они поняли: я не знаю страха. Но я пошел дальше – велел уничтожить укрытия, в которых они прятались от ядер (и оттого стреляли слишком медленно). Сюда, на батарею, под вражеский огонь я охотно приглашал всех этих революционных бездельников – инспекторов из Парижа. И уже через мгновение они с ужасом спрашивали: «Что у вас здесь служит защитой?» А я отвечал, стоя на бруствере: «Как вы уже поняли, граждане, защитой нам служит наш патриотизм!» Под хохот моих артиллеристов они в страхе кланялись каждому ядру, а потом попросту падали ничком на землю…

Я помню молоденького солдата, бросившегося на землю вслед за этими трусами, когда прямо на нас полетело ядро. Оно разорвалось совсем рядом со мной, я был покрыт грязью, но – ни единой царапины. И я сказал солдату: «Глупец, ты видишь – я невредим! Ибо если это ядро было предназначено мне, а я зарылся бы в землю на тысячу футов, оно и там нашло бы меня». И мои артиллеристы окончательно поверили, что я заговорен. Теперь они подчинялись мне абсолютно.

Все разбросанные по побережью орудия я приказал собрать вместе. Артиллеристы свозили их со всего побережья под обстрелом противника… И доблестно погибали под огнем… Генерал Карто (до революции он был плохим художником, а теперь этот болван командовал Тулонской армией) ничего не понял и потребовал от меня прекратить терять солдат, намекая, что это пахнет изменой. Испуганный Саличетти ему не

возражал… но мне помог Огюстен Робеспьер[8], присланный от Конвента вместе с трусливым корсиканцем. И еще умница Дюгомье – этот генерал мне тоже сразу поверил. Помню, они собрались в палатке, и я произнес перед ними неплохую речь. Я учил их новой тактике – моей тактике: «Чтобы обороняться и выжить – надо дробить свои силы. Но чтобы атаковать и победить – силы необходимо объединять. Мы атакуем. И весь артиллерийский огонь надо направить в одну точку, нанести мощнейший удар на одном участке. Пробить брешь в обороне противника! И если брешь пробита – судьба битвы решится в мгновение, сопротивление станет бесполезным».

И я показал на карте высоту Эгильет, где надо было пробить эту смертельную для противника брешь. Высота господствовала над рейдом, оттуда можно было разбомбить флот англичан. «Вот здесь Тулон!» – сказал я. Но болван Карто никак не мог понять, почему Эгильет – это Тулон. Несчастный генерал подумал, что этот мальчик, тонкий, как щепка, с висящими по щекам немытыми патлами, нервно расчесывающий себя до крови (как меня донимала чесотка!) просто не силен в географии. И он начал объяснять мне, где находится Тулон… Я едва не расхохотался.

Но Огюстен Робеспьер и генерал Дюгомье поняли меня. И мы штурмовали Эгильет. Я был в самом пекле, в голове атакующих. Подо мной убило ядрами трех лошадей, но сам я был лишь легко ранен пикой. Я превозмог весьма сильную боль… скрыл свою рану – солдаты должны были верить в мою неуязвимость. И они запомнили – и про трех убитых лошадей, и про неуязвимого Бонапарта! Но в решающий момент, когда противник уже готовился сдаться (ах, как я всегда чувствовал этот миг!), этот идиот Карто велел отступать…

И опять они собрались в палатке, и опять я заставил их поверить мне. Огюстен Робеспьер приказал повторить штурм. Собрав все батареи в единый кулак, я не покидал своих артиллеристов ни днем ни ночью – спал на земле рядом с пушками, завернувшись в шинель… И был второй штурм. Я отлично обработал ураганным огнем форт Мюльграв, прикрывавший высоту Эгильет. И уничтожил гарнизон.

И я сказал Огюстену: «Теперь ступайте с Богом отдыхать. Считайте, мы уже взяли Тулон. Через два дня вы будете там ночевать».

Император смотрел в окно каюты, мимо которой прохаживались по палубе английские матросы. Но он их не видел – он был в Тулоне…

– Да, все было кончено! Мы захватили форт, а потом высоту.

Оттуда я устроил ад для английского флота. Два дня непрерывной канонады – и начался новый штурм Тулона. Семь тысяч солдат бросились в атаку. И опять в разгар боя мне стало ясно – вот-вот дрогнут атакующие. Я опять чувствовал этот решающий миг битвы! И тогда я бросил в бой мой резерв. Я сам повел солдат в пекло сражения! И решил его исход. Началось жалкое бегство защитников города на английские корабли. А потом уходящая, точнее, убегавшая в открытое море английская эскадра…

Тулон, считавшийся в Европе неприступной крепостью, был взят! Великий день – семнадцатое декабря девяносто третьего года. Британские газеты отказывались верить – Тулон, защищенный с суши и с моря, пал?! Да, моя звезда взошла. Это было первое из шестидесяти великих сражений, которые меня ждали. Шестьдесят побед! Больше, чем у моих кумиров, вместе взятых: Александра Македонского, Цезаря и Ганнибала…

Огюстен в подробном докладе написал обо мне в Париж. И, конечно, после доклада брата всемогущего Максимилиана – немедленный результат: звание генерала. Мне было двадцать четыре… генерал Бонапарт. И вот теперь, через двадцать два года, они хотят оставить меня в том же звании…

Император засмеялся. Он уже вернулся в реальность и поглядел на англичан, гулявших по палубе:

– Как они бежали из-под Тулона… А утром я сказал себе, приветствуя наступающий день: «Это взошло твое солнце».

На следующий день, передавая императору свои записи, я осмелился сказать:

– Может быть, Сир, стоит закончить ваш рассказ фразой: «В Тулоне он впервые встретился с Историей, чтобы более никогда с ней не расставаться»?

Но он лишь расхохотался.

– Впрочем, даже эту банальность можно как-то спасти… – И он исправил: – «В Тулоне он впервые вы…л Историю». – (Обожает солдатские словечки!) – Но так как этого писать нельзя, умоляю – впредь ничего не придумывайте сами. Моя жизнь и без того слишком патетична!

Во время прогулки по палубе я услышал, как император с усмешкой спросил адмирала Кокберна:

– Не скажете ли, сэр, где был «Нортумберленд» в те дни, когда я захватил Тулон и выгнал оттуда английские гарнизон и флот?

– Про судно не знаю, – ответил адмирал, – но я был среди тех, кого вы прогнали…

Вечером император сказал мне в каюте:

– Он не знает! И это люди чести?! Я уверен, «Нортумберленд» был в той самой эскадре, которую я вышвырнул из-под Тулона. Поэтому они и пересадили меня на этот корабль. Жалкая месть! Впрочем, это в обычаях британцев. Взять Веллингтона… После моего первого отречения он уговорил старого маразматика[9] отдать ему мою великолепную статую, сделанную Кановой. Он мстительно поставил ее в своей прихожей, и теперь гости вешают на нее свои шляпы… Где благородство?! Я уверен: этот господин сделал все, чтобы отправить меня на этот остров, ибо он боится, что я снова вернусь… Он знает, что дважды победить Наполеона – невозможно!

Однако за дело… В Тулоне я встретил Новый год, а четырнадцатого января стал генералом. В тот день мы с Огюстеном сидели в маленьком кафе на набережной. С моря дул вечный бриз. Молодость, удача! Огюстен позвал меня с собой в Париж. Он рисовал мне картины столичного будущего. Я было открыл рот, чтобы с благодарностью согласиться… и вдруг отчетливо понял – нельзя! И с изумлением услышал, как я отказываюсь! И Огюстен с таким же изумлением смотрел на меня. Он ничего не сказал, только пожал плечами. Молча допил свою чашечку кофе и ушел – обиженный. Он отбыл в Париж, а я остался на юге командующим артиллерией… проклиная себя за отказ. Но через полгода наступило девятое термидора, и я понял – судьба спасла меня.

Я столько передумал об этом дне. Какая сцена для великой пьесы! В бывшем придворном театре королей Конвент сыграл последний акт нашей революции! Я хорошо помню эту залу Конвента – здесь приговорили к смерти ничтожного короля. Теперь здесь же предстояло исполнить главный закон революции – истребить ее любимых детей…

Жара, июль… Брут, Марат, Солон глядят со стен. Огромная статуя Свободы опирается на земной шар. Тогда это была лишь мечта. Во время моего правления Свобода воистину обопрется на весь мир… Кресло председателя, выполненное по рисунку Давида… За креслом портьера, скрывавшая вход в салон, где совещались хозяева Конвента. Вот оттуда и вышел как всегда уверенный и как всегда сильно напудренный Робеспьер. Бедняга не знал, что заговор уже составлен. Заговор тех, кто молча и трусливо наблюдал, как великие революционеры истребляли друг друга! Заговор негодяев против кровавых фанатиков!

Впоследствии я говорил со многими его участниками – хотел отделить легенду от истины.

Робеспьер начал говорить, но они ему не дали. Ему стало плохо, он попытался сесть на скамью, а они кричали: «Не смей туда садиться, это место Демулена, которого ты убил!.. И сюда не смей – это место Верньо, которого ты уничтожил!..» Он пытался продолжать говорить, но от волнения поперхнулся. И тогда прогремели эти слова, которые закончили великую революцию: «Кровь Дантона душит тебя, несчастный!»

Каков эпилог! В ночь на десятое термидора в Парижской ратуше с челюстью, раздробленной пулей, лежал всесильный Максимилиан. Около него суетился жандарм, совсем мальчик, уверявший, будто это он стрелял в Робеспьера. Вчерашнего диктатора перенесли в Консьержери… он лежал в камере, глотая кровь. Впоследствии я отыскал врача, который выдернул из его раздробленной челюсти осколок кости и несколько зубов. И врач подтвердил мне то, в чем я всегда был уверен, – жандарм ни при чем, это была попытка самоубийства. Жалкий конец… Для истории ему надо было подняться на эшафот, как Дантону, – и попрощаться… нет, не с народом… народ, чернь – пустое, но с Историей, со Славой!

Его положили на доску. Упал нож гильотины… Фуше, истинный отец переворота, рассказывал мне, как палач уложил между ног голову с рыжеватыми волосами, на которых осталась пудра, а в глазу застрял кусок стекла от разбитых очков… Вместе с ним лег под нож и Огюстен… Огюстен был чертовски талантлив. Сам Максимилиан был негодный диктатор: он так и не понял свою задачу и оттого погиб. Впрочем, задача эта была ему не по силам. Эту великую миссию – усмирить революцию, умирить народный гнев, ввести в берега безумное половодье – он оставил мне.

В революции есть всего два сорта вождей – те, кто ее совершают, и те, кто пользуются ее плодами… Пришло время срывать плоды с дерева революции, и к власти пришли воры и негодяи. Началась «охота на ведьм». Под радостные крики толпа разбивала статуи великих революционеров, которым еще вчера поклонялась.

Я счастливо избежал гильотины, которая мне наверняка грозила, если бы я поехал с Огюстеном в Париж. Правда, тюрьмы не избежал. Очутился я там уже через две недели после казней в Париже по обвинению в близости к врагу народа Огюстену Робеспьеру и… в намерении сдать англичанам Марсель! Кровавый бред кружил головы! От страха все помешались на доносах… Кому я был обязан этим диким вздором? Я узнал это на

первом же допросе. Тому, кто действительно был близок к Огюстену, моему приятелю Саличетти!

Император засмеялся.

– Таким образом трус пытался спастись сам!.. А я сидел в тюрьме под Ниццей и смотрел сквозь решетку на море. С крыши тюрьмы в ясную погоду можно было увидеть в бинокль очертания далекой земли – мою Корсику. В тюрьме мне исполнилось двадцать пять. Что ж, четверть века прожил, следовало подвести итоги… За это время я многое успел: был объявлен вне закона на родине, жил в нищете и… стал одним из самых молодых генералов Республики!

Мне предлагали бежать. Я отказался – зачем? Если судьба предназначила меня для великих дел, я и так буду на свободе. Если этого не случится, значит, я обычный смертный и тогда стоит ли жить?! Лучше гильотина! Я был совершенно спокоен.

Я решил написать письмо в Париж. Хотя знал: во время «охоты на ведьм» лучше затаиться. «Опасно напоминать о себе обезумевшему Парижу» – так посоветовал начальник тюрьмы, весьма мне симпатизировавший. Но я был уверен: судьба за меня! И я написал: «Хотя я оклеветан без вины, не хочу роптать и жаловаться на Комитет общественного спасения. Я не слишком ценю свою жизнь и только вера, что могу послужить Отечеству, позволяет мне все это переносить и просить вас, граждане: “Разорвите мои цепи!”»

Сколько подобных молений они получали… Тщетных молений! И сколько невинных отправилось в те дни на эшафот после подобных писем! Но со мной свершилось чудо. Всего через две недели вместо путешествия на гильотину я гулял на свободе. Так я проверил мои отношения с судьбой…

Выйдя из тюрьмы, я узнал, что Саличетти находится в бегах. Через друзей-корсиканцев (мы всё всегда знаем друг о друге) я выяснил, где он скрывается. Он прятался у любовницы, пережидая время казней… И я написал ему: «Я мог бы отомстить тебе, но не трусь: этого я не сделаю, никому не скажу о тебе ни слова. Ибо никогда не забуду твои благодеяния, мой вчерашний товарищ…» Еще бы – ведь это он помог мне встретиться с Историей, смел ли я забыть это?

Новые власти предложили мне отправиться в Вандею. Героя Тулона хотели заставить усмирять бунтовавших крестьян! Я предпочел отставку и поселился в Париже. Устроился работать в топографическом отделении военного министерства. Получал гроши, да и выдавали их не всегда аккуратно, так что обедал по знакомым… Вечно голодный, задолжал всем – прачке,

ресторатору, бакалейщику, виноторговцу… До сих пор помню этот ужас, когда раздавался стук в дверь – кредиторы! Чаще других приходила прачка – чудовище необъятных размеров с громоподобным голосом. Она свирепо требовала заработанное.

Самое тощее существо в Париже самого странного вида… это был я! Представьте себе: «собачьи уши» (так называлась моя старенькая треуголка с опущенными полями), жидкие волосы до плеч, потертый генеральский мундир и вечно мрачный взгляд… Моя работа в министерстве заключалась в бумажной писанине – инструкциях для нашей дурно экипированной армии в Италии, с трудом сдерживавшей натиск австрийцев. Но по ночам с этой жалкой армией я одерживал победу за победой… на карте, при свете огарка свечи, который я должен был к тому же экономить. В своей нищей комнатушке, забывая о голоде, я громил хваленые австрийские войска, оккупировавшие мою Италию, родину предков. Я грезил об этих победах непрерывно…

И я решил действовать. Добился аудиенции у Барраса[10]. Ему рекомендовал меня генерал Лютиль, участвовавший в штурме Тулона. До революции виконт Баррас был королевским офицером. Этот высокий красавец соединял всю испорченность старого режима с кровавым цинизмом людей революции. Его жизнь была похожа на роман, кровавый и похотливый, и с самыми гнусными иллюстрациями. Он был способен на переворот, на убийство, мог ограбить монастырь и завоевать колонию на краю света… Теперь он жил как всемогущий революционный принц, окруженный любовницами, льстецами и ворами-финансистами.

Как я ждал этой встречи! Когда я вошел, Баррас уставился на меня с величайшим недоумением – ему было трудно поверить, что перед ним герой Тулона… так я выглядел. Я был… – император усмехнулся и посмотрел на меня, – даже худее вас, Лас-Каз.

«Однако вы слишком молоды, генерал», – сказал мне Баррас. Я не смог отказать себе в ответе: «На полях сражений, гражданин, взрослеют быстро. А я не так давно с поля боя». Баррас из вежливости спросил меня о Тулоне. Я с наивным жаром стал рассказывать… и натолкнулся на его отсутствующий взгляд, с открытой скукой блуждавший по моему изношенному мундиру. В это время в кабинет заглянула красивая дама…

Я подумал, что хорошо знаю «красивую даму». Жозефина была тогда любовницей Барраса…

Император строго посмотрел на меня и продолжил:

– После чего Баррас заторопился и попросил меня изложить мое дело. Я начал пересказывать восхитительные проекты побед в Италии, выношенные на моем чердаке. «Нам надо перестать обороняться, – горячился я. – Самим напасть на войска австрийцев в Италии. На штыках понести в Европу нашу свободу». Баррас совсем заскучал. Ему, как и всем им, новым повелителям, было не до Свободы. Все, что не сулило денег, было им скучно. Он откровенно ждал, когда я закончу. И торопливо поблагодарил меня, как только я замолк. Я понял, что уйду ни с чем.

Но я в нем ошибся. Он был мерзавец, но талантливый мерзавец. И, видно, оценил и хорошо запомнил меня. Всего через три месяца он меня позвал… Тогда этих зарвавшихся воров уже никто не поддерживал. Как говорили в предместьях: «Мы хотим власть, при которой хотя бы едят!» И богачи, и роялисты решили – пришла пора покончить с жалкой Директорией! Восстали богатые центральные районы Парижа… Они приготовились прийти в Тюильри, где заседали Конвент и Директория, и смести их, как когда-то в том же Тюильри восставшая толпа смела королевскую власть. Рабочие окраины угрюмо хранили нейтралитет…

Испуганная Директория назначила Барраса главнокомандующим вооруженными силами. Это были жалкие силы. И двадцать тысяч восставших приготовились разгромить шесть тысяч защитников Конвента. Что он мог, Баррас? Стрелять в толпу? – Император презрительно засмеялся. – Это было для них табу. Грабить толпу – вот это пожалуйста! И вот тогда Баррас и вспомнил о странном генерале, совершившем что-то героическое под Тулоном.

Ночью в мою каморку постучали. Меня привезли в Тюильри. Первый раз я был там. И когда вошел… тотчас понял: я пришел в свой дом.

Баррас предложил мне защитить Конвент. Он не слишком надеялся на мое согласие – ведь он предлагал мне погибнуть вместе с ними. К его изумлению, я согласился тотчас. Тюильри – мой будущий дом, и я знал, что сумею его защитить. Без всяких колебаний я решил сделать то, что когда-то советовал жалкому королю… Впереди у меня была ночь…

«Как вы намерены защищаться?» – спросил Баррас.

«Шпагой. Шпага всегда при мне, и с ней я далеко пойду. Будьте любезны, гражданин, вызвать ко мне командира солдат, охраняющих Конвент…»

Командир пришел. Я сразу его оценил – он был из тех, кто не боится самого черта. Его звали Иоахим Мюрат. Я приказал ему привезти пушки, стоявшие на площади Саблон. «Если не дадут

добровольно, отнимите, убивайте, но пушки должны быть здесь к утру!»

Этот дьявол сразу повеселел. Он рвался в бой.

«Я не понимаю, зачем вам пушки?» – спросил Баррас. И в голосе у него был испуг.

«Пушки, гражданин, обычно нужны для того, чтобы стрелять», – ответил я.

«Вы собираетесь стрелять в людей?»

Никогда не забуду восторженный ужас на лице Барраса.

«Да, я собираюсь исправить ошибку короля, который когда-то не посмел этого сделать».

К утру моя батарея ждала восставшее быдло… И вот уже – рев приближавшейся толпы. Торжествующий вопль черни, поверившей в свою наглую силу. Они уже близко, у церкви Святого Роха… И тогда я скомандовал: «Картечью – пли!» И ступени церкви покрылись трупами… Так я рассеял толпу, наступавшую по узкой улице.

В Тулоне я разработал план, но не я отдавал приказ о штурме. Впервые я видел убитых по моему приказу. Трупы, много трупов… лежащих ничком в разных позах… сколько их я еще увижу на полях сражений! Запишите: «Во мне всегда жил добрый человек, но добрые струны души я заставил замолчать. И они уже больше двух десятилетий не издают ни звука». Хотя…

Я подумал: он хочет вычеркнуть. Но он помолчал, потом сказал:

– Нет, пожалуй, оставьте. – И продолжил: – Вот так Баррас благодаря мне стал спасителем Директории. И главным в ней действующим лицом. Меня он назначил командующим Парижским гарнизоном. На случай нового восстания…

Как сразу переменилась моя жизнь! Как-то под вечер пришла за деньгами прачка. Обычно она стучала, а я не открывал. Она покрывала меня бранью, я молчал. И в этот раз я дал ей повторить до конца обычное представление. А когда ведьма, всласть осыпав меня самыми последними словами, уже спускалась вниз, я открыл дверь, окликнул ее и… протянул деньги… Она лишилась дара речи!

Император хохотал. Клянусь, он жил в том времени!

– Да, я был теперь влиятельнейший генерал и любимец Директории. Но оставался так же худ, и чесотка по-прежнему изнуряла меня.

В это время народ переживал все прелести революции – безудержное воровство новой власти и собственную нищету. На улицах – полно попрошаек. Рабочие окраины ненавидели

правительство. Следовало опасаться нового взрыва. Мне приходилось каждый день воевать с подстрекателями – они хотели использовать голод для новых волнений… И я расформировал опасную Национальную гвардию, изъял оружие у граждан, закрыл якобинскую секцию.

Каждый день я патрулировал город в сопровождении офицеров моего штаба. Порой это было очень опасно. Помню, утром у булочной, куда не завезли хлеба, нас окружила яростная толпа… Уже пытались стянуть нас с коней… полетели камни… И какая-то отчаявшаяся толстенная торговка вопила: «Бесстыжие эполетчики! Вам бы только набить свое брюхо за наш счет и воровать… А мы подыхаем с голоду!» Но я успел крикнуть в толпу: «По-моему, мамаша ослепла. А ну-ка посмотрите, кто из нас толще?» Я был худ как щепка. Толпа разразилась хохотом. И мы поехали дальше.

Последние слова ему пришлось повторить. Моя голова упала на руки…

– Ба! – воскликнул он. – Мамзель Лас-Каз утомилась. Хорошо, ступайте спать, жалкий человек. Завтра мы начнем с девяносто шестого года. Брак с Жозефиной…

О Жозефине. Итак, я знал эту креолку еще на Мартинике… Жозефина Богарне была вдовой гильотинированного революцией генерала. Она старше Бонапарта – думаю, во время их знакомства было ей 34 года. И выходя замуж за юного героя, она решила скинуть в брачном контракте аж шесть лет. Жозефина не красавица, она опаснее красавиц, она обольстительна: лазоревые глаза, великолепные черные волосы, смуглое роскошное тело креолки. Добавьте волнующий грудной голос и ленивую грацию маленькой кошечки – последнее сравнение возникало у всех, кто ее видел. Жозефина редко смеялась, и ее считали загадочной (на самом деле у нее были плохие мелкие зубы).

Процитирую кусочек из разоблачительного памфлета, который я прочел в эмиграции и сохранил из-за весьма забавного описания моей старой знакомой: «Париж: задыхается в вихре удовольствий. На другой день после казни Робеспьера все понятия революции о суровых добродетелях гражданина стали смешными и звучат издевательством. Все вмиг помешались на богатстве. Деньги делают нынче на всем: на курсе постоянно падающих ассигнаций, но еще больше на «наследстве крови» – продаже имений гильотинированных. Надо только иметь руку в бесстыдной Директории, состоящей из вчерашних республиканцев, мгновенно ставших сегодняшними ворами… А как преобразились Елисейские

Поля! Угрюмые куртки санкюлотов сменились разноцветными фраками «новых французов», щеголяющих тростями с бесценными набалдашниками, золотом и каменьями… В открытых колясках восседают дамы с обнаженными плечами, похожие на античных богинь, а еще больше – на цариц полусвета. Некая госпожа Ж<озефина> Б<огарне> – одна из этих повелительниц новой Франции. Из застенков Консьержери, где она дожидалась смерти (спасла ее только гибель Максимилиана), она сразу попала в салоны «новых французов». И уже из постелей разбогатевших спекулянтов перелегла в кровать к их вождю – мсье Б<аррасу>… Сей господин покупает ей кареты и дает деньги на роскошные приемы. Эти пиры происходят в ее новом доме, купленном опять же мсье Б. Мужчинам положено приходить туда без жен. Здесь устраиваются миллионные сделки, распределяются государственные средства – так нынче принято в республиканском Париже! Но ловелас Б. не может быть долго верен одной даме… Они расстались. Однако неукротимая плоть госпожи Б. влечет ее к новым приключениям. Говорят, ее многочисленные избранники всегда молоды и красивы. Но недавно в ее постели появился совсем иной герой. Он мал ростом и жалок телом. Надеюсь, граждане, вы догадались? Да, это тот самый прославленный генерал… Таковы нынче властители дум, занимающие воображение французского народа. Проснись, бедная Франция!»

На Мартинике я был с креолкой в самых дружественных отношениях… И кое-что знаю от нее самой (очень мало), и от дамы весьма к ней (и какое-то время ко мне) близкой – мадам Т. [11].

Как сообщила мне мадам Т., Баррас не до конца охладел к пылкой креолке и время от времени посещал ее. Они были меньше, чем пылкие любовники, но больше, чем просто друзья. И это он придумал познакомить ее с Бонапартом. Он верно оценил ситуацию: понял, что сей герой, который, кроме нищеты, солдат и гарнизонных шлюх, ничего не видел, будет сражен наповал. И через Жозефину Баррас сможет управлять великолепной шпагой.

Действительно, это сражение великий полководец проиграл сразу и вчистую. Хроника событий, по словам мадам Т., была такова. Сначала к Бонапарту был подослан сын Жозефины с трогательной просьбой: он попросил разрешения хранить шпагу своего отца – гильотинированного генерала Богарне. (По предписанию начальника Парижского гарнизона генерала Бонапарта парижане были обязаны сдать все имевшееся в их домах оружие.) Бонапарт конечно же с охотой отдал мальчику «славную шпагу убиенного отца». После чего поблагодарить генерала явилась сама креолка. И он немедля пал к ее ногам. В доме, купленном

Баррасом, она назначила Бонапарту первое любовное свидание…

Впервые император заговорил со мной о Жозефине в Мальмезоне. Прогуливаясь по аллее, где ему мерещилась ее тень, он вдруг сказал: «Нет, я не умел любить женщин… разве что Жозефину, и то лишь потому, что мне было двадцать семь лет. Я всегда любил только Славу».

Но нет, тогда он был влюблен безумно. И засыпал ее письмами, страстно путая «Вы» и «ты»: «Что Вы со мной делаете? Я пью из Ваших губ обжигающий пламень. Я просыпаюсь и засыпаю с мыслями о тебе… Прими миллион моих поцелуев, но не смей отвечать на них, ибо твои сожгут меня дотла!»

Она показывала его безумные письма мадам Т. Вот ее рассказ: «Я сказала Жозефине: “Какой дурной вкус у этого мальчика”. (Завидовала, конечно же завидовала!) «Но зато какое чувство!» – ответила Жозефина».

Да, этот мраморный герой был с нею сентиментален и добр…

«Он собирается стать отцом для моих сирот, – говорила она мадам Т. – Он на коленях умоляет меня стать его женой. Но я колеблюсь. Я его не люблю, у меня к нему лишь теплое чувство. Кроме того, сила его страсти, темперамент южанина доходят порой до безумия… они пугают… Моя юность, увы, прошла, и я не могу не думать – надолго ли мне удастся сохранять в нем эту бурную опасную нежность? И еще меня пугает в этом мальчике неукротимая жажда власти – он стремится подчинить себе всех и вся. Я боюсь, что он меня попросту раздавит».

Все это заметила тогда даже весьма простодушная Жозефина. Но Баррас ее уговорил.

В это время Жозефина распоряжалась генералом всецело. Что делать, общеизвестная истина – сильнее тот, кто любит слабее…

Итак, она нехотя согласилась выйти замуж: за маленького генерала. Маленькая Жозефина с кошачьей грацией… такие женщины-кошечки обычно предпочитают высоких мужнин… Накануне бракосочетания (оно было гражданским) он заявил ей: «Эти директора думают, что я нуждаюсь в их покровительстве… Поверь, очень скоро они будут нуждаться в моем». Она с ужасом передала это мадам Т. и, вероятно, Баррасу.

9 марта состоялась церемония – Бонапарт женился на Жозефине.

Поскольку остров Мартиника, где находилась церковная книга с датой ее рождения, был блокирован англичанами, нотариус проставил тот возраст, который указала сама невеста – 28 лет (уменьшив ее возраст на 4 года). И Бонапарт помог ей – свой увеличил на год.

На следующее утро мы продолжили.

– В тот день я надел кольцо с надписью, значение которой понимал только я: «Женщина моей судьбы». Девятого марта я женился, а одиннадцатого уже был на пути в Итальянскую армию… Безумная мечта сбылась». Кстати, это всё грязные сплетни, будто благодаря Баррасу я получил назначение командующим в Итальянскую армию. Баррас действительно мне доверял. И отсюда, видимо, этот миф. Мое назначение предложил Карно[12] – это во-первых… А во-вторых, туда никто не хотел ехать. Фронт на юге считался второстепенным, поэтому солдат там не кормили и обмундированием не снабжали… Так что запишите: в Итальянскую армию я поехал благодаря Карно.

Думаю, неправда. О роли Барраса мне рассказывала все та же мадам Т.: «Это был свадебный подарок Барраса Бонапарту».

* * *

– Так началась история, похожая на сказку. Я вернул в мир легенду о Ганнибале, Цезаре, Александре Македонском… Французская армия на Итальянском фронте была ордой. На двух лейтенантов приходились одни штаны, и не было бумаги, чтоб писать приказы. Во всей армии было лишь двадцать четыре горные пушки… Солдат кормили не каждый день, к моему приезду у них было на месяц провианта, и то – при половинном рационе. Шло наглое, беспардонное воровство поставщиков. В армии было четыре тысячи больных, и, как правило, – венерическими болезнями. Ограбленную, нищую армию, как воронье, сопровождали стаи самых грязных проституток.

Приехав, я занялся тем, чем всегда занимаюсь сначала: навел порядок. Проституток приказал ловить, мазать дегтем… И воровать стало сразу невозможно – ведь я все держу в памяти: стоимость перековки коней, отливки пушки, провианта. Разбудите меня посреди ночи, и я скажу, сколько стоит амуниция моих солдат – от сапог до кивера и эполет.

Мои приказы я объявил законами. Никакой медлительности – за промедление в исполнении приказа порой расстреливали! Но никогда не пороли. Я строжайше запретил рукоприкладство. Этим моя армия тогда отличалась от всех других. Офицеров, нарушивших этот приказ, я велел также расстреливать, потому что поротый солдат лишен чести. А что может быть важнее чести для солдата?

Генерал Ожеро (да и не он один) встретил в штыки мое

назначение. Этот удалой смельчак открыто негодовал: почему командующим назначен не он? И вообще, в первые дни хорошим тоном считалось насмешливое неповиновение моим распоряжениям… Я вызвал Ожеро и сказал: «Генерал, вы выше меня ростом на целую голову. Но если вы и впредь посмеете не подчиняться моим приказам, я мигом лишу вас этого преимущества!» И посмотрел ему прямо в глаза. И уже вечером Киприани рассказал мне: Ожеро, напившись, рассказывал такому же фрондеру: «Я не боюсь самого черта, но этот шибздик навел на меня такого страху! Я не могу тебе объяснить, но он посмотрел на меня… и я был раздавлен».

Я сообщил Директории: «Я нашел армию не только без провианта и амуниции, но – что страшнее – без дисциплины. Но будьте уверены, граждане: порядок и железная дисциплина будут восстановлены. Когда это донесение дойдет до вас, мы уже встретимся с неприятелем».

Перед началом похода я обратился к армии: «Солдаты! Вы раздеты и голодны, казна должна вам платить, но платить ей нечем! Ваше терпение делает вам честь, но не дает ни денег, ни славы… Я поведу вас в плодороднейшие равнины мира… Там вас ждут богатые области и процветающие города. Неужели вам недостанет храбрости завоевать все это?»

Я начал о понятном. Но заключил о величественном: «Мы принесем свободу прекрасной Италии, раздробленной нынче на жалкие государства! Победителей ждут честь и слава! Вперед, граждане великой Франции!»

Разведка сообщила: австрийцы потрясены. Французская армия, еще вчера с трудом державшая оборону, вдруг перешла в наступление. Мы двинулись к границам Италии. Австрийцы немедля бросили туда свои войска… И одиннадцатого апреля, всего через месяц после того, как я покинул брачную постель, я разгромил их в битве при Монтенотте. А далее – пишите! – четырнадцатого апреля я разбил их при Миллезимо, шестнадцатого – при Дего… Так я осуществлял то, о чем грезил в моей каморке. Так я начал приучать Францию к славе. Из моих донесений страна впервые услышала имена генералов, которым суждено будет блистать во время Наполеона, – Ожеро, Массена, Жубер…

Неприятельский арьергард, прикрывавший Милан и Турин, сложил оружие. Дорога на север Италии была открыта. И тогда я устроил торжественный смотр своей армии, ставшей армией победителей. Простирая руку к вершинам Альп, я сказал: «Солдаты! Эти снежные вершины отделяют нас от порабощенного Пьемонта. Ганнибал перешагнул через Альпы, а мы обойдем их».

Так я говорил, уже мечтая о времени, когда верну времена великих – повторю поход Ганнибала… А тогда мы пошли по «карнизу», по самой опасной и самой короткой дороге в Приморских Альпах. На виду у английской эскадры, под жерлами ее пушек! Я шел впереди. Мои солдаты должны были поверить в то, во что верили их братья под Тулоном, – я неуязвим, и милость судьбы пребывает с ними, пока с ними я! Точнее, пока они со мной…

Это был стремительный марш-бросок тридцати шести тысяч солдат через ущелье в долину… Здесь следует написать: «всего тридцати шести тысяч», ибо в Бормиданской долине нас ждали семьдесят тысяч австрийцев и сардинцев. Но я нежданно, как снег на голову, обрушился на них. Разрезав их строй, я вклинился между австрийцами и сардинцами. Стремительно разгромив на правом фланге австрийцев, уже на следующий день на левом фланге покончил с сардинцами. Тридцать шесть тысяч моих солдат разгромили семьдесят тысяч неприятеля. Дорога на Пьемонт была открыта.

Потом меня обвинят: дескать, я вывозил из Италии картины, бесценные произведения искусства… Да, перед битвой при Лоди я послал во Францию двадцать картин Микеланджело и Корреджо. Что ж, у меня хороший вкус! Так я заставлял побежденных платить контрибуцию, ибо победоносная армия должна себя содержать сама. И хорошо содержать. И я прекрасно экипировал своих солдат-победителей – они это заслужили. Я исполнил все, что обещал нищей армии, и написал им в своем бюллетене: «Солдаты революции! За пятнадцать дней вы одержали шесть великих побед. Вы взяли двадцать одно знамя, пятьдесят пять пушек, пятнадцать тысяч пленных…»

Он помнил! Он все помнил!

Император улыбнулся, привычно читая мои мысли, и продолжил:

– «Вы форсировали реки без понтонов, выигрывали сражения без пушек, стояли на бивуаках без куска хлеба и чарки вина, преодолевали сотни километров, не имея даже башмаков, ибо вы – солдаты Свободы. Теперь у вас есть все! И благодарное Отечество славит ваши подвиги! Но помните: то, что мы свершили, – ничто по сравнению с тем, что ждет нас впереди!..»

Но обкладывая контрибуцией побежденных правителей, я никогда не позволял своим солдатам грабить население. Я обращался к ним: «Обещаю вам великие победы. Вы же поклянитесь щадить народы, которые мы пришли освобождать. Нарушив эту клятву, вы станете варварами, бичом народов – и

свободное Отечество никогда не признает вас своими сынами… Помните, я не потерплю разбойников, которые омрачат нашу славу. Грабители будут расстреляны».

По моему приказу расстреляли шестерых солдат, ограбивших местную церковь и несколько домов. И я мог написать в своей прокламации: «Народы Италии! Франция идет к вам на помощь! Мы клянемся уважать вашу религию, обычаи и вашу собственность. Мы ведем войну только с вашими угнетателями!»

Великое было время! Я был тогда двужильный… молодой, как и моя армия. Я мог есть гвозди и вообще не спать… Уже потом, в России… когда я с трудом смогу мочиться и сидеть на коне… я пойму, какое же это счастье – быть молодым!.. Это не записывайте. Запишите только: я был тогда окружен такими же молодыми головорезами – моими генералами с весьма подозрительными биографиями. Каждого из них можно было отправить на галеры, и каждый знал, за что! Мы были детьми революции, которая возносит из грязи. И все мы были сыновьями одной страны. И мы громили австрийскую армию, состоявшую из наемников и стариков-генералов. Запомните: гений озаряет молодых… Александр Македонский, Ганнибал, Аттила были моими сверстниками и даже моложе… Я каждый день укорял себя: «Тебе целых двадцать шесть! А ты только начинаешь…» И я был беспощаден к себе – шел в самое пекло боя впереди моих солдат! Я знал – если рожден для бессмертия, судьба защитит! И это бесстрашие подчинило и солдат, и генералов. Они повиновались мне беспрекословно. Я повторил опыт Тулона…

Десятого мая в битве при Лоди австрийцы били по мосту ядрами, но я был в гуще нападавших. Вокруг падали люди и ядра, а я был неуязвим. И мы взяли мост… И когда спустилась ночь, я вернулся на захваченный мост, заваленный трупами, и в который раз сказал себе: «Как бережет тебя судьба! Ты отмечен, и ты свершишь все, что видел в честолюбивых грезах».

И я продолжил игру со смертью при Арколе. Там был тот же кромешный ад… Наши попытки захватить мост были тщетны. Гора трупов уже громоздилась на мосту. Солдатами овладело отчаяние. И тогда я повел их сам. Мармон[13] умолял меня: «Не идите туда, вы погибнете». Он был прав, если бы речь шла о простом смертном. Но то был я… Вокруг меня опять падали люди, был убит мой адъютант Мюирон – защитил меня от пули своей грудью… А я остался невредим… Впоследствии Гро нарисовал меня со знаменем на Аркольском мосту. Хотя на самом деле я не держал знамени. Я держал шпагу. И неплохо ею поработал. И опять вышел невредимым из кромешного ада…

Он помолчал.

– Как видите, я не только **руководил** сражениями – я участвовал во множестве кровопролитных битв… однако не имею серьезных ран… так, жалкие царапины.

Впоследствии Маршан рассказывал, что когда императора обмывали, у него на теле оказалось много шрамов от полученных ран. Превозмогая нечеловеческую боль, он оставался в строю, чтобы солдаты верили в его неуязвимость.

– Аркольское знамя, – продолжал император, – я отослал Ланну, он его заслужил. После трех тяжелых ранений этот истинный воин остался в строю. Ланн не был виноват в том, что судьбе он не интересен и пули в него попадали демократично… как и во всех. Он был всего лишь мужественный солдат, который сказал, предвидя свой конец: «Солдат, которого не убили до тридцати, – дерьмо!» Он погиб на поле боя.

Уже после битвы при Лоди я мог окончательно сказать себе: «У тебя совсем иное предназначение, чем просто служить бесстрашной шпагой для ничтожной Директории». Природа расчетлива… И, оценив свою прошлую жизнь, я ясно понял – я обручусь с Францией. Потому судьба охраняла меня от пули, потому мне суждено было родиться французским гражданином… И после Арколе я сказал Мармону, совершенно изумленному тем, что я вернулся живой из этой мясорубки: «Поверь, мне на роду написаны такие дела, о которых никто и понятия не имеет». И бедный Мармон посмотрел на меня с испугом… Да, он был при моем начале…

Я не успел даже подумать, а император уже прочел мои мысли:

– Так что я не удивился, что он был и при моем конце. И когда в пятнадцатом году я узнал, что Талейран уговорил Мармона открыть врагу путь на Париж, я только засмеялся и сказал: «Значит, круг замкнулся»… Да, своими подвигами и кровью Мармон открыл историю моей славы и закрыл ее весьма по-человечески – своей подлостью…

А тогда… тогда мои обращения к армии Франция читала как стихи. И солдаты были – мои дети. Я только обращался к ним: «Друзья! Я жду от вас…» – и они тут же забывали о страхе, об усталости, становились двужильными. А иначе не могло быть стремительных маршей, которые сводили с ума полководцев старой Европы…

Запишите, Лас-Каз, эти фантастические примеры, которые были военными буднями для моих солдат. Тринадцатого января

корпус Массена участвовал в битве при Вероне. Ночью после битвы, без сна, они прошли по заснеженным дорогам тридцать семь километров и вышли на плато Риволи, где целые сутки участвовали в кровопролитном сражении. После победы – заметьте, опять не отдыхая, опять без сна – марш-бросок еще на семьдесят два километра. Выйдя к Мантуе, согласно моему плану, опять же в тяжелейшем бою, они решили судьбу кампании. За четыре дня – сто десять километров и три победы… Корпус Массена появлялся внезапно, как «летучий голландец», вызывая панику, ужас и обращая врага в бегство… При Аустерлице мои солдаты, перед тем как выиграть величайшую битву в истории, проделали марш-бросок в сто двадцать километров… Они ворчали, но шли! Я позволял им ворчать – так им было легче. И после победы они шутили: «Малыш, – так они меня звали, – уже выигрывает свои битвы не нашими руками, а нашими ногами…»

Так я учил их воевать. А врагов учил заключать мир. И был беспощаден в своих условиях. Король Пьемонта, подписывая мир, отдал мне все свои главные крепости… Ломбардия, Милан – были теперь в моих руках… Герцоги Пармский и Моденский оплатили мир самой суровой контрибуцией. Я оккупировал Болонью и Феррару и поколебал тиару на голове Папы. Я наголову разбил его войска, мог занять Рим…

Бедный старый Пий Седьмой послал на переговоры своего племянника. Он шел на любые условия. Но я понимал – духовный повелитель всего католического мира должен пригодиться мне в будущем. И потому аннексировал лишь малую часть его владений. Правда, забрал из его музеев множество бесценных картин и статуй… не говоря о тридцати миллионах золотом. Но все это я отправил в Париж – Директории. Эти воры были довольны. Они всласть пограбили мои трофеи. Но зато я заставил их молчаливо признать: теперь я сам, без всяких представителей Директории, заключаю мирные договоры с европейскими державами.

Захватив Мантую, я двинулся на Вену и со своими вчерашними голодранцами заставил могущественнейшую империю просить у меня мира. Австрия отдала Бельгию, правый берег Рейна, Ионические острова… Я уже становился… да – легендой! Не без удовольствия я читал свое описание в миланской газете: «Он худощав, бледен, на лице его печаль разочарования… Молодости к лицу великие победы и разочарованность… Этот преемник славы Цезаря и Ганнибала с презрением наблюдает, как выродился ныне род человеческий, как жалки современные престарелые полководцы. Молодая Европа охвачена бонапартоманией».

«Вождь нового поколения… Вызов молодости дряхлой Европе…» – так писали в Италии. А парижские газеты захлебывались от восторга: «Перед ним трепещут монархи, в его сундуках могли бы храниться сотни миллионов, но Первый генерал Великой Нации все отдает республике…» И все, что тогда обо мне писалось, находило отклик в простом народе. Я думаю, что после столетий обожествления королей Франции нужно было кого-то обожать. И она радостно бросилась в мои объятия… Улицу, где я жил, переименовали, к радости толпы, в улицу Победы.

Однако, читая все это, я конечно же понимал – я стал опасен для Директории, с каждым днем терявшей свою власть. Для нее было бы куда лучше, чтобы я оставался в Италии. Они уже страшились моего возвращения в Париж. Но в Италии я был уже не генералом, а государем. Я образовал Цизальпинскую Республику – Милан, Модена и Болонья, – где сам правил… И самые умные в Директории поняли, что с каждым днем я все больше приучаюсь повелевать. Так что после заключения мира, все взвесив, Директория предпочла поторопить меня вернуться в Париж.

Освобожденная Италия – моя Италия! – расставалась со мной с великой печалью. На штыках моей армии я принес в эту землю идеалы свободы, равенства и братства. И я постоянно твердил солдатам: «Мы не завоеватели. Мы друзья этого великого народа – потомков Брута и Сципиона. Мы пришли пробудить к новой жизни народ, нынче скованный рабством!»

Вчера, гуляя по палубе, я думал: когда я был вполне счастлив? Пожалуй, в Тильзите. Я продиктовал там условия мира. Вся Европа… и русский царь, и прусский король, и австрийский император были у моих ног. Но счастливейшим я был все-таки в Италии… Представьте тысячные толпы, кричавшие мне: «Освободитель!» И это в двадцать шесть лет!

Я вернулся во Францию. В Люксембургском дворце Директория устроила великолепный прием в мою честь. Когда меня везли во дворец, за каретой бежала толпа, оравшая приветствия. И я подумал: если завтра меня повезут на эшафот, та же толпа будет орать свои проклятия – и так же громко… Цена любви толпы!..

Во дворцовом дворе весьма живописно расставили разноцветные трофейные знамена, рядом картины в золотых рамах и мраморные статуи работы великих итальянцев – я прислал их в Париж. В самой глубине двора был воздвигнут Алтарь Отечества, и пять Директоров в римских тогах (глупее зрелище трудно придумать!) ждали моего появления. Под грохот

салюта, под крики: «Да здравствует республика! Да здравствует Бонапарт!» – у Алтаря появился я. И начались славословия тому, о ком всего год назад никто не слышал… Я с любопытством слушал это соревнование в лести. Чего стоили только словесные ухищрения министра иностранных дел Талейрана – пройдоха сразу понял, кому надо служить: «Скупая природа! Какое счастье, что ты даришь нам от случая к случаю великих людей!» – проникновенно обращался он ко мне. Пафос времен революции был еще в моде…

Моя ответная речь была краткой: «Наша революция преодолела восемнадцать веков заблуждений, когда Европой управляли религия и монархия. Но теперь, после моих побед, наступает новая эра – время правления народных представителей». Не преувеличиваю – был всеобщий вопль восторга…

Кстати, встретившись со мной в тот день на банкете в мою честь, наш епископ-расстрига[14] сказал загадочно: «Вы были правы, оставив Папе Рим. Наместник Господа и вправду вам еще понадобится». И улыбнулся… Он, как и я, предвидел будущее. И я это оценил.

Да, я был тогда абсолютно счастлив…

Думаю, он лукавил. На самом деле он был тогда и очень счастлив… и очень несчастлив. Ибо уже в Италии его терзали слухи, что Жозефина в Париже отнюдь не безутешна… Он писал ей безумные письма, а она со смехом читала их вслух мадам Т., которая была для нее (как я догадываюсь теперь) больше, чем подруга…

«Не проходит ни дня, чтобы я не любил тебя. Не проходит ни ночи, чтобы ты мне не снилась, чтобы я не сжимал тебя во сне в объятиях. Я не выпил утром ни одной чашки чая, чтобы не проклинать славу и тщеславие, которые держат меня вдали от тебя… от ночей с тобой… Люби меня, как свои глаза… Нет, мало! Люби, как саму себя! Нет, больше, чем саму себя, больше, чем свою жизнь, больше, чем все! И только тогда ты будешь любить меня так, как люблю тебя я… Я опять буду спать без тебя. Прошу тебя, молю – дай мне уснуть!.. Вот уже которую ночь я держу тебя во сне в своих объятиях… И до утра поцелуи твои жгут мою кровь…»

Но он тщетно ждал ее в Италии. И уже все поняв, написал в Париж: своему другу генералу X[15]. (который тотчас передал письмо Баррасу, тот – Жозефине, а та – мадам Т.): «Я в отчаянии, моя жена не едет… у нее есть любовник, и это он удерживает ее в Париже».

И ей – письмо-крик: «Я тебя ненавижу! Я тебя не люблю! Ты уродлива, глупа, неуклюжа, не любишь своего мужа. Почему от Вас нет писем, мадам? Что удерживает Вас от желания написать мужу? Ваши письма холодны, как после пятидесяти девяти лет брака… Берегись, однажды твоя дверь будет взломана и я грозой явлюсь перед тобой».

Она смертельно испугалась. Еще бы – тот, кто умел столь стремительно и неожиданно появляться перед врагом, вполне мог… Теперь любовники избегали посещать ее дом.

Но (как рассказала мне мадам Т.) достаточно Жозефине было написать что-то вроде «мой милый, я была больна» да еще намекнуть при этом на беременность – тотчас в ответ полетело его безумное счастливое письмо: «Я был не прав, я негодяй, я смел обвинять тебя, а ты… ты была больна! Моя возлюбленная, прости, это любовь лишила разума твоего мужа! Напиши мне хотя бы десять страниц, только это сможет меня успокоить… ах, как мне хочется видеть тебя… хотя бы один день… Но все-таки согласись, твои письма холодны, дружелюбие и холодность – это гадко, подло с твоей стороны!.. Разлюби, возненавидь меня – это я буду приветствовать! Мне ненавистно только твое равнодушие… холодное сердце из мрамора, тусклый взгляд, унылая походка. Прости, прости… я люблю – все оттого… и тысяча поцелуев, нежных, как мое сердце».

И вдогонку новые письма: «Судьба предназначила мне любить тебя, можешь ли ты проявить хотя бы сочувствие к человеку, который живет только тобою… Еще раз вскрываю письмо, чтобы поцеловать его тысячу раз! Ах, Жозефина, Жозефина…»

«Любимая! Мир с Римом подписан. Болонья, Феррара, Романья в моих руках! Но что мне до того, если нет ни слова от тебя. Боже мой! В чем я провинился? Ах, какой властью безграничной ты обладаешь надо мной. Твой до конца моих дней…»

Наконец она (после долгих уговоров Барраса) отправилась к нему в Милан. И, как рассказала мне со смехом все та же мадам Т., Жозефина не удержалась – в дороге завела интрижку с красавцем Ипполитом, адъютантом Бонапарта, сопровождавшим ее в Милан.

Да, у Жозефины не было никаких тайн от мадам Т., а у нее – от меня (к счастью, об этом мало кто знал). Предусмотрительная Т. делала копии с писем Бонапарта, которые давала ей легкомысленная подруга, и передавала их мне. И я, в свою очередь, не преминул скопировать эти письма для себя… Но воспользовались мы ими по-разному. В дни империи постаревшая Т. нуждалась в деньгах и решила попросить свою бывшую подругу выкупить эти копии. Ответ она получить не успела – внезапно

умерла. Господин Фуше, тогдашний министр полиции, был очень заботлив…

Я же воспользовался своими копиями только для Истории. И только теперь, после смерти императора.

Вчера, после диктовки, я рискнул спросить императора, был ли он счастлив в браке?

– О да, – ответил он безмятежно. – Она любила меня безумно… она умела любить. – Внимательно посмотрел на меня и сказал уже тоном приказа: – Она никогда не давала мне повода для ревности, и я никогда ее не ревновал… Лишь однажды, это было в Италии: пуля вдребезги разбила на моей груди медальон с ее волосами. И вместо того чтобы обрадоваться, я чуть было не залился слезами… Я подумал: это знак свыше – она мне изменяет. Только потом я понял – это действительно был знак свыше, но совсем иной: ее прекрасные волосы, ее любовь защитили мое сердце. Она любила меня всегда, – закончил он все тем же тоном, не терпящим возражений.

В каюте портрет Жозефины стоит на столике у «кровати из Аустерлица», а рядом с портретом – прядка белокурых волос другой жены, Марии Луизы, в открытом медальоне…

– Жозефина… она порой меня очень ревновала, хотя я редко давал ей повод. Я знаю все глупости, которые про меня говорили… на самом деле мои любовные приключения были наперечет. В Италии у меня была интрижка с восхитительной певицей красавицей Г., затем история с фрейлиной Жозефины мадемуазель Д. – она была чудо как хороша. Вот, пожалуй, все! Но ни одной женщине я никогда не позволял управлять собой. Когда Жозефина посмела только дернуть ручку двери в комнату, где я объяснялся с мадемуазель Д. – я пришел в бешенство, даже заговорил о разводе… Впрочем, все это не надо записывать. Не спальня, а поле сражения – там ищите подробности о Наполеоне!

На самом деле: знаменитая певица Грассини, фрейлина Дюшатель, мадемуазель Жорж – премьерша «Комеди Франсэз», мадам Лакост, мадам Веде, мадам Фурес, мадемуазель Элеонора Денюэль, мадам Газани – это только начало бесконечного списка его любовниц. Есть известный памфлет «Любовные похождения Бонапарта», где довольно забавно описано, как он, «не отрываясь от государственных бумаг, кивком головы отправлял женщин на ложе. И, не снимая шпаги, занимался любовью…»

То, что я когда-то увидел в ванной комнате императора в Елисейском дворце, Маршан подтвердил мне спустя двадцать лет:

«Когда императора обмывали, мы все поразились: у него был член, как у ребенка…»

Так что Жозефина была спокойна. Она знала его тайну, и только она могла дать счастье его крохотному «дружку». Ее опытная «киска» постигла все премудрости любовного ремесла и умела продлить его страсть (слишком быстро истекающую семенем, чтобы дать счастье женщине и самому почувствовать радость и мощь, которую он так ценил во всем). Она не боялась его измен. Она понимала его: он покорял этих дур, чтобы получить доказательство своей полноценности. Но выходило наоборот: мгновенно утолив бешеную вспышку страсти, похожую на гнев, он становился холоден… и даже враждебен…

«А война все-таки лучше», – сказал он одной из них, поднимаясь с кровати. Так что во фразе «не снимая шпаги, занимался любовью» есть некоторый смысл…

«Набеги» – так насмешливо, по-военному, он называл свои похождения. «Набеги» он совершал тайно – это его распаляло. В Фонтенбло (обычно через окно) он спускался в сад, где его ждала карета. В Тюильри по винтовой лестнице, тайному ходу королей, он проникал в комнату мадемуазель Дюшатель. Эта красавица с золотистыми волосами гармонично сочеталась с арфой, на которой Жозефина часто просила ее сыграть, милостиво награждая аплодисментами.

Отсутствовал император весьма недолго. И Жозефина, наблюдая из окна его отъезд и быстрое возвращение, загадочно улыбалась… А на следующее утро он рассказывал Жозефине все подробности своей победы – всё, что могло задеть или польстить самолюбию жертвы «набега». И горе красавице, уступившей ему, коли она не была сложена, как Венера. Ибо его остроты были беспощадны. Так он мстил: им – за холодность, Жозефине – за предыдущие измены.

Но однажды случилось необычайное. В тот день он приказал Меневилю и Мюрату сопровождать его в «набеге». Он надел широкополую шляпу, черный плащ. На маленькой карете они отправились в ночь. Недалеко от Одеона остановились, он зашел в дом… Сопровождавшие не раз бывали его спутниками в «набегах» и знали – не пройдет и четверти часа, как он, весело напевая, появится в дверях. Однако, к их изумлению, прошел час, потом другой, а император все не выходил.

Они не выдержали – ведь на него было столько покушений… Мюрат велел Меневилю войти в дом. К счастью, именно в тот момент, когда секретарь подходил к двери, она раскрылась, и появился император. Когда Меневиль поведал ему про их страхи,

император сказал: «Что за ребячество! Разве во Франции есть место, где я не дома?»

Фраза настолько ему понравилась, что он разрешил сделать этот эпизод достоянием Парижа.

Дама, у которой он задержался, была графиня Мария Валевская, приехавшая тогда тайно в Париж. В бесконечной череде маленьких, золотоволосых, похожих на девочек глупеньких женщин, которые робели перед ним (его обычный выбор), Валевская занимает особое место.

Эта маленькая светловолосая красавица была единственной женщиной, которая его беззаветно любила. С ней он все испытал… и с ней был любовником, а не торопливым наездником. А к пышным, высоким, опытным дамам он был не просто безразличен – его крошечный «дружок» их попросту боялся. Особенно если эти дамы были еще и умны. И претендовали на влияние…

Я думаю, отсюда его презрение и ненависть к прусской королеве, управлявшей своим мужем, и к мадам де Сталь, мечтавшей управлять императором (как и всеми своими любовниками). Холодная и развратная, она откровенно преследовала его. Как рассказывала мадам Т., он даже жаловался Жозефине: «Эта уродина попросту пыталась залезть ко мне в штаны». А мне он сказал на острове: «Бог знает, как неприлично она со мной кокетничала! Она сделалась непримиримым моим врагом именно потому, что я отверг ее…» И добавил: «Я всегда ненавидел женоподобных мужчин, равно как и женщин, которые хотели исполнять роль мужчины».

И все-таки любил он только ее – Жозефину. А Марии Валевской он позволял любить себя.

* * *

Я спросил его мнение о том памфлете, и он ответил с усмешкой:

– Да, девица Жорж… Она меня попросту боялась, и в «главные моменты» я ловил ее вопрошающий взгляд: так ли она е…ся? К сожалению, вслед за ней все красавицы из «Комеди Франсэз» начали выдумывать, что они – мои любовницы… Запишите: все это фантазии! Я с трудом доползал до постели, ибо единственной моей возлюбленной была неустанная работа… – И он добавил важно: – …на благо Франции!

А любил я только своих жен… Но я напрочь исключил

привычки королей – ни Жозефина, ни Мария-Луиза… ни одна женщина в мире никогда не влияла на мои решения! И еще: имена всех дам, так некстати всплывшие в вашей памяти, мой друг, незамедлительно вычеркните.

Кстати, – он засмеялся, – знаете ли вы, что Веллингтон после моего первого отречения решил ухаживать за дамами, с которыми я был по слухам… – Он повторил: – по слухам в связи? Захотел хотя бы в постели со мной сравняться! Начал он с итальянской певицы, даже сначала разузнал, сколько я ей платил. Правда, я платил ей за великолепный голос, а он за п…у.

На острове император часто вспоминал про Веллингтона. «При Ватерлоо судьба сделала для него куда больше, чем он заслуживал, – говорил он. – Глупость Груши, бездарность Нея… а потом паника и наступившая темнота докончили дело. Моя беда, что я не мог быть повсюду… Мне писали, что когда Нея приговорили к смерти, его жена умоляла Веллингтона спасти несчастного. Конечно, он уклонился… Разве он понимает, что такое солдатское братство?»

И добавил: «Нет, Веллингтон всего лишь крепкий генерал, и ему не место в сонме военных гениев».

Сегодняшний закат испугал меня. Солнечный диск, падавший в океан, был угрожающе темен и не излучал сияния. Гряда облаков какого-то зловещего цвета… Свет медленно угасал – наступила темнота. Огромные звезды висели над самой палубой. Судно шло, ныряя в волнах. Начиналась качка – все усиливавшаяся, выматывающая… Мы попали в шторм.

У меня выворачивает внутренности. Но император не замечает ни бури, ни моего жалкого положения. Я хожу блевать на палубу, а он преспокойно ждет моего возвращения… Вахтенный с усмешкой глядит на мою скорчившуюся фигуру.

Я возвращаюсь. Император неумолим. И мы продолжаем работу.

– В это время директора окончательно уверились: достаточно моего слова – и народ их сметет. Но я понимал – еще не время. Плод должен созреть… Люди должны были до конца понять, как бездарна власть воров и как опасна свобода при безвластии. Узда слабела, и голодная чернь вновь была готова на кровавые подвиги.

А пока я решил вновь покинуть Париж, ибо задумал небывалое! Как ни скучал я без Жозефины, я захотел променять ее на новое свидание со Славой… Я решил завоевать Египет и Сирию – этот неведомый, почти мифический мир. Пройти с моей

армией путем Александра Македонского!

Это казалось абсолютным безумием. Надо было провести армию морем, где безраздельно властвовал флот Нельсона…

Император смотрел в окно каюты: в тревожном свете бешено качавшегося фонаря продолжалось низвержение воды с небес. Смотрел – и не видел… Он был там – во временах своей славы.

– Незадолго до этого я был избран членом Французской Академии. Теперь у меня появился новый титул, и я с удовольствием подписывался: «Член Академии»… В благодарственном письме академикам я написал: «Есть истинные победы. В отличие от кровавых побед на поле боя, они не влекут за собой никаких сожалений. Это победы над невежеством». Но я решил соединить несоединимое – поле боя с просвещением. Я пригласил принять участие в моем походе новых товарищей – коллег по Академии. Я написал им: «Как и положено члену Академии, я решил позаботиться, чтобы успехи французского оружия послужили новым открытиям и просвещению». Это был замысел, достойный родины Вольтера и энциклопедистов.

Итак, в Египет я вез не только солдат и оружие. В военную экспедицию я пригласил поэтов, историков, ученых. Взял с собой огромную библиотеку: Плутарх, Полибий, Фукидид, Гомер, Фридрих Великий, Вергилий, Тассо, Вольтер, Руссо, Лафонтен, Монтескье… можно перечислять бесконечно. Так что у меня и моих коллег по Академии была с собой главная пища – духовная. И она не занимала много места. Я приказал отпечатать книги в специальном крохотном формате – в одну восемнадцатую листа. Этот формат испортил молодые глаза моих тогдашних чтецов… Кстати, сам я оставил остроту зрения еще в военной школе и давно пользовался очками.

В Тулон, где ждали нас корабли, меня сопровождала Жозефина. Помню, меня спросили: когда я надеюсь вернуться? Я ответил: «Через шесть лет или шесть месяцев или шесть дней». Жозефина обняла меня и заплакала. Не скрою, эти слезы были приятны воину. Ведь воистину я отправлялся в неведомое…

Перед тем как выйти в море, я сделал так, чтобы слухи о готовящемся морском походе дошли до англичан. Уже вскоре об этом знали в Лондоне. И тогда через своих шпионов я запустил дезинформацию о цели похода: будто я готовлюсь пройти через Гибралтар и, подойдя к берегам Альбиона, напасть на Ирландию.

Уже отплывая из Тулона, я узнал – удалось! Нельсон с эскадрой на всех парусах шел караулить меня у Гибралтара. А я в это время держал курс на Мальту.

Подойдя к Гибралтару, Нельсон все понял. Он бросился за

мной в погоню, но шторм разметал его корабли. Судьба берегла меня… И пока он собирал свой флот, я высадился на Мальте и захватил остров. Когда Нельсон достиг Мальты, я уже плыл в Египет! И адмирал продолжил погоню.

Мои генералы, сгрудившись на палубе, с ужасом ждали появления кораблей беспощадного англичанина. Эти сухопутные вояки чувствовали себя на корабле беспомощными, как в западне… А я в это время лежал в каюте и преспокойно слушал чтение Бурьена[16] – я был уверен в судьбе. Он читал мне по утрам Плутарха – описания походов Александра, которые мне предстояло повторить, а на ночь – любимого Гомера. Читал античных путешественников по Египту, и конечно же Коран, чтобы я мог общаться с местным населением. И еще две самые любимые книги – я всегда беру их с собой: «Страдания молодого Вертера» и поэмы Оссиана.

Все остальное время я беседовал с моими знаменитыми коллегами по Академии. Мы много говорили о Боге и о сотворении мира. Они славили Природу и, как положено передовым сыновьям века, осуждали Суеверие (так они именовали Бога). Я не спорил с ними. Но душными ночами, лежа на палубе и глядя на звезды, я был в недоумении. Если они правы, кто же сотворил все это так щедро, прекрасно и, главное, так разумно? И кто управляет моей судьбой так заботливо и милостиво, коли Высшего Существа нет? Нет, я не зря не тронул Папу. Я должен быть особенно милосерден со слугами Господа…

Между тем судьба продолжала одаривать меня своими милостями. Нельсон, который пришел на Мальту позже меня, в Египет приплыл немного раньше. Увидев, что меня нет, он стремительно отплыл – продолжил меня искать. Так что оба раза англичанин премило разминулся со мной. И мои триста судов благополучно достигли Египта. Теперь я просто обязан был уверовать: судьба бережет меня для великих дел.

В Египте нас встретили несусветная жара и раскаленный ветер пустыни. И я обратился к армии: «Вас ждут труднейшие переходы и великие битвы! Но за нас судьба. Нам предстоят завоевания, которые нанесут Англии самый страшный удар. Его последствия для всемирной торговли трудно представить. И это свершите вы! Тираны-мамелюки, эти прислужники англичан, угнетают и грабят бедных египтян. После ваших побед они перестанут существовать… Вы встретите здесь обычаи, чуждые европейцам, но привыкайте к ним. Народы Египта – мусульмане. Уважайте их веру!»

Я подавал пример – присутствовал на всех религиозных праздниках. И, конечно, посетил главный – день рождения

Магомета. Парижская сплетня рассказывала, будто в тот день я даже надел турецкий костюм. Действительность была прозаичней: я пришел в мундире. Хотя мне сшили одежду шейха, но я надел ее только однажды. Ибо некая дама заметила тогда, что она мне не к лицу. Я был и на празднике в честь разлития Нила. Это древнейшее торжество, где восстают призраки фараонов и время убегает назад на тысячелетия. И я чувствовал себя немного Антонием… правда, без Клеопатры…

Я отлично знал, что Клеопатру заменяла в Египте «некая дама». Едва я подумал об этом – он уже строго смотрел на меня.

– Маленькие сплетни окружают великие дела… Но продолжим. Если хочешь завоевать страну малой кровью, ты обязан завоевать сердца ее влиятельнейшей верхушки. Я показал себя ревностным католиком, чтобы покончить с войной в Вандее, и монтаньяром – завоевывая Италию. Мое правило: на освобожденной от рабства части острова Сан-Доминго я буду прославлять свободу, а на порабощенной – рабство. Да, я таков, как завоеванная мной страна. И, конечно, я старался походить на мусульманина в Египте. Но это ложь, будто я принял мусульманство… Хотя… – Он улыбнулся. – Если бы пала Аккра, кто знает… Но мы еще поговорим об этом удивительном знаке судьбы…

Первого июля мы приплыли к Александрии, где я узнал: всего за два дня до нас здесь был Нельсон! И, не найдя нас, он решил, что мы направились к берегам Сирии – и без промедления отплыл туда. Я сказал адмиралу Брюэсу: «Вы слышите все тот же голос постоянно к нам милостивой судьбы! Немедленно высаживайте войска, пока Нельсон не вернулся». И мы благополучно сошли на берег.

Александрию захватили приступом без особого труда, только генерал Клебер был ранен. Нельсон возвратился к Александрии, когда мы уже готовились выступить к Каиру. Теперь англичанам оставалось только наблюдать с моря за моими победами.

Поручив выздоравливавшему Клеберу начальство в Александрии, я отправился с основными силами к столице Египта. По дороге несколько раз разбил кавалерию мамелюков. В конце июля я подошел к Каиру, где меня поджидала армия Мурад-бея… Уже на подходе мы начали встречать неприятельские авангарды. И гнали их от селения к селению, пока не оказались перед главными силами неприятеля…

Я приказал дивизиям генерала Дезе и Ренье занять позиции на правом фланге, отрезав неприятелю дорогу к отступлению. Теперь мы должны были его уничтожить. Но Мурад-бей оценил опасность моего маневра. И направил против моих дивизий

отважнейшего из своих беев с лучшим отрядом. Всадники на великолепных конях с быстротой молнии обрушились на обе дивизии. Генералы хладнокровно подпустили их на пятьдесят шагов и только тогда осыпали конников градом пуль и снарядов. Погибло множество мамелюков, оставшиеся в живых бросились отступать и… оказались меж двух дивизий! Загнанные под перекрестный огонь, они были уничтожены все. Так началась битва, которая длилась девятнадцать часов. И закончилась она сокрушительным поражением мамелюков. Большая часть беев попала в плен или полегла в сражении. Сам Мурад-бей был ранен – пуля изуродовала его лицо. Мы потеряли сорок человек убитыми и сто двадцать ранеными. И всё!

Ночью мамелюки бежали из Каира, и чернь до утра жгла и грабила их дома. Двадцать четвертого июля я въезжал в величайшую столицу древности. И пирамиды, видевшие победы Александра, увидели мою победу.

Но судьба тотчас потребовала продолжения подвигов. От Клебера явился нарочный и сообщил, что Нельсон сумел настичь наш флот в дельте Нила. Недалеко от мыса Абукир он навязал бой и сжег наши корабли. Флот, на котором мы прибыли из Франции, более не существовал. Весь берег был покрыт трупами наших моряков, выброшенных прибоем…

В палатке собрались бледные генералы. Я сказал им: «Наши триста судов сожжены. Можно ли назвать это катастрофой? Можно ли считать, что мы теперь в западне? Ничего подобного! Римляне, высаживаясь далеко от родины и начиная поход в глубь страны, сами сжигали свои корабли, чтобы оставить себе два выхода – победа или смерть. За нас эту работу исполнил враг… Возблагодарим же судьбу, оставившую нам лишь два исхода: остаться в этой земле навсегда или уйти отсюда, увенчанными лаврами, как Александр!»

И были великие победы. Из Египта я пошел в Сирию. И города Газа и Яффа пали… И была великая жестокость. Древняя Яффа, укрытая тысячелетними стенами, была взята приступом с немалой нашей кровью. Я понимал, какова будет ярость ожесточенных солдат, и повелел не допустить резни. Приказ конечно же был выполнен, и несколько тысяч защитников крепости, албанцев и арнаутов, были взяты в плен. И тут же возник проклятый вопрос – что с ними делать? У меня не было ни лишних солдат, чтобы их сторожить, ни провизии, чтобы их кормить. И я не мог переправить их ни во Францию, ни в Египет, ибо у меня не было кораблей. Целых три дня я медлил, оттягивал единственно возможное в этой ситуации решение. Все ждал – не появится ли в море желанный парус. Войско уже начало роптать

на урезанные пайки, ибо мы кормили пленных. Я вынужден был приказать… Их расстреляли… всех…

И была великая непреклонность. Поход продолжался – я шел по пустыне вместе с моей армией… вкус песка на зубах, пылающее солнце и несколько капель мутной воды в день… Когда адъютант посмел меня унизить – привести мне коня, он перестал быть моим адъютантом. Ибо всех лошадей я приказал отдать больным и раненым… И опять – пешком по пустыне без воды и под немыслимо раскаленным солнцем. И я все чаще был вынужден говорить солдатам: «Учитесь умирать с честью!» Ибо за нами уже спешили чума и враг…

* * *

Он задумался. Потом сказал:

– Какой роман вся моя жизнь… Нет, куда точнее: вся моя жизнь – роман, который нельзя написать. Что описывать? Огонь? Ярость огненного солнца в пустыне? Или огненного мороза в России? Или огонь, пожирающий города? Мельканье великих столиц, тонущих в огне? Или огонь походной страсти? Семя, которое торопливо извергаешь в лепечущую на чужом языке испуганную женщину? Или этот вечный букет запахов бивуака – потных тел, вонючих сапог… мочи, когда торопливо, неряшливо ходишь по нужде… прибавьте запах разлагающихся трупов… таков он – аромат победы! И главное, никакого ощущения времени… оно будто исчезает в этой спешке постоянных маршей… Нет, нет! Лучше изберем простое перечисление событий. Так моя жизнь предстанет честнее…

Итак, оставляя на пути трупы людей и павших лошадей, мы подступили к Аккре… Удивительно, но в Египте и Сирии, в адовой жаре среди всех испытаний, я чувствовал себя… как бы это объяснить… я чувствовал себя дома, на родине. Будто после долгих странствий, как Одиссей, я вернулся на Итаку. Здесь я был свободен от пут предрассудков ограниченной Европы. И потому в Египте я стал называть себя «султаном Эль-Кабиром», как бы похоронив свое европейское имя… Из пленных мамелюков я взял к себе одного грузина по имени Рустам. Его глаза красноречиво говорили о рабской верности, которая осталась только на Востоке. И теперь, как верный пес, он спал перед моей дверью, свернувшись на циновке и положив под голову саблю. Как тысячи лет спали преданные слуги перед покоями цезарей и фараонов… И я совсем не стремился возвращаться в нашу жалкую цивилизацию лавочников…

Должен уточнить – разочарование в цивилизации имело еще одну причину. Как рассказала мне мадам Т., император или кто-то из его генералов получил письмо из Парижа. В нем говорилось, что Жозефина, купившая имение Мальмезон на деньги мужа, на глазах всего Парижа живет там с юным Ипполитом.

Император написал ей: «Я знаю все! И если это правда – прощай. Я не хочу стать посмешищем для фланирующей публики на бульварах. Ты сделала все, чтобы даже Слава наводила на меня скуку. Мое чувство, душу ты изодрала в клочья. В двадцать девять лет я старик. Я хочу сейчас только одного – купить дом и жить там в полном одиночестве… У меня не осталось никого, кроме матери и братьев. Прощай навсегда».

Жозефина показала письмо подруге. Она была так невероятно испугана, рассказывала мне мадам Т., что даже мне не удалось ее успокоить. Она твердила, что слишком хорошо знает характер мужа и опасается за свою жизнь. «Этот безумец может примчаться в любую минуту, с его темпераментом он способен на все… Поверь, он убьет меня!»

Жозефина перестала ночевать дома. Но потом довольно быстро повеселела и сообщила мадам Т. радостную новость: Баррас, к которому она всегда обращалась в затруднительных ситуациях, успокоил ее, объяснив, что возвращение Бонапарта ей не грозит, ибо Нельсон, к ее счастью, лишил его флота. И мадам Т. сказала ей: «Ну вот, а ты тревожилась. Можешь теперь спать спокойно, моя дорогая».

«Правда, я не добавила с кем, – смеялась мадам Т., – ибо список был чересчур велик».

Проклятая морская болезнь… Только через пару дней, когда море успокоилось, я смог выползти на палубу и отправиться к императору.

– Мамзель Лас-Каз, – (высшая степень презрения), – неужели вы наконец выздоровели и можете продолжать?

И, не дожидаясь ответа, император начал диктовать:

– Осада Аккры продолжалась. Второй месяц мы топтались у ее стен. Армия таяла от болезней, стычек с превосходящим противником… Крепость держалась! Если бы она пала – я получил бы ключ к воротам всего Востока! Оттуда я мог продолжить поход – напасть на Индию! Завоевать ее! И величайшая восточная империя была бы создана… Иногда мне кажется, что тогда я вообще не вернулся бы во Францию. Я уже видел себя новым Александром, едущим на слоне со священной книгой в руках, где записана новая религия. По примеру великих

древних завоевателей я объявлялся в ней богом нового культа… Нет, не зря Александр Македонский задумал перенести свою столицу в Египет. Каир создан быть столицей всемирной державы, он один мог связать Европу, Азию и Африку! Жаль, что я это не осуществил… а ведь мог… – Он вздохнул: – Но Аккра продолжала упорно сопротивляться.

В то время я уже научился понимать голос судьбы. В Египте я часто с ней разговаривал. И порой даже в мелочах ощущал ее заботу… Помню, мои ученые восторженно рассказывали об античных камеях, и я страстно захотел получить ее. И тотчас нашел! Во время очередного марша мы остановились на отдых у древней крепости. Я лег в тени разрушенных стен. Шелест… это осыпались тысячелетние стены… Вся крепость была как гигантские песочные часы. Я тронул рукой лежавший рядом камешек и увидел под ним полузасыпанную камею! Она оказалось бесценной – времен императора Августа. Мои ученые не верили своим глазам! Я подарил ее потом Жозефине…

Как рассказала мне мадам Т., он подарил ее сначала «некоей даме», с которой у него был роман в Египте. К сожалению, я мало о ней знаю. Он потом отобрал у нее камею и подарил Жозефине.

– И тогда, у Аккры, я сумел понять голос судьбы. Я спросил себя: отчего я не могу взять жалкую крепость? И ответил: это значит – судьба не хочет видеть тебя более в африканских песках. Ты должен немедля оставить Аккру и Восток. И я приказал снять осаду. Уже двадцатого мая я начал поход обратно в Египет.

* * *

Император избежал более точного слова – отступление.

– Госпитали в Яффе были завалены больными чумой. Я не мог их везти… пришлось оставить… В чумном бараке я простился с несчастными. Мои генералы войти туда не посмели. Но я знал – судьба меня охранит… Я велел врачу дать чумным яду, пусть умрут без страданий, ибо за нами по пятам шел враг. Но глупец величественно ответил: «Мое дело лечить их, а не убивать». И всего через несколько часов враг сжег их всех заживо…

Стояла неслыханная жара, впрочем, обычная здесь в эту пору года. Люди умирали на марше от солнечных ударов. Меня будут упрекать: воюя, я никогда не учитывал климат. Да, не учитывал, ибо мои солдаты должны быть сильнее любой погоды, и я учил их этому. Только в России «генерал Мороз» сумел одолеть мою армию. Впрочем, тогда это была уже совсем не моя армия…

Между тем обнаглевшие турки при поддержке англичан высадились в Абукире и захватили крепость. Я поспешил туда. В эту немыслимую жару мы стремительно преодолели пустыню. И в страшном сне не могли увидеть турки, что я столь быстро явлюсь передними…

Крылья неприятельской армии были разделены красивой долиной. Туда я и направил свою кавалерию. С быстротой молнии она оказалась в тылу неприятеля. И бой начался… А закончился он тем, что десять тысяч турок были сброшены обратно в море, остальные изрублены на суше. Они нашли свою могилу там же, где высадились – в Абукире. Берег, который Нельсон покрыл трупами французов, теперь был покрыт телами наших врагов… Главнокомандующий турецкой армией Мустафа-паша был взят в плен вместе со всем штабом. И Абукир – бывший символом нашего поражения, теперь стал местом нашей славы…

Запишите, Лас-Каз, я всегда заботился о получении информации. И в Египте совершил невозможное – сумел организовать доставку газет прямо с кораблей той самой английской эскадры, которая сторожила нас на рейде. Правда, за бешеные деньги… Из английских газет я понял, что во Франции возникла новая ситуация. И она звала меня в Париж.

Безудержное воровство властей уже приготовило народный взрыв. Я читал в газетах, как чиновники бесстыдно грабили, зарабатывая на всем. И самое постыдное – на солдатской крови. Миллионы делались на поставках (точнее, непоставках) в армию:

в итоге солдаты в Италии остались без провианта и оружия. И результат: великие завоевания в Италии, которые я оставил республике, отобрал русский полководец[17]. Вот что сделали негодяи с моими победами, оплаченными французской кровью!

Я понимал, как страшится моего прибытия Директория. В тех же газетах я прочитал явно оплаченные слухи о моих поражениях, о том, что я расстреливал своих больных солдат… и даже о моей гибели. Я понял: времени больше нет – я должен ехать! И немедленно!

Приказав Клеберу остаться в Египте за главного, я велел подготовить два корабля, уцелевших после бойни при Абукире. На фрегате «Мюирон», названном в честь адъютанта, отдавшего за меня жизнь, плыл я сам, а также мои лучшие генералы – Мюрат, Бертье, Ланн, и прославленные ученые Бертолле и Монж. На второй корабль погрузились несколько сотен отобранных мною солдат.

Я понимал, что опасно не только море. Куда опаснее была суша, к которой мы так стремились. Во Франции меня могли обвинить в том, что я бросил армию без приказа. И попытаться арестовать. Так что и на родном берегу мои солдаты могли мне понадобиться… Хотя я был почти уверен – не посмеют!

Как только мы вышли в море, начался сильный ветер. Адмирал Гантом объявил, что мы должны вернуться обратно в гавань. Команда поддержала его. Но я слушал не адмирала и не команду, а судьбу. И был непреклонен. Приказал плыть вдоль африканских берегов, не уходя далеко в море… И вскоре задул ровный попутный ветер, обещавший «Мюирону» хороший ход! К тому же он принес и сильный туман. Белое мокрое облако нависло плотной завесой. Мы шли в царстве тумана, рискуя наткнуться на мели и рифы. Капитан то и дело промерял глубину. Но я смеялся над его страхами. Я знал, мы приплывем невредимыми… И приплыли! Вскоре мы уже высадились во Фрежюсе.

Путь до Парижа… Города, которые проезжали, сверкали иллюминацией в мою честь. Солдаты выходили на парады, хотя никто не отдавал им такого приказа… В Париже они прошли передо мной под барабанный бой, выкрикивая приветствия.

Как я и предполагал, Франция была готова соединить свою судьбу с моей. Плод созрел в мое отсутствие!

15 августа – день рождения императора – мы встретили в море. Императору исполнилось 46 лет. В кают-компании устроили маленькое торжество – сказали несколько тостов в его честь.

Орудийный салют, фейерверки, грандиозный прием в Тюильри – все это было так недавно в дни его рождения! А теперь…

Он вышел на палубу. Стоит, опершись на «пушку императора» – так ее теперь называют англичане. Смотрит в океан.

Матросы поймали огромную акулу и разделывают ее… Он подошел слишком близко – усмехаясь, смотрит, как вспарывают беспомощное великолепное тело недавней повелительницы океана. Его мундир забрызган ее кровью… В этот день он гулял один, до самого вечера, так и не сменив забрызганный кровью мундир.

Вечером он позволил себе впервые перерыв в диктовке. В кают-компании играл в карты. Играл с отсутствующим видом – и тем не менее впервые выиграл восемьдесят золотых наполеондоров. К радости Маршана, у которого денег становилось все меньше…

* * *

Наступила ночь. Мы пересекли экватор. Горячее дыхание океана… Вместо Полярной звезды – Южный крест над головой.

Маршан позвал меня в его каюту. Император усмехается:

– Мой день рождения… праздник в Тюильри, фейерверк – все суета! Давайте-ка лучше продолжим… Вернувшись из Египта, я остановился в своем доме на улице Шанторен, переименованной в улицу Победы… Там меня ждали моя мать… – Он помолчал. – И Жозефина…

Мадам Т. рассказывала мне, что креолка была в гостях у очередного любовника, когда ей сообщили: «Он прибыл в Париж». Она уже знала, что ему все известно, и от страха подумывала развестись – смертельно боялась его темперамента. Но когда увидела встречу героя… К тому же у нее было долгов на два миллиона…

Она примчалась домой и нашла свои вещи внизу у консьержа. Муж: выставил их из квартиры. Она поднялась наверх, но он заперся в кабинете. Она поняла: это хороший знак – он боится увидеть ее. У запертой двери кабинета молила о прощении, но он не открывал. Она вызвала на помощь детей – он очень любил Эжена и Гортензию. Они пришли и вместе с матерью молили его

открыть дверь. Но из кабинета не доносилось ни звука. А она все молила… и выдержать все это было свыше его сил. Он впустил ее.

Позже она сказала мадам Т.: «Я смогла тут же доказать ему, что он не ошибся, простив меня… благо в кабинете был диван».

– Она ветрена, да… непостоянна… как Франция, – ее надо все время завоевывать. Но тогда я решил обладать обеими. И не ошибся.

Я теперь часто вспоминаю: короткий отдых после обеда, она читает мне вслух, а я лежу без сил на кровати. Но это лишь мгновения – и вот я вновь надеваю на себя железный ошейник верного пса Франции! Смотрю на Жозефину. Она порой чертовски умна… легкое движение – дотронулась до моей шеи… Поцелуй… И фраза: «Это я поправила на тебе твой железный ошейник».

И еще она умела, как никто, варить кофе… Нет, я не ошибся, простив ее. Да, был повод… но потом она сумела стать истинно корсиканской женой! Была мотовкой… ну и что? Меня всегда окружали мотовки, одна сестра Полина в день тратила состояние! Только мать тратила мало, смешно экономила деньги, и когда я смеялся над ее бережливостью, говорила: «Боюсь, настанет день, когда вам придется занимать деньги, и я не хочу, чтоб вы их просили у чужих людей».

Все это вычеркните, Лас-Каз, и – к делу! Пишите: Директория уже привела к краху финансы, пропасть безвластия могла поглотить республику. С каждым днем на страну надвигался хаос. Хаос – это раскрепощение толпы и закрепощение личности. Богатые были испуганы и не хотели этой жалкой власти, которая уже не могла защитить их, – они хорошо помнили ужасы революции. И бедные тоже ненавидели воров из Директории.

И это рассказывал в моем доме… член Директории! Да, знаменитый аббат Сийес, вечный крот – он первым начал рыть яму для власти, частью которой был сам! Сначала я невзлюбил его, относился к нему с открытым презрением. Впрочем, он отвечал мне взаимностью – назвал «маленьким нахалом, которого не худо бы расстрелять». Но потом мы раскусили друг друга, и он стал поддерживать меня.

Затем в моем доме появился Талейран и показал мне донесения провинциальных лидеров в Директорию. Они были красноречивы: «Мы живем в краю, кишащем разбойниками. Чтобы проехать по нашим дорогам, надо заручиться пропусками от главарей банд. Промышленность остановилась, в больницах умирают, но не от болезней, а от недостатка лекарств. Мы превратились в нацию, равнодушную ко всему, кроме удовольствий столичной жизни».

Всем осточертел беспорядок, все хотели с ним покончить. Не приди я, кто-нибудь другой сделал бы это. Налицо были все элементы для создания будущей империи. И разумная часть Директории, понимавшая, что нужно не только спасать страну от них самих, но и самим спасаться вместе со страной, была со мной.

На квартире Талейрана мы три недели обсуждали план смены власти. Талейран опасался, что Баррас в отчаянии может решиться на «безумие». Сопротивление уже называлось «безумием»! Помню, ночью мы заканчивали обсуждение и неожиданно услышали цокот копыт полицейского патруля. В ужасе Талейран бросился тушить свет. В абсолютной темноте я чувствовал, как он дрожит. Вцепившись в мою руку, он повторял: «Безумие… безумие…» Я расхохотался: «Вы слишком хорошо помните времена революции. Тех решительных людей уже нет, они давно в могиле. Как и положено во времена великих событий, «сильного зарежут, слабого удавят, а ничтожество сделают своим предводителем» – эту пословицу я услышал в Египте. Поверьте, Баррас, да и все остальные – дерьмо! Эти ничтожества ни на что не решатся, все слишком сгнило…» Правда, я не сказал ему главное: «Я знаю свою судьбу!»

И, конечно, одним из самых первых пришел ко мне другой умнейший и подлейший – Фуше. Он сказал моему секретарю: «Если ваш генерал не поторопится, все погибнет». Так он дал мне понять, что ему все известно.

Я немедленно встретился с ним. И услышал: «Государственный корабль не может плыть без четкого курса. Должен появиться настоящий капитан, который приведет его в желанную гавань. Только преданная идеалам свободы шпага защитит нас всех от надвигающегося хаоса, в который ввергли страну. – (На всякий случай бывший кровавый якобинец не забывал об обязательной революционной риторике.) – Как мне хорошо известно, из подлинно влиятельных членов Директории в вашем заговоре не участвует один Баррас. Он, думаю, тоже не против примкнуть к заговору против себя… но, видимо, вы против. И правы – он слишком одиозен. Да и кого-то ведь придется объявлять виновником нынешней ситуации…»

При этом мерзавец улыбался, подло намекая: «Я знаю, скольким вы ему обязаны, и понимаю, как вы должны его не любить. Ибо, как известно со времен Рима, ни одно благодеяние не должно оставаться безнаказанным».

Однако подлец ошибался. Я соблюдал правило: в политике нет места личным чувствам – и всегда умел быть деспотом для самого себя. Но Фуше прав был в другом: Баррас – главный вор в

глазах толпы, и его необходимо было убрать из власти.

Я спросил Фуше, что он думает об управлении страной после переворота. Он еще раз нагло улыбнулся: «Точнее, вы хотите узнать, что думают они? Они заблуждаются… я имею в виду Сийеса и других участвующих в заговоре членов Директории. Они полагают, что генерал, который имеет лишь опыт управления армией, позволит им и дальше разваливать страну – уже под защитой его шпаги».

«А что вы сами думаете о генерале?»

«Я уверен, что управлять он будет сам, и очень жестко, с помощью одного… в крайнем случае двух… – (Так он показал, что знает и об участии Талейрана.) – …воистину деятельных и осведомленных министров. – И добавил: – Я слышал, что заседание Палаты будет перенесено в предместье Сен-Клу И это произойдет восемнадцатого брюмера».

Да, он знал все наши секретные планы! Я промолчал, а он продолжил: «Видимо, вы хотите узнать, как поступит министр полиции? В тот день он прикажет закрыть городские шлагбаумы, отделив Сен-Клу от столицы. Опасная парижская толпа останется со мной… за шлагбаумом».

Так он присягнул мне. Но я все-таки хотел понять – откуда он все знает? И я спросил его.

«Дело в том, генерал, что мои глаза и уши всюду. И если угодно, даже в вашем собственном доме»… Я только потом узнал, что он заагентурил всю Францию и даже всю эмиграцию.

Я вспомнил, как мадам Т. убеждала меня, что Фуше завербовал даже Жозефину – этой мотовке постоянно требовались деньги…

* * *

Император строго посмотрел на меня и продолжил:

– Впрочем, и у него бывали проколы. Став впоследствии моим министром, Фуше хвастался, что сделал своим агентом даже герцога Блака, ближайшего друга графа Прованского[18], и герцог сообщает ему о каждом шаге Бурбонов. И когда этот тухлый Людовик вернулся, он первым делом потребовал, чтобы Фуше рассказал, кто следил за ним в эмиграции. После некоторых колебаний (для приличия) мерзавец раскрыл герцога Блака. «Сколько вы ему платили?» – спросил Людовик. Фуше назвал сумму. И король сказал: «Значит, герцог меня не обманывал – честно отдавал мне половину»… У Фуше хватило смелости

рассказать мне это после моего возвращения с Эльбы… чтобы не успели рассказать другие. И еще он объяснил мне, что Людовик жалок, но очень хитер. Но нынче сам Фуше забыл об этом.

Однако продолжим… Стоял теплый ноябрь. На лужайку перед домом вынесли большой стол, и я сел обедать с Мюратом и другими генералами. Во время обеда я дурачился с Гортензией, изображал черта. Впрочем, я только делал вид, что дурачусь. Между взрывами детского смеха я шепотом обсуждал с Мюратом детали предстоящей операции. Говорить в своем доме в полный голос я теперь боялся – подозревал всех лакеев… Было решено: на рассвете восемнадцатого брюмера я должен собрать верных генералов – Мюрата, Леклерка, Макдональда и прочих – и призвать их к спасению республики. В это же время обоим законодательным органам – Совету Пятисот и Совету Старейшин – будет объявлено, что открыт заговор, готовится переворот и что во имя безопасности депутатов следует перенести заседание обеих Палат в загородный дворец Сен-Клу… а ликвидацию мятежа поручить, естественно, первой шпаге республики – генералу Бонапарту.

Все шло по плану. Все генералы поддерживали меня – за исключением Бернадота. Но он был военным министром! Жером (они с Бернадотом были женаты на сестрах) привел его ко мне утром восемнадцатого брюмера.

Я сказал ему: «Ваша Директория ненавистна всем, даже самим директорам». И назвал имена членов Директории, участвовавших в заговоре. После чего перечислил генералов, которые выступят вместе со мной. «Наденьте мундир, генерал, и отправляйтесь в Тюильри, там ждут вас ваши товарищи».

Но он был непреклонен: «Я могу лишь обещать, что как частное лицо – останусь в бездействии. Но если Директория отдаст мне приказ… я исполню долг военного министра».

Я вынужден был сделать вид, что желал именно такого ответа. И обнял того, чьи ум и храбрость могли стать очень опасными…

Явившись в Тюильри, я увидел на лестнице секретаря Барраса и на глазах множества людей прокричал маленькую речь: «Во что вы превратили Францию?! Уезжая, я оставил вам выгодный мир и славу побед, а вы преподнесли мне по возвращении горечь войны и бесславие поражений! Где тысячи героев, деливших со мной славу в Италии? Они мертвы! Вы – их убийцы! Пойдите и передайте все это вашему хозяину!»

Бледный секретарь что-то лепетал, а в это время Баррас получал от Талейрана мой дар – весьма увесистый мешочек с золотом и дозволение уехать из Парижа, куда он пожелает.

Правда, зная алчность Талейрана, я и поныне не уверен, что он передал тогда Баррасу мое золото…

Через час мне принесли желанный декрет, который принял Совет Старейшин: ввиду существования роялистского заговора заседания обеих Палат переносятся в Сен-Клу. Национальная гвардия и войска поступили в мое распоряжение для охраны депутатов.

Я прочел этот декрет войскам. Под тревожный барабанный бой его расклеили по всем кварталам Парижа… А потом из города тронулась кавалькада. Ехали экипажи с депутатами, за ними гарцевала конная гвардия. И когда они покинули город, находчивый Фуше, как и обещал, приказал опустить шлагбаумы на всех заставах. Все шло, как по маслу!

Заседания обеих Палат были назначены на девятнадцатое брюмера. Депутаты, участвовавшие в нашем деле, должны были выступить с речами о тяжелом положении в стране. После чего предложить Палатам самораспуститься, а мне – составить проект новой Конституции.

Утром девятнадцатого брюмера в открытой коляске, сопровождаемый эскортом офицеров, я прибыл в Сен-Клу. Я ожидал решений Палат в парке. Но время шло, а они не принимали нужных декретов. Более того, вскоре они все поняли. И уже зазвучали голоса: «Почему мы окружены войсками?»

И тогда я решил выступить перед ними. Говорил я очень дурно… это можно записать. В Совете Старейшин я сказал что-то вроде: «Я не Кромвель. И коли я вас обманываю, пусть найдется Брут…» и прочее в этом духе. Они меня явно не слушали. И уже уходя из зала, я жалко прокричал им: «Кто любит меня, тот пойдет со мной!»

Да, готов признать: в этом заговоре хуже всех вел себя я. Знаю, историки будут писать, что я попросту растерялся, что привык держать речи перед солдатами и потому не сумел обратиться к депутатам… и прочую чепуху. Неправда! Здесь – совсем иное… Во мне были живы дух революции и ненависть к диктатуре, олицетворенной в имени Кромвеля. И в то же время я… должен был стать Кромвелем! Чтобы спасти завоевания революции и страну, которую толкали в пропасть! Вот почему я говорил жалко и не убедительно…

Но если Совет Старейшин проводил меня мрачным молчанием, то в Совете Пятисот меня ждала настоящая головомойка. Я вошел, окруженный несколькими гренадерами, и сразу же почувствовал ярость зала. Я успел бросить генералу Ожеро: «Помнишь Аркольский мост?» Больше я не смог сказать ничего. Депутаты набросились на меня, они кричали мне в лицо:

«Генерал, неужели ваши великие победы были для этого?! Позор! Изменник!..» И уже послышался любимый и страшный клич революции: «Вне закона его! На гильотину!»

Тщетно мой брат Люсьен, который в этот день был очередным председателем Совета, пытался их успокоить. Его слова тонули в яростных криках. Кровавые мантии окружили меня… теснили… кто-то огромный схватил меня за горло, нечем стало дышать… я терял сознание…

Очнулся я уже в парке… Гренадеры во главе с Мюратом с трудом меня отстояли. Люсьен рассказал мне потом, будто я выскочил из зала с криком: «К оружию!» Но я ничего не помнил… Сам Люсьен появился следом за мной. Когда они объявили меня вне закона, он догадался сбросить с себя тогу председателя и выбежал из зала, выкрикивая: «Заговор! Измена!»

От нервности меня сжигала чесотка, которую я подцепил под Тулоном. Видимо, машинально я расчесал лицо… оно было в крови. И находчивый Люсьен закричал гренадерам: «Вот что сделали заговорщики с вашим генералом! Вот – награда за все победы! Кучка «бешеных» снова мутит воду, Совет живет под постоянной угрозой кинжалов якобинцев. Во имя народа, который столько лет служит игрушкой этим презренным остаткам времен ужаса, я, председатель Совета Пятисот, поручаю вам избавить собрание от этих преступников! Пусть ваши штыки оградят честных депутатов от кинжалов, чтобы они могли свободно заниматься делами республики!»

Это был приказ председателя Совета (мой они уже получили). К солдатам вернулась уверенность. И Мюрат, захохотав, смог весело скомандовать: «А ну-ка, ребята, вышвырните эту публику к такой-то матери!»

Гренадеры с ружьями наперевес вошли в Совет Пятисот. Под неумолчный барабанный бой, заглушавший проклятья и призывы депутатов, они в три минуты очистили помещение. На моих глазах депутаты выпрыгивали из окон, их красные мантии цеплялись за ветви…

Правда, гренадеры немножко погорячились, выгнав из зала всех депутатов – надо же было кому-то принять нужный закон. К счастью, к вечеру погода сильно испортилась, пошел холодный дождь. И когда солдаты отловили нескольких продрогших, совершенно мокрых депутатов, те с большим удовольствием вернулись в теплый зал. И единодушно за все проголосовали – в том числе и за собственный роспуск.

Пришлось не отстать и Совету Старейшин – там приняли декрет, по которому вся власть передавалась трем консулам. И в два часа ночи три консула – Сийес, Роже Дюко и я – принесли

присягу республике…

Я уезжал из Сен-Клу в смутном настроении… Древние иудеи спрашивали: что правит миром – женщина, вино или истина? И отвечали – истина. Но, как правило, она торжествует после смерти тех, кто за нее борется. А обычно в этом мире правят меч и страх. Да, «большие батальоны всегда правы». Особенно в политике… И в ту ночь я окончательно убедился: политика – погрязнее самого грязного бивуака.

Я стал Кромвелем. Но иного пути не было! И сейчас, оглядываясь назад, могу только повторить слова великого римлянина: «Свидетельствую, в тот день мы спасли Отечество. Идите же вместе с нами благодарить за это богов»… Меня назовут «убийцей революции» те, кто не понимали ни меня, ни ее… Я дитя революции, я из эпохи крови, оттуда я родом… И я спас революцию, когда она валилась в яму… Жалкая Директория вела страну к неминуемому возврату Бурбонов. Недаром в те годы все больше людей вспоминали со вздохом королевскую Францию, где был хотя бы порядок!

Император походил по каюте и добавил:

– Расширим эту мысль. Это была великая революция, ибо она явилась не результатом борьбы династий, а плодом общего движения народа. И если до нее история Франции была историей королевского двора, после нее она стала историей двадцати пяти миллионов… И я пришел, чтобы уничтожить все излишества революции, сохранив ее благодеяния.

Вот так завершился девяносто девятый год. Накануне конца века закончилась и старая эпоха. Начиналось мое время – время великой новой Франции!

Теперь Бурбоны захотят уничтожить завоевания революции. Но попомните мои слова и запишите их: «Через двадцать лет, когда меня уже не будет на свете, Франция преподнесет миру новую революцию».

Боже мой, ведь так и случилось!

И вновь император вернулся в прошлое:

– Но оказалось, Фуше был прав: люди из бывшей Директории, участвовавшие со мной в перевороте, уже поделили власть между собой. Агенты Фуше подпоили секретаря Сийеса, и вскоре на столе у меня лежал плод их истинного представления обо мне – проект новой Конституции. Я прочитал и расхохотался. По сей Конституции я становился верной шпагой, защищавшей этих недоумков, этаким почетным болванчиком без власти. Я получал

забавный титул «Великого Избирателя». Должен был жить в Версале, получать целых шесть миллионов, причем единственной моей обязанностью было назначать двух консулов, которые к тому же должны были утверждаться Сенатом… Да, они были уверены, что генерал, командовавший только своими солдатами, даст им вновь покомандовать Францией. Как они были счастливы в те первые дни!

Вскоре Сийес торжественно принес мне свою Конституцию. И, глядя на кипу страниц, написанных этим забавным фразером, я сказал ему:

«Конституция должна быть краткой».

«И ясной», – подобострастно добавил он, думая, что имеет дело с идиотом.

«И темной, – сказал я ему. – Ибо в ней всегда должно быть второе толкование, нужное правителю…»

Впервые он посмотрел на меня с уважением. Точнее – со страхом. Небрежно перелистав рукопись, я спросил напыщенного глупца:

«Неужели вы думаете, что человек, хоть сколько-нибудь честный, я уж не говорю – способный, согласится играть роль безмозглого барана за шесть миллионов? Побойтесь Бога! Впрочем, про вас говорят, что вы человек находчивый и у вас в кармане про запас всегда лежит нужная Конституция. Так что считайте, что эту нужную вы сейчас вынули».

И я положил перед ним свою Конституцию. Он был совершенно растерян. Согласно моей Конституции (которую конечно же им пришлось принять), вся полнота власти принадлежала отныне Первому консулу. А остальные двое становились куклами – роль, которую они посмели предназначить мне. Это было справедливо. Ибо так и должно быть в стране, где требуется быстро навести порядок, которого ждет все общество.

Власть оказалась в нужных руках. Я умел наслаждаться властью, как хороший музыкант – своим инструментом. Гамлет говорит: «На простой флейте трудно научиться играть, а вы хотите играть на мне – на человеке!» На самом деле все наоборот! На людях играть куда проще, чем на флейте. Есть всего лишь два маленьких рычажка, которые прекрасно управляют людьми: страх и личный интерес… точнее – человеческая алчность. И когда мне говорят, что в некоем государстве подданные ничего не боятся, потому что некий король очень добр, я неизменно отвечаю: «Какое, однако, неудачное там царствование». Ибо страх – самый могущественный рычаг. Но им надо умело пользоваться. Правитель должен быть и львом, и лисой. Вся наука – это понять,

когда и кем быть. И вначале я был, конечно же львом.

Франция изнемогала от бесчисленных банд. Эта была пена прошедшей революции, стыдный результат владычества черни при якобинцах! Они не только брали поборы на дорогах. Главари банд посмели проникнуть на высокие посты, они открыто контролировали провинцию… Я направил в провинцию войска, приказав не брать бандитов в плен, а попросту расстреливать на месте, какой бы пост они ни занимали. Расстреливали и полицейских, которые были с ними связаны, и тех несчастных, которые бандитов укрывали, естественно, за деньги… Эта непреклонность льва в две недели покончила со страшной заразой.

Не повезло и спекулянтам. Я вызвал самого знаменитого олигарха богача Уврара. В период всеобщего воровства и вседозволенности он создал целую финансовую империю. Но явно не понял наступивших перемен. И тотчас поплатился!

Я слышал об этой истории от маршала Жюно. Уврар действительно не понял, с кем имеет дело. Он знал, что новая власть остро нуждается в деньгах и что сам консул беден, как церковная мышь. И решил продемонстрировать силу.

В это время Первый консул увлекся некоей дамой. Он уже договорился с красавицей и готовился совершить свой «набег»… как вдруг прелестница сообщила, что внезапно занемогла. Но Фуше тотчас доложил Первому консулу истину. Оказалось, Уврар, узнавший об интрижке, попросту перекупил пассию, заплатил ей бешеные деньги за ужин с ним. После чего позаботился, чтобы Париж узнал о его подвиге. И на бульварах поняли: Францией по-прежнему правят деньги.

Император улыбнулся, видимо, моим мыслям. И продолжил:

– Итак, я вызвал Уврара. Привыкший открывать ногой дверь в кабинеты Директории, он посмел опоздать. Войдя в кабинет, начал обычно (то есть нагло): «Какие глупцы ваши финансисты! Я знаю, что по их милости правительство… да и вы, гражданин консул… в трудном положении. У меня есть несколько предложений для Французского банка…»

«А у меня только одно, – прервал я глупца. – Посадить вас, и немедленно, в Венсенский замок».

И я посмотрел на него. Строго.

Уврар верно понял новые обстоятельства и молча подписал чек. И каждый раз, когда я вызывал его, мы отнюдь не беседовали. Он молча подписывал чеки, и на много миллионов. Так я заставил его постепенно возвращать наворованное. Когда он

уходил в тот первый раз, я сказал ему: «И запомните, я сам буду решать все проблемы. Дело остальных мне подчиняться. А ваше дело – подчиняться и платить. Безоговорочно».

В дальнейшем он все-таки посмел забыть это правило, и тогда пришлось ему побывать в Венсеннском замке. Но об этом позже…

Я изменил стиль работы моих министров. Я заканчивал работу много позже полуночи. И, глядя как они падали от усталости, говорил: «Господа, в чем дело? Мы с вами должны до конца отрабатывать деньги, которые платит нам Франция».

Обычно я просыпался перед рассветом и после ванны работал. И когда мне нужны были мои министры, их беспощадно поднимали с постели. Если я жил в загородных дворцах, например в Фонтенбло, они жили там же, чтобы быть всегда под рукой. Они должны были, как и я, помнить все… а мне память никогда не отказывала. Я мог указать, допустим, военному министру во время его доклада об укреплениях в Бретани, что он упустил из виду две пушки. И показать, где я в свое время распорядился их поставить. Да, всего две пушки из тысячи орудий, но забывать о них нельзя! Мой министр обязан знать все свое хозяйство! И когда я их назначал, я честно предупреждал: «Я не дам вам состариться! Человек, которого я назначаю министром, уже через шесть лет должен быть не в состоянии даже помочиться!» Эти глупцы думали, что я шучу…

Я спал мало, но засыпал мгновенно. Я ценил эти короткие минуты сна, и строго-настрого запретил себя будить. Только если будут дурные известия. Ибо при добрых нечего торопиться.

Став Первым консулом, я тотчас перевел свою резиденцию в Тюильри. Простота хороша только в армии. Власть должна привлекать к себе внимание… Когда я вошел в этот дворец королей, голос сказал мне: «Вот ты и дома!» И я понял: целый этап моей жизни завершился.

Помню, как прошел по дворцу в первый раз. Тяжелые тона расцвета королевской власти – пурпур и золото – властвовали в одних залах… и нежные, слабые цвета ее заката – лазоревый, золотистый – в других… Много свечей и зеркал, в которых недавно отражалась жизнь самых могущественных королей Европы… И все промелькнуло, как сон… Я попросил внести во дворец бюсты Брута и прочих великих римских республиканцев. Чтобы всем было ясно: здесь поселился Первый консул Французской республики.

Кабинет мой был на первом этаже. Огромный стол в глубине кабинета был обращен к окну, выходившему в сад Тюильри. Мне пришлось позаботиться, чтобы оградить это окно от любопытства

гуляющей в саду публики. Решили создать естественный барьер – сделали высокую насыпь и насадили на ней кустарник.

Прямо у окна стояли конторка и кресло Меневиля. Он и приглашенные секретари сидели лицом ко мне, спиной к саду. И я диктовал, глядя на мраморные статуи, смотревшие на меня из сада. В кабинете за моей спиной стояли часы – этакий регулятор моей жизни, напоминавший мне, что удача не вечна и надо торопиться. И я использовал тогда каждую минуту… В центре кабинета был камин и у камина мое любимое кресло. Здесь я сидел в одиночестве, порой часами, если нужно было принять важное решение. По стенам кабинета – мои друзья: книжные шкафы. В них – моя библиотека и книги, оставшиеся от прежних хозяев – покойных Людовиков.

Обычно я сплю совершенно без снов. Помню, в юности был потрясен, узнав, что людям видятся сны. Но теперь я тоже начал видеть сны. Прошедшей ночью мне приснился кабинет в Тюильри. Проснувшись, долго не мог понять, где я… и только потом все вспомнил…

Теперь я обязан был вернуть Франции то, что Директория пустила по ветру в мое отсутствие. Я должен был вернуть мою Италию. И вторая итальянская кампания началась.

Я придумал, перейдя через Альпы, появиться перед австрийской армией, как гром с ясного неба. Для этого мы должны были одолеть перевал Сен-Бернар. До меня это удалось только Ганнибалу. Но он же это сделал – значит, должен был сделать и я. Впрочем, если бы Ганнибал видел мой переход, он посчитал бы свой сущей безделицей.

Я шел с дурно экипированной голодной армией и с артиллерией. На одной доблести мои солдаты волокли к снежным вершинам разобранные пушки – тяжеленные орудийные стволы, зарядные ящики, лафеты. Через пропасти, обвалы, в жестокий холод… Отдых и сон были только в снегу.

Там, на перевале, на самой вершине, жили монахи. Крыша, покрытая соломой, на ней крест, высокие стены, сложенные из каменных глыб, крохотные оконца, а вокруг – слепящий снег и вершины гор. Они проводили дни в этой вечной тишине посреди мироздания, и вот мы взорвали ее. Ржанье коней, говор тысяч солдат… Они высыпали из дома, смотрели на нас с изумлением, как на привидения… или на воинство, спустившееся с небес. И только громкая солдатская ругань доказывала, что мы отнюдь не Божье воинство… Последнюю фразу вычеркните.

Мы преодолели! Ночью, среди белевших во мраке горных вершин, мы подошли к австрийской крепости. Я велел начинать. И все осветилось… пушечные залпы, непрестанная канонада.

Австрийцы решили, что началось светопреставление. Они сдали крепость, и мы спустились в долину. Теперь мы были в тылу у австрийцев.

А потом началась решающая битва при Маренго. Надо отдать им должное – на этот раз австрийцы дрались отчаянно, я кое-чему их научил. И в три пополудни, казалось, я проиграл эту битву. Глупцы отправили в Вену курьера с известием о своей победе. Но я был спокоен. Я все рассчитал. Я верил в судьбу. И ждал. Мой генерал Дезе в решающий миг боя должен был явиться с подкреплением. И ровно в пять часов он появился.

Все было кончено. Это была великая победа. Но во время сражения Дезе убили…

Маршан рассказывал мне: когда император умирал, он вспоминал Маренго и все шептал в агонии: «Дезе! Где ты? Дезе… судьба моей победы…» И на смертном одре, и тогда, в каюте, император был ***там –*** *он все видел вновь…*

– Атака… Как великолепен строй… – шептал император. – Но вот они уже бегут! Австрийская армия перестала существовать. Я обходил поле сражения, и увидел маленькую собачку, скулившую над телом хозяина. Собачья преданность долговечнее человечьей… И совсем недалеко от австрийского офицера и его собачонки лежал мой Дезе. Лежал, уткнувшись лицом в землю, примяв головой траву. По щеке полз черный жук… Мне не пришлось обнять Дезе после победы. Но я накрыл его знаменем и плакал в палатке… плакал в первый раз…

И прямо на поле боя я написал послание к королям Европы: «Я обращаюсь к вам после победы, окруженный умирающими, стонущими людьми, с предложением мира!»

Я вернулся в Париж с победой и миром. Французы хотели покоя – страна устала от войн и революций. Благодарный Париж высыпал на улицы. Полиция докладывала: толпа била окна в домах, где посмели не зажечь иллюминацию в мою честь. Люди окружили Тюильри, они звали меня…

Но я не вышел. Я решил показать: наступил новый порядок. Вождь будет теперь выходить к своему народу, когда он сам того захочет, а не когда этого требует чернь. Я никак не мог забыть лицо жалкого короля во фригийском колпаке в окне дворца… теперь моего дворца…

А потом зашевелились якобинцы, уцелевшие после великого самоистребления. Точнее, остатки якобинцев… привидения из эпохи террора… Каждое утро Фуше докладывал мне об их разговорах – о «Кромвеле, сожравшем республику». Всегда

ненавидел этих кровавых глупцов! Я и поныне уверен, что революцию делают из тщеславия, а все слова о свободе – только прикрытие.

Они по-прежнему грезили о крови. Через секретных агентов Англия передавала им деньги, о чем большинство этих глупцов и не подозревало. Был составлен заговор – «бешеные» собирались заколоть меня кинжалом в Опера. Кинжал Брута и смерть Цезаря не давали им покоя!

Заговорщики были схвачены, но и далее враг не забыл про мою любовь к музыке. В рождественский вечер в Опера давали ораторию Гайдна «Сотворение мира». Жозефина, как всегда, собиралась до бесконечности. А я не умел и не хотел ждать. Повторяю, я всегда чувствовал, что судьбой мне не отпущено много времени… Пока мадам в третий раз меняла шаль, я отправился в Опера. Она должна была выехать следом. Но, покидая дворец, я вынужден был задержаться – отдал несколько распоряжений министрам. И уже сильно опаздывая, велел кучеру гнать лошадей.

Мы ехали в Опера, как обычно, по улице Сен-Никез. Со мной в карете были Ланн, Бертье и, кажется, Лористон[19]. Зная мое обычное нетерпение, кучер гнал на бешеной скорости. Увидев впереди тележку водовоза, преградившую нам дорогу, я крикнул кучеру: «Не останавливайся! Опаздываем!» На той же бешеной скорости мы обогнули тележку, и тотчас сзади раздался взрыв. Грохот был такой силы, что даже в Тюильри вылетели стекла. Дома вокруг были разрушены, и пара десятков мертвецов и полсотни раненых валялись на улице. Оказалось, на тележке была установлена адская машина… такой мне приготовили рождественский подарочек… Но я появился в Опера абсолютно спокойным. Только сказал директору, пришедшему в мою ложу: «Эти ребята хотели меня взорвать по дороге. Дайте либретто». Взял либретто и начал его читать.

К счастью, Жозефина долго перебирала наряды, и это спасло ее и Гортензию. Но, проезжая, она увидела весь ужас – развороченную мостовую, оторванные руки и ноги, умиравших людей… и чуть не потеряла сознание. В Опера с ней началась истерика. Она рыдала – и это слышал весь зал.

Когда я вернулся в Тюильри, мои дорогие министры были уже в сборе. Я сказал Фуше, прошляпившему взрыв… много чего ему сказал! Он невозмутимо выслушал мою брань и ответил, что это «дело рук роялистов, и меры уже приняты».

Услышав про роялистов, я не выдержал. Я орал на него: «Я старый воробей, и меня на мякине не проведешь! Нет, аристократы и шуаны тут ни при чем! Это они, ваши друзья-

якобинцы! А вы… вы попросту бережете своих… все не можете забыть, что вы один из них! Эти мерзавцы в революцию жили по колено в крови! И сегодняшних кровавых демонов извергнул все тот же ад девяносто третьего года! Нет, видно, их нельзя усмирить… Значит, их надо раздавить! Надо раз и навсегда очистить Францию от этой сволочи!»

И я не играл – это был настоящий гнев. Я и моя жена чудом избежали смерти, а Франция – величайших потрясений. Нетрудно понять, что значила моя жизнь для республики!

Я с трудом записывал за императором, но несколько иные размышления о случившемся бродили в моей голове.

– Я верил в это! – хмуро сказал он.

За окном уже было совсем темно, в открытое окно каюты слышался все тот же шум волн… Император продолжил:

– Фуше промолчал. Но на следующий день он принес мне длиннейший список якобинцев, которые подлежали, по его мнению, наказанию. Бывший вождь кровавых фанатиков не пропустил никого из прежних друзей и предложил для них самую суровую кару. Мне оставалось только утвердить приговор. Одних казнили, других заключили в тюрьму, третьих отправили в Гвиану (на «сухую гильотину», где их угробил невыносимый климат), четвертых выслали из страны…

Но не прошло и месяца, как мерзавец молча положил передо мной отчет. И с тем же бесстрастием (за которым мне всегда чудилась насмешка) ждал, пока я прочту… В отчете были неопровержимые доказательства того, что адскую машину действительно подложили роялисты. Более того – главные виновники уже были схвачены и ждали казни.

«Как видите, я был прав».

«Отчего же вы не сопротивлялись? Почему составили те списки?»

«Я подумал, Сир, что покушение – прекрасный повод избавиться от всех этих людей, которые, уверен, будут сильно сопротивляться **тому, что неизбежно должно случиться…** в самое ближайшее время!»

Я уставился на него.

«Я говорю о возвращении монархии, – улыбнулся он. – Не так давно кем-то была напечатана брошюра “Параллели между Цезарем, Кромвелем и Бонапартом”. Это умело составленное сочинение справедливо доказывает необходимость восстановления королевской власти в вашем лице, гражданин консул. Брошюра конечно же анонимная, но не прошло и получаса после того, как она легла ко мне на стол, а я уже знал,

кто ее автор. Сие сочинение написал и издал ваш брат Люсьен. Впрочем, как и он, я тоже уверен: это будет полезно для Франции. Но якобинцы… к которым вы причисляете почему-то и вашего покорного слугу… пошли бы на что угодно, лишь бы помешать этому. И я решил, что…»

«Что я негодяй, убивающий людей из предусмотрительности?»

«Нет, что вы – великий политик».

Император неодобрительно посмотрел на меня.

– И вы тоже так думаете… Нет, тысяча раз – нет! Хотя я не жалею об этих мерзавцах. Скольких невинных они погубили в дни террора. Так что я оказался лишь невольным возмездием. Моя мать недаром цитировала Библию: «Ассур, жезл гнева Моего! И бич в его руке. Мое негодование». Я выступил только бичом Божьим. И народ это оценил. Когда якобинцев везли в ссылку, их с трудом спасли от разъяренной толпы.

Что же касается существа вопроса, Фуше был прав: уже тогда я начал подумывать о возвращении королевской власти. Я имел на то право. И сочинение Люсьена должно было подготовить общество… Впрочем, про Люсьена все вычеркните.

Итак, Франция благоденствовала. Я дал республике главное – справедливые законы, и ни одна страна мира не имела подобных. В Тюильри я собрал цвет мысли Франции, мы работали над Гражданским кодексом по десять часов ежедневно… Запомните: мой Кодекс я ценю больше, чем все свои победы! Да, были великие победы. Но слава моя не сводится к сорока выигранным битвам. И даже если Ватерлоо перечеркнет их, мой Гражданский кодекс пребудет вовеки. Он собрал воедино плоды великой революции, в нем идеи великих философов. И главное: собственность объявлялась священной. Ибо в стране, где правит собственность, – правят законы, а в стране, где правят неимущие, – правят законы природы.

Изменился и облик страны. За короткий срок были прорыты каналы, проложены новые дороги. Теперь эти дороги и каналы накрепко связали Францию и завоеванные мною земли.

Каждый мой шаг теперь должен был объединять. К примеру, я учредил орден Почетного легиона. Эти глупцы в Сенате уговаривали меня сделать орден чисто военным. Но я объяснил: в стране тридцать миллионов. И триста тысяч профессиональных военных – ничто по сравнению с этой массой. Чтобы орден Почетного легиона стал воистину почетным, он должен объединить заслуги военных и штатских. И я первый подал пример, когда на поле брани подписывал свои приказы

«Бонапарт, член Академии».

В результате побед (и, следовательно, контрибуций) промышленность развивалась, музеи были переполнены сокровищами искусства побежденных стран. Никогда Франция не знала такого процветания! Не хватало лишь стабильности в управлении. По тогдашней Конституции я – главная причина благоденствия страны – в любой момент мог потерять свой пост по прихоти Сената. Чувствуя несуразность положения, сенаторы предложили продлить мои полномочия на десять лет. Я отказался и попросил провести плебисцит. И не ошибся – миллионы избирателей единодушно потребовали, чтобы я стал пожизненным консулом. Сенат наконец-то все понял и торопливо преподнес мне это звание.

В это время я окончательно развалил коалицию врагов Франции – выбил из нее Австрию. Мало выиграть войну, надо уметь заключить мир… Я умел это делать. Я послал брата Жозефа на переговоры с австрийцами – так я начал приучать Европу к новому блеску моего семейства. Но всю работу на переговорах, конечно, сделал Талейран. И сделал отлично… Правда, потом Фуше показал мне список подарков, которые Талейран получил от австрийцев во время подписания договора.

Я был взбешен – вызвал Талейрана. Прохвост объяснил: «Я брал эти подарки нарочно, чтобы австрийский двор поверил, будто я на их стороне. И что в результате?.. Как жаль, что Фуше, справедливо информировавший вас о подарках, не сообщил вам о перехваченной депеше Кобенцля[20]. – И Талейран с удовольствием процитировал: – «Вот он, несчастный договор, который мне пришлось подписать… он ужасен».

«Надеюсь, я не обманул ваши ожидания, генерал?» – спросил негодяй, не скрывая радостной улыбки. Мне оставалось только поздравить прохвоста с этой… дипломатической победой.

Мир принес мне всю Бельгию, Люксембург и германские владения по левому берегу Рейна. Я заставил Габсбурга признать и образованные мною республики – Батавскую, Гельветическую, Цизальпинскую и Лигурийскую. Все они становились практически частями Франции. Это уже были контуры величайшей державы – новой Римской империи.

Тогда же я сумел перетянуть на свою сторону еще одного вчерашнего врага – русского царя Павла. Я никогда его не видел, но сразу его понял. Это, пожалуй, был последний рыцарь… взбалмошный, сумасшедший, но рыцарь, заблудившийся в нашем жалком веке. Пленить его можно было только великодушием. Я отправил ему подарок – всех русских солдат, захваченных во время войны, велев одеть их в новенькие с иголочки мундиры. И

ничего не попросил взамен. И он стал моим! Я написал ему письмо, где предложил разделить мир. В ответ он обещал направить своих бородатых казаков в поход на Индию. Да, он тоже был мечтателем…

Теперь Англия осталась одна… и начала действовать! Англичане расправились с несчастным русским царем. Субсидировали заговор и возвели на престол этого хитрого византийца Александра. Они промахнулись на улице Сен-Никез, но попали в меня в Санкт-Петербурге… Однако я был слишком силен, а новый царь слишком нерешителен, чтобы тотчас начать войну. Да и в самой Англии в это время шли рабочие бунты.

И англичане вынуждены были заключить со мной мир. Мир этот был для них очень тяжелый: все колонии, захваченные у французов, голландцев и испанцев, пришлось отдать… фактически мне. И вернуть Мальту мальтийским рыцарям… то есть опять мне. За это я обещал вывести мои войска из Египта… естественно, на английских кораблях! Брошенная в Египте армия была моей головной болью. Я не знал, как вернуть на родину из раскаленного ада тех, кого увез так далеко. Теперь это согласились сделать мои враги. Так что эта уступка англичанам на самом деле была еще одной моей победой.

Я обещал также вернуть Рим Папе. И сделал это с великой готовностью, ибо уже тогда у меня были большие надежды на понтифика. Они были связаны с будущим, которое было теперь уже не за горами…

Итак, Франция после одиннадцати лет непрерывных войн могла теперь наслаждаться прочным миром. «Мирные договоры были для вас всего лишь перемириями между битвами». Это посмеет сказать мне впоследствии Меттерних. Нет, заключая мир с Англией в Амьене, я верил, что мои дела и дела Франции если не навсегда, то надолго урегулированы. В Европе впервые за много лет молчали пушки. Я становился хозяином мирной Европы…

Император карандашом быстро набросал на листе бумаги карту Европы, изобразив свои, исчезнувшие нынче владения, и с удовольствием перечислил:

– Бельгия, Голландия, Италия, Пьемонт, левый берег Рейна… Делом ближайшего времени было присоединение беспомощной западной Германии. Причем слабая Пруссия и дважды поверженная Австрия уже были не соперники… – Его карандаш заштриховал обе великие державы. – Но тогда я надеялся… это непременно запишите, даже выделите – завоевать их мирным путем! Я уже тогда мечтал о едином европейском доме, где

народы Европы объединятся под главенством французов. Мечта становилась явью, чтобы в конце…

Император не закончил фразу и зачеркнул все нарисованное.

– Я готов повторить тысячу раз: я хотел завоевать Европу мирно. Завоевать своим Кодексом, культурой великой нации, освободившейся от предрассудков дряхлого мира королей! И я тотчас продемонстрировал, насколько верю в прочный мир. Я объявил: теперь мне не нужна полиция! И упразднил ведомство Фуше.

Министерства полиции более не существовало. Я уже тогда тяготился опекой Фуше – он слишком старался. Я чувствовал себя постоянно окруженным агентами этого мерзавца. Я дал ему отступного – большие деньги, которые он так любил. Фуше купил на них огромный трехэтажный особняк на улице Дюбак, совсем недалеко от моего дворца. Как он сказал мне: «Чтобы мне легче было ждать, когда вы меня вернете»… И мерзавец оказался прозорливее меня – скоро, очень скоро пришлось его возвращать…

К тому времени я уже заключил конкордат с Папой. Католичество вернулось во Францию. Запишите: одно из главных моих достижений – возвращение в страну религии. Я признал католицизм религией большинства нации. Но отнюдь не государственной религией, как это было при королях… Если цезарь и церковь соединяются – все заканчивается фарисейством и ложью. Но я постоянно подчеркивал свое покровительство религии. Я сказал прелатам в Милане: «Я предам смерти всякого, кто осмелится нанести оскорбление нашей религии!» Я выпустил из тюрем всех священников, отправленных туда в дни террора. В ответ Папа обязался никогда не требовать возвращения конфискованных церковных земель. Верующие, которые ими владели и мучались, ощущая свой грех, были благодарны мне за мир с наместником Господа.

Я помню, как впервые после революции состоялась торжественная месса в Нотр-Дам по случаю Амьенского мира. Я присутствовал на ней… правда, с условием не целовать Святые дары и не участвовать в прочих безделицах, выставляющих на смех разумного человека. Запишите мой разговор с Сийесом перед этой мессой. Узнав о предстоящем богослужении, бывший аббат сказал:

«Двести тысяч полегли, чтобы этого не было».

«Но теперь это будет».

«Осмелюсь спросить: разве вы сами верите, что Бог существует?»

«Как человек, я не знаю ответа на этот вопрос. Зато как

Первый консул знаю отлично: народ без религии – жалкий корабль без компаса. Нет и не будет примеров, чтобы великое государство могло существовать без алтарей. Без религии человек ходит во тьме. Только она указывает ему его начало и конец. Христос полезен государству».

«Но целое поколение просвещенных французов воспитано Вольтером… они смеются над религией. Вы не боитесь, что вас сегодня попросту освищут, генерал?»

«Если кто-то посмеет свистнуть, мои гренадеры попросту вышвырнут его из собора».

«Но ведь они солдаты революции и их учили думать, что…»

Я прервал глупца: «Запомните, гражданин, хорошие солдаты не думают, они исполняют приказы. А у меня – хорошие солдаты».

Месса прошла отлично. И даже Фуше, еще вчера привязывавший Евангелие к хвосту осла в Лионе, почтительно стоял в соборе. Пришел и епископ-расстрига Талейран… Теперь в пустое небо Франции вновь возвратился Бог.

Но наши безбожники и вправду волновались. Ожеро, Ланн и Бертье – все заядлые вольтерьянцы – не захотели идти в Нотр-Дам. Но я настоял – заставил их прийти и простоять всю службу. И потом любил расспрашивать их о впечатлении…

Но, упоенный успехами, я забыл, с кем имею дело. Британский парламент ратифицировал Амьенский мирный договор с оговоркой: «В ожидании, пока события не примут более благоприятный оборот». Проклятое английское коварство! Проклятая Англия… мой вечный враг!

* * *

В который раз я подумал тогда: «Но зачем же он сдался англичанам?» А он поглядел на меня… мне даже показалось, что он хотел что-то ответить. Но лишь загадочно улыбнулся.

– Они всегда мечтали меня уничтожить, – продолжал император, – и, как поймет будущий историк, всегда на меня нападали… Они не могли мне простить, что я – лицо нового мира, молодость Европы…

Непрестанная травля в английских газетах! Я составил целый список английских газет, ежедневно клеветавших, несмотря на заключенный мир. Но я отвечал им в «Монитере». Разоблачал английских дипломатов, которые плели интриги в Австрии и России – сколачивали против меня новую коалицию. При всем

этом англичане нагло позволяли себе не выполнять условия мира. Они не ушли с Мальты… Так что пришла пора действовать!

Двадцатого мая я известил Законодательное собрание и Сенат, что обязан заставить Англию соблюдать мирный договор и уважать достоинство французского народа. Францию принуждают начать войну, и мы будем вести ее со славой. Обе Палаты согласились со мной.

Король Георг (этот текст ему конечно же написали) посмел обратиться к моему парламенту: «Вы вооружаетесь против Конституции и независимости английского народа. В итоге Франция покроет себя стыдом и падет в бездну великих бед…»

В этот момент за окнами каюты прошел адмирал Кокберн – как некое осуществление пророчества старого короля. Император на миг вернулся в действительность.

– Что ж, насчет бед, может, и правда… Но стыдом, как видите, покрыли себя они. А тогда я довольно удачно ответил королю в «Монитере»: «Ваша Конституция и ваша независимость – что общего они имеют с возвратом Мальты?»

И в конце мая восемьсот третьего года заговорили пушки. В Ганновере я разгромил английскую армию, постыдно брошенную командующим герцогом Кембриджским. И тогда же решил перенести войну на территорию проклятого острова. Добить Англию в ее логове!

Немедля я выехал в Булонь и начал создавать мощный военный лагерь. Оттуда я должен был перебросить армию в Англию. Мне нужны были всего три туманных дня, чтобы проскользнуть мимо английского флота и высадиться на проклятом острове. Плюс несколько дней, чтобы Лондон, парламент и сердце этих сквалыг – Лондонский банк – стали моими… И британский премьер Питт понимал это. Нет, они не забыли, как я ускользал от их кораблей… И они действовали. Как обычно – деньгами. И щедро платили наемным убийцам.

Около каюты вновь появилась тощая фигура адмирала Кокберна. Император засмеялся. И мы прекратили диктовку до вечера.

Вечером, когда я пришел в каюту, император пересказал мне свой разговор с адмиралом. Кокберн сообщил: когда прибудем на остров, мы будем жить пару дней на корабле, пока приготовят наше жилище… Еще адмирал предупредил, что «остров – довольно печальное место».

Сообщив все это, император добавил странную фразу:

– Ну что ж, чем хуже, тем лучше.

И продолжил воспоминания:

– Моя власть – крепкая, желанная для нации – становилась все ненавистней этим недобиткам, остаткам кровавых фанатиков. И дворцовая полиция продолжала докладывать мне их остроты: «Мы свергли полуторатысячелетнего кумира и не потерпим двухнедельного». Я понимал – мне придется уничтожить остатки этих паразитов, забившихся в складки мантии победителя… А пока я приучал страну к блеску новой власти.

Теперь я выезжал в карете, запряженной восьмеркой великолепных лошадей. За мной следовала целая вереница правительственных экипажей – второй и третий консулы в сопровождении эскорта адъютантов и консульской гвардии. Все напоминало о былом блеске королей… Я вернул ливреи для слуг. Орден Почетного легиона помог мне основать класс благородных людей – свой патрициат. И в тайниках души великой нации я все яснее читал благодарность за возвращение к низвергнутым формам правления. Нация желала обновленной монархии. Монархии, оплодотворенной революцией – великими идеями равенства людей перед законом.

Именно тогда Англия в очередной раз попыталась лишить меня жизни. Фуше сообщил мне о новом заговоре – во Франции появился знаменитый Кадудаль с адской машиной. В свое время я с ним встречался. Он был тогда вождем вандейских повстанцев – гигант с крохотным разумом, этакий могучий Голем, управляемый Бурбонами. В Вандее я пригласил его для переговоров, обещая полную безопасность. Генералы умоляли меня не оставаться наедине с этим фанатиком-роялистом, мечтавшем о самопожертвовании. Но я никогда не отказывался лишний раз проверить судьбу. Он вошел в мой кабинет, и в его глазах я прочел свой приговор.

И тогда я посмотрел на него… как умею. И вся его суть жалкого крестьянина тотчас проснулась. Он вмиг превратился в заскулившую собачонку… Я сказал ему, что католическая вера навсегда вернулась во Францию, и предложил стать генералом в моей армии. Его хватило лишь на то, чтобы выкрикнуть: «Нет, нет!» – и выбежать прочь из моего кабинета.

И вот теперь его прислали убить меня… В заговоре оказались также генералы Моро и Пишегрю. Моро в начале революции считался самым… одним из самых блестящих генералов. И не мог простить мне моих успехов – верил, что я похитил его судьбу… Кадудаля схватили. Во время ареста он искалечил пару агентов и потом храбро сложил свою голову на гильотине. Моро я простил за прошлые заслуги перед республикой и выслал из Франции.

Генерал Пишегрю получил срок. Он не выдержал неволи – повесился в камере… Все эти разговоры о том, что его удавили – глупость. Если мне надо было кого-то казнить, я казнил открыто.

Я понял, что этот террор против меня не прекратится. Бурбоны, за спиной которых стояла Англия, почему-то решили, что я беззащитная мишень, что меня можно преследовать, как зайца. Они посмели внушать мне страх! Я должен был раз и навсегда отбить у них эту охоту. Я решил им напомнить, что я – Французская революция и сумею защитить себя. Нужна была показательная казнь, нужна была кровь одного из Бурбонов, чтобы они вспомнили про топор девяносто третьего года.

Кадудаль на допросах упомянул Людовика де Бурбона Конде, герцога Энгиенского. Во время совещания министров я повторил это имя. И Талейран тотчас подхватил: «Вот он – кандидат на отмщение!»

Герцог Энгиенский жил в Германии, совсем недалеко от границы. И все тот же Талейран предложил арестовать его, привезти в Париж и расстрелять! И я сказал: «Ну что ж, покажем им, что моя кровь не менее ценна, чем кровь Бурбонов. Чтобы они раз и навсегда забыли об охоте на нового властелина французов».

Отряд драгун ночью пересек границу и преспокойно увез герцога в Париж. Его поместили в Венсенском замке. Надо сказать, он держался храбро. На допросе отрицал участие в заговоре. Но Савари[21] приготовил для него главный вопрос: «Если бы англичане позвали вас принять участие в войне против Франции, вы бы согласились?» И герцог ответил, что «как истинный Конде он пошел бы против революционной Франции с оружием в руках». Этого было достаточно. По законам республики подобное заявление каралось смертью. И военный суд на основании… я подчеркиваю: закона! – приговорил его к расстрелу.

Да, Жозефина умоляла простить его. И брат Жозеф – тоже… Да, законы великодушия требовали помилования, но законы политики – крови! Простить было нужно… и нельзя! Если простить, не только не будет никакого урока негодяям, напротив, они почувствуют мою слабость… Пока я раздумывал (мучительно раздумывал!), мне принесли известие от Савари: герцога расстреляли. И тотчас после этого Мельвиль передал мне письмо герцога с просьбой о помиловании. Письмо, полное достоинства и храбрости. Оказалось, верный Савари, чтобы избавить меня от муки колебаний, задержал это письмо… Я не спал всю ночь. Быть повелителем для человека с чувствами подчас мучительно!

Впечатление от расстрела было огромное. Фуше сказал: «Это больше, чем преступление, это ошибка» (впрочем, я слышал, что

это высказывание приписывали и Талейрану). Но это лишь ловкая фраза… В том-то и дело, что ошибки не было, а преступление – было. Преступление против великодушия!

Да, меня проклинали в Европе. Но пусть проклинают, лишь бы боялись! А теперь меня… очень боялись. Бурбоны поняли: решив мстить, я не остановлюсь ни перед чем. Цель была достигнута, хотя и печальными средствами. С покушениями на какой-то период было покончено…

Повторюсь: враги неистовствовали. Русский царь посмел обвинять меня в бесчеловечности, называл «корсиканским чудовищем». Но он забыл, что я, в отличие от иных государей, умею и люблю отвечать. Я тотчас ответил ему в «Монитере». Я написал, что герцог был замешан в покушении на правителя страны. К убийцам, готовящим покушение на правителей народов, следует быть беспощадным! Например: если бы русский царь, узнав, что убийцы его отца находятся за границей, захватил их, я бы не возражал… Так я напомнил русскому царю, посмевшему учить меня морали, что убийцы его отца находятся на свободе в его собственной стране! Стрела попала в цель, ибо мои статьи читала тогда вся Европа…

Император замолчал, потом вдруг добавил:

– Герцога расстреляли во рву Венсеннского замка… я поехал потом на это место. Там до сих пор растет одинокое дерево… Была безлунная ночь и в свете факелов… Савари мне рассказал… на стене замка возникла огромная тень несчастного герцога… и этого дерева, около которого его расстреляли… Да, впечатление было огромное…

Он еще помолчал и продолжил:

– После этого печального события оба блистательных негодяя поняли: пора! И в один голос заговорили о том, что я так хотел услышать: как страшно, когда судьбы Французской революции и великой нации зависят от жизни одного человека! И я не прав, решив, что с покушениями теперь покончено. Отнюдь! Смерть герцога может оказаться тщетной, если мы не покончим с нынешним положением… Враги республики должны понять раз и навсегда – убийство Первого консула ничего не изменит… Ибо, как это положено во всех европейских странах, тогда на трон Франции взойдет… его наследник!.. Короче, чтобы обезопасить республику, я обязан вернуть монархию и основать новую династию… Фуше и Талейран бесконечно повторяли мне это… И я сдался.

Я не мог не улыбнуться.

– Запишите, – хмуро сказал император, – впервые о монархии заговорил не я! Было решено провести плебисцит. И нация

подавляющим большинством голосов вручила мне право быть императором французов.

Восторг обоих негодяев! С каким шармом епископ-расстрига склонился в изящнейшем поклоне, обратившись ко мне впервые – «Сир». Но на дне глаз… самом дне… презрительная насмешка аристократа над вчерашним безродным лейтенантом… А Фуше с его иссушенным лицом (кто-то сказал: «Он украл свою голову у скелета»), обратившись ко мне впервые – «Сир», напротив, отвесил нарочито неловкий поклон вчерашнего якобинца, голосовавшего за смерть короля. И в глазах – обычный мрак. Но в уголках рта – та же насмешка над лейтенантом республики, назвавшимся императором.

Эта пара… Бывший монастырский учитель, который умудрился предать сначала Бога, потом Конвент и Робеспьера, потом Директорию и Барраса… но зато какой был блестящий министр полиции! Какой мастер сыска!.. И второй – выходец из знаменитой фамилии, носивший когда-то фиолетовую мантию епископа, этот великий ум и великий порок его не очень тайные страсти – разврат и деньги, бесконечные женщины и бесконечные взятки… Но какой революционер не будет спокоен, зная, что министр полиции – это вчерашний якобинец, палач Лиона? И какой аристократ не будет надеяться, если министр иностранных дел из стариннейшего рода, бывший епископ Отенский? Один охранял меня слева, другой справа – и вместе они объединяли нацию, указывая дорогу, по которой могут идти все. Они ненавидели друг друга как пес и кот, но как были при этом схожи! Талейран – это Фуше для аристократов, Фуше – это Талейран для каналий. Я всегда знал им цену. Меня мало заботили их убеждения – лишь бы следовали моим правилам… Но уже тогда они не всегда им следовали!

Например, Фуше обожал вмешиваться не в свои дела. И не всегда следил за своими. В дни первой польской кампании, когда слухи о больших потерях в армии, о суровости зимы стали удручающими, мне пришлось напомнить ему, что за настроением парижан надо следить ежечасно, как за настроением ветреной любовницы. Я велел печатать в газетах о том, что русская армия значительно ослабела, что в некоторых полках осталось по сто пятьдесят человек и они уже просят мира… и прочую необходимую чепуху. И попросил Фуше позаботиться о салонах, где слишком блистало парижское остроумие. Он действительно вызвал хозяев самых блестящих салонов и попросил их внимательнее следить за разговорами… При этом он умел так взглянуть своими мертвыми глазами, что они ушли от него в большой тревоге. Правда, вскоре в Париже откуда-то стало

известно, что все это повелел ему сделать я!

О, этот хитрейший негодяй обожал перекладывать на меня непопулярные распоряжения! Хотя, признаю, благодаря ему я знал все обо всех… порой самые интимные подробности… Но с ним нельзя было терять бдительность. Я всегда проверял его донесения, сравнивая с тем, что приносил Дюрок. И ему это надоело!

Он как-то сказал мне:

«Поверьте, Сир, я знаю все, что знает Дюрок, и еще нечто, о чем не знает никто».

Его хвастовство меня разозлило.

«Например?»

Он издал странный звук, который у него обозначал смех.

«Например, я знаю, что вчера человек невысокого роста в сером сюртуке покинул Тюильри, пользуясь потайным ходом. Его сопровождал только слуга. В карете с зашторенными окнами он отправился к синьоре Грассини… Впрочем, все это знаете вы сами… – Он выдержал эффектную паузу и добавил: – Но то, что певица изменяет вам со скрипачом Роде, знаю только я!»

Император засмеялся, и этот смех будто разбудил его. Он вздрогнул, посмотрел вокруг, словно пытаясь понять, где он. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так умел уходить в прошлое. И сказал хрипло:

– Последний кусок – в мусор! – И добавил: – Идите спать.

Но сегодня я совсем не устал. И на часах была только полночь. Видно, ему было тяжело вернуться в реальность. Столь жалкую…

Когда я уходил, император вдруг сказал:

– Сегодня штиль… Рано утром я вышел на палубу… Все это время я видел лишь картины прошлого. Сегодня я впервые увидел океан. Вода была прозрачна на сотню метров или больше… Я видел желтые водоросли в воде, стаи креветок, мелкой рыбешки… Там, внизу, шла бесконечная война, они поедали друг друга… Огромный студенистый пузырь с фиолетовыми щупальцами плескался весело под водой… а на самом деле ждал кого-то… Какие-то рыбы, видимо, тунцы выпрыгивали из воды, бросаясь с размаху на мелкую рыбешку… А потом проскользнула она – огромная, фиолетовая… показавшись из воды, стала серебристой… И вот уже удаляется высокий сверкающий плавник… Акула, главная убийца океана. Все так красиво, но всюду убийство… Вечером я вышел из каюты поглядеть на продолжение подводной бойни, но вода уже стала темной.

Чернильно-синий полог весьма заботливо закрыл это безостановочное истребление… Ладно, идите спать.

* * *

Утро. Сегодня будем записывать его коронацию. Я помню, как горевали его поклонники в Европе, когда он решил возложить на себя императорскую корону. Я жил тогда в Англии. Кто-то горько пошутил: «Быть Бонапартом и стать императором – какое понижение!»

Помню мои разговоры с герцогом де Л.[22]. Он сказал с горечью: «Тьму лет назад Карл Великий поехал в Рим к Папе, который возложил на него корону. Нынче вчерашний лейтенант вызвал Папу к себе. Наместнику Господа приказано короновать республиканского офицера-атеиста. И Папа приехал. Церковь проглотила небывалое унижение перед лжецезарем. Как все выродилось! О жалкий век и жалкие души!»

Император, как всегда, пил кофе, когда я пришел в каюту. Сидел с отсутствующим видом с чашкой в руках. Потом поставил ее на стол и начал диктовать, даже не поздоровавшись:

– Коронация… Это было… будто в другой жизни… Не записывайте – фраза банальна. Тысячу лет назад Папа короновал Карла Великого. С тех пор ни один из королей не мог похвастать, что его короновал наместник Господа. И вот я, будущий объединитель Европы, объявил себя наследником великого императора. И Папа согласился возродить тысячелетнее прошлое. Да еще с важнейшей поправкой – не я к нему, а он ко мне приехал. Иначе я попросту отобрал бы у него все его владения. Так что у него было два выхода – приехать или очень пострадать. Он предпочел приехать… Чтобы сохранить достоинство, Папе пришлось пошутить: «В конце концов Рим отомстил галлам: Бонапарт, родом итальянец, будет теперь управлять этими варварами».

Я встретил его в Фонтенбло. Чтобы не целовать ему руку, я не вышел из экипажа, его пересадили в мою карету. Я едва сдерживал смех, глядя на этого хитрющего итальянского графа, ставшего Папой. В его глазах вместо святости я прочел лишь нетерпеливое ожидание. Он хотел знать, что получит за свой приезд… Я отвел ему дворцовый «Павильон Флоры», перестроенный в знак уважения в стиле Ватиканских дворцов. Ему подарили драгоценную тиару, столь дорогую, что он постеснялся ее носить и выставил в Сикстинской капелле.

Великолепный экипаж, увенчанный папской тиарой, должен был везти его в Нотр-Дам…

И тут выяснилось, что мы с Жозефиной… не венчаны! Я как-то об этом никогда не думал… А оказалось, что она «от этого всегда очень страдала».

Перед коронацией состоялось наше тайное венчание. Она была счастлива. И конечно же приняла самое пылкое участие в создании своего туалета для коронации. Она порядком надоела знаменитому ювелиру, который делал (точнее, бесконечно переделывал) ее корону.

Я был автором всего действа – разработал его детально, как диспозицию сражения. Мои ученые по пергаментам изучили древнюю церемонию коронации Карла Великого. Но я придумал внести в нее некоторую неожиданность, которая должна была всем показать: коронуется император республики! Но об этом после…

Повторюсь: я занимался всем – утвердил великолепный декор Нотр-Дам во время коронации, убранство ложи, где должна была сидеть мать… Мне показали коронационные костюмы приглашенных в собор (список составлял я). Маленьких куколок в этих костюмах расставили на моем столе в кабинете. Я и Жозефина склонились над ними: Папа, кардиналы, придворные (так теперь именовались вчерашние республиканцы) выстроились на столе. Я чувствовал себя судьбой, смотрящей сверху на крошечных жалких людей. Я также утвердил корону и скипетр, который скопировали со скипетра Карла Великого. И свое новое имя – «Наполеон Первый, император французов».

Наступил день коронации. Все шло великолепно, как я и задумал. Папа шествовал в собор, окруженный духовенством. Правда, по древнему обычаю впереди него шествовал осел, напоминая о въезде Христа в Иерусалим, что весьма повеселило парижан и несколько нарушило торжественность шествия… В собор я прибыл после Папы. Нотр-Дам сверкал золотом и драгоценностями коронационных костюмов. Сверкала и моя мантия, которую надели на меня в соборе – все те же драгоценности, то же золотое шитье… Весила она изрядно, но я терпел.

Папа сидел в окружении кардиналов. Мы с Жозефиной преклонили колени, и он совершил обряд помазания, благословил нас. И наступил главный момент, которого все ждали, думаю, со злорадством: я, коленопреклоненный, должен был получить корону из рук Папы. И он уже протянул руки к алтарю, где лежала корона, чтобы возложить на мою голову… но я преспокойно поднялся и взял корону сам. И, повернувшись

спиной к Папе и лицом к собравшимся, сам возложил ее на себя! После чего надел корону и на голову коленопреклоненной Жозефины.

Да, я сам заработал свою корону – и сам должен был надеть ее на себя. Недаром эта корона была сделана в виде лаврового венца из золотых листьев – языческая корона императоров Римской республики. Ибо я – император республики Французской! И весь Нотр-Дам ахнул от восторга!

Когда я возлагал корону на голову Жозефины, я увидел слезы на ее глазах. И хотя вначале я много шутил по поводу этого несколько маскарадного зрелища, но в тот момент тоже был взволнован…

Потом я сел на трон с вензелем моего нового имени. Золотые пчелы и орлы, украшавшие трон, олицетворяли постоянный труд и воинский подвиг. И сидя на троне, я прошептал достаточно громко, чтобы услышал Жозеф: «Если бы наш отец увидел все это!»

Правда, когда все закончилось, я тотчас сбросил мантию и сказал брату: «О, счастье! Теперь я могу хотя бы свободно дышать».

Когда я вышел из собора, сразу спросил Фуше:

«Как все прошло?»

«Великолепно».

«А что враги?»

«Хвалят зрелище, но своеобразно: “Золотое шитье, пудра на париках – все как в добрые старые времена. Недостает только трехсот тысяч французов, которые сложили голову, чтобы сделать такую церемонию невозможной”».

Еще он сообщил, что Байрон и Бетховен отказали мне в былой любви. Он умел отравить настроение…

Император помолчал и добавил загадочно:

– Ничего, скоро я верну любовь лучших людей Европы, поверьте…

И продолжил диктовать:

– За ужином я сказал Жозефине: «Слава Богу, и это вынесли… Четыре часа церемонии! Теперь королям придется называть меня братом». Но она не принимала шуток. Она была потрясена. И я попросил Жозефину о том, чего она хотела больше всего: «Не снимай корону за ужином». Она была счастлива и ужинала в короне.

А ведь это действительно было чудо! Чудо, которое сотворил я сам. Моя жена – в короне! Боже мой, моя жена – императрица!

Вот так появилась во Франции Четвертая династия.

Меровинги, Каролинги, Капетинги и вот теперь Бонапарты… И надпись, вызывавшая вначале улыбки, но для меня полная смысла: «Император, согласно Конституции республики». Все как в любимом Риме. Я вернул времена Цезаря…

А потом я короновался в Италии, где все повторил: кардинал протянул корону, но я сам возложил ее на себя – самую древнюю в Европе железную корону ломбардов. «Мне дал ее Бог. И горе тому, кто на нее посягнет», – повторил я древние слова… Естественно, потом я навестил могилу Карла Великого.

Но трон оставался для меня не больше, чем куском дерева. Коронации, все эти титулы нужны были только моему государству. Никто в моем доме не заметил, чтобы я хоть как-то после этого изменился. Огонь в камине, одеколон после бритья, разбавленный «Шамбертен» и ванна два раза в день – вот все, что мне было нужно.

Ибо подлинные времена величия и поклонения прошли. Я как-то сказал Жозефине: «Я слишком поздно родился. Я прошел прекрасный путь, чего тут гневить Бога. Можно считать, что я уже повелеваю Европой и вскоре всю ее завоюю. Может быть, покорю Англию, и моя империя охватит больше земель, чем империя Александра Македонского. Но и тогда нельзя будет сравнить мое могущество с величием Александра. Завоевав Азию, он объявил себя сыном Зевса, и весь Восток ему верил. Если бы я объявил себя сыном Отца Небесного, любая рыбная торговка подняла бы меня на смех…»

Жозефина посмотрела на меня в ужасе, как на сумасшедшего. А я ведь шутил. Да, шутил…

Император помолчал и добавил глухо:

– Жалкий век лавочников! Величия не осталось на мою долю… Всюду стена!

Он долго сидел, задумавшись. Потом сказал:

– Вычеркните… – И продолжил: – Коронация примирила меня со старыми аристократами. Я разрешил им вернуться. И они радостно возвращались. С каким изяществом они произносили знакомые слова: «Сир… Мадам…» Слова их молодости!

После коронации мои генералы стали маршалами. Эти вчерашние сыновья лавочников, трактирщиков, булочников должны были носить придворные костюмы. Но бархат, золотое шитье плохо сидели на израненных телах… Их супруги теперь учились танцевать и вести беседу так, чтобы Европа не померла от смеха. И это было ох как нелегко! К примеру, жена маршала Лефевра, камергера моего двора, известная в юности в одном портовом заведении под прозвищем «Мадам без церемоний»,

никак не могла забыть свой живописный жаргон…

Нашли чудом уцелевших в революцию гофмейстера двора Людовика Шестнадцатого и камеристку Марии-Антуанетты. И еще я позвал Тальма. Они учили всю эту компанию поддерживать достоинство самого могущественного двора Европы.

Вчерашние консулы теперь именовались архиканцлером и архиказначеем, Талейран – обер-камергером, а Фуше – графом… Первое время многие (как и я) сохраняли юмор и подшучивали над переменами. Но уже скоро желание придворного мундира или крестика Почетного легиона у всех этих вчерашних якобинцев превратилось в какую-то неукротимую страсть. Даже у Фуше, столь нелепого в роскошной мантии и шитом золотом мундире… даже у него появился этот голодный блеск в глазах. Кровавому якобинцу и члену Конвента стало мало титула графа, и мне пришлось сделать его герцогом Отрантским и навесить на него Большой крест Почетного легиона. И он гордо вышагивал во всем этом великолепии – узкоплечий, с лицом мертвеца…

Теперь у меня был настоящий двор… и… такой ненастоящий! Настоящим двором должны править женщины. А моим правили военные. И для них мой двор был лишь паузой между бивуаками. Да и женщина для них – только «отдых воина». Пожалуй, прав был Талейран, когда сказал: «Какой скучный двор! Но что делать: веселье не слушается барабана».

Создавая империю, я вынужден был позаботиться и об идеологии. Французы – как хорошенькая женщина, их тянет к запретному. И газеты порой слишком весело смеялись над властью. Так что из ста шестидесяти газет, которые славили мой приход к власти, я оставил только четыре… Для того чтобы управлять прессой, нужны хлыст и шпоры. И я требовал от Фуше неустанной бдительности. Но он не всегда был на высоте. Например, в газете «Публисите» осмелились намекать на наши трудности на польском фронте. Фуше не проверил статью. И мне пришлось написать ему: «Небрежность, с которой Вы осуществляете надзор за прессой, заставляет меня закрыть эту газету. Это сделает несчастными ее сотрудников. Их беды целиком на Вашей совести».

Постепенно я уменьшал размеры газет, чтобы было поменьше соблазна и места печатать рискованные материалы. За эти убогие размеры англичане презрительно называли их «носовыми платками». На что я искренне отвечал: «Моя мечта – свести все публикации к объявлениям». Теперь важные статьи все чаще спускали из моей канцелярии. А когда какой-то жалкий редактор посмел сказать, что «Мольер трудно жил при короле, но теперь ему жить было бы невозможно», я попросил передать глупцу, что

«люблю Мольера, но без колебаний запретил бы «Тартюфа»! И чтобы запомнили раз и навсегда: царство смутьянов закончено!

Пришлось заниматься, конечно, и книгами по истории. Имена Марата, Робеспьера, Дантона были напрочь вычеркнуты из них. Но нашлись хитрецы, которые придумали писать о них… как бы их осуждая! Я попросил Фуше все объяснить нашим умникам. И мерзавец со своей неподражаемой иезуитской усмешкой сказал авторам: «Нельзя писать ни в каком варианте, ибо рождает печальные воспоминания о столь печальном прошлом. Дух нации должен быть бодр!»

И тогда же якобинец Фуше ввел забавный термин – «скрытое якобинство». Это значит: при помощи аллюзий критиковать режим… Особенно преуспевали в этом театры. Я внимательно следил за их репертуарами. Например, «Тамплиеры». Эта трагедия красочно рассказывала о преступлениях королевской власти. Я велел закрыть этот, скажу прямо, отличный спектакль. И приказал Фуше объяснить нашим театрам: спектакли, которые можно трактовать как нападки на сильную власть (пусть даже королевскую!), будут запрещаться немедленно. Я сделал выговор Фуше и попросил его чаще помогать театрам – настойчивыми советами и, главное, деньгами… если будут играть то, что нам нужно. Например, были даны средства на полезный спектакль о библейском царе Сауле. Сюжет поучительный: великий человек Давид наследует царство жалкого царя-вырожденца Саула. И прославляет народ свой… Кстати, на мою критику Фуше сначала молча обижался, а потом демонстрировал свою обиду, доводя мои пожелания до абсурда… Например, он заказал и передал большие деньги на постановку оперы «Триумф Траяна»… тотчас после Тильзитского мира и унижения русского царя. Музыка была превосходна, но лесть в мой адрес – столь бездарна, что мне пришлось покинуть зал до конца представления, чтоб избежать насмешек.

Мне нужен был порядок, единая страна, похожая… да – на военный лагерь! Я говорю об этом без стеснения. Ибо республика жила, окруженная ненавистью монархической Европы. И против меня уже собралась очередная вооруженная коалиция. Так что в конце концов я, обожавший разум, вынужден был сформулировать: «Мысль – вот главный враг цезарей».

Да, милый Лас-Каз, все короли при вступлении на трон клянутся в верности свободе и просвещению, но сами царствуют для того, чтобы надеть на них узду… если, конечно, они хотят остаться королями… Но несколько интеллектуалов – Шатобриан, Бенжамен Констан, Жермена де Сталь, которые требовали свободы для бунтующей и подчас развращенной мысли, отнюдь

не составляли большинство нации. Французы, славившие свободу, вовсе не любят ее, впрочем, как и остальные народы. На самом деле их единственный кумир – равенство… они обожают подводить всех под один уровень. И я подарил им это равенство – перед моим Кодексом. Никакого преимущества происхождения, все имели одинаковые права в моем государстве. И в ранце каждого солдата был спрятан жезл маршала. Равенство связывает народ незримыми узами с абсолютной властью.

Да, я был прост, даже смешлив с моими солдатами – они проливали кровь… Но с интеллектуалами всегда держался сухо и строго, чтобы у них не возникло ложной надежды на независимость суждений. Чтобы знали: муха, пролетевшая без моего приказа, будет считаться мятежницей! Я оставил народу одно право – быть хорошо управляемым.

Когда-то я говорил своей матери: «Люди мне надоели, почести наскучили, сердце мое иссохло, слава мне кажется пресной». Это было в двадцать девять лет… Но теперь Великая империя, боевая империя, объединенная властью одного человека, была создана. И мираж объединенной Европы манил меня… Я хотел жить!

Мой Булонский лагерь продолжал грозить Британии. Двухсоттысячная армия ожидала со дня на день приказа о нападении на остров. Пятьсот судов стояли в порту… Когда я прибыл в Булонь, войска приготовились к немедленному отплытию. Я сделал вид, что готовлюсь возглавить немедленную высадку на ненавистный остров.

На постаменте было воздвигнуто подобие трона. Меня окружали все мои знаменитые маршалы – Сульт, Мармон, Ней, Даву, Удино… Я принимал присягу на верность империи: «Господа генералы, офицеры, воины и граждане, клянетесь ли вы честью, что посвятите свою жизнь службе империи, охране ее владений, защите императора и законов республики?»

Общий возглас: «Клянемся!»

И другой: «Да здравствует император!»

После чего – фейерверк. Ночь над проливом стала днем. Огневые сполохи хорошо были видны на другом берегу, пугая и без того перепуганных британцев… Но я уже знал – войны на острове не будет. Война будет на континенте.

Кстати, не забудьте вставить поучительный эпизод: во время торжеств в Булони ко мне привели двух английских моряков. Они были захвачены в плен, находились в тюрьме. Но им удалось бежать. Из оружия у них был только нож. И они умудрились обработать им несколько кусков дерева. Соединили их, превратив в подобие жалкого челнока, и попытались уплыть, зная, что

наверняка погибнут в море. По законам военного времени их следовало немедленно расстрелять. Я же наградил их деньгами и отпустил восвояси. Потому что всегда ценил храбрость и старался быть великодушным к храбрецам. Например, после победы под Аустерлицем я вызвал к себе пленного русского кавалергарда князя Репнина и сказал ему: «Соберите своих товарищей и отправляйтесь домой. Я не могу лишить вашего государя таких мужественных гвардейцев». В ту же кампанию, заняв Вену, я обратился к ее жителям: «Прошу вас принять как дань моего уважения к вашей прекрасной столице ваш арсенал, по законам войны принадлежащий мне. Пользуйтесь им для сохранения порядка. Все перенесенные вами беды считайте неминуемым следствием войны, а добрые дела моей армии – знаком заслуженного вами уважения»… Я могу бесконечно рассказывать о подобных случаях. И вот что я получил в ответ от тех, с кем обращался столь благородно!

Однако вернемся к тогдашним событиям. Британия не дремала. Этот проклятый народ, обожавший загребать жар чужими руками, уже соблазнил деньгами и хитростью Австрию и Россию. И направил их против меня! Двести пятьдесят тысяч фунтов платил Альбион за каждые сто тысяч русских солдат… Австрийский полководец Мак уже стоял с армией в Ульме… К этой коалиции мечтала (но пока боялась!) присоединиться Пруссия с ее жалким монархом. И тогда я сказал своим маршалам: «Ну что ж, если эти господа не хотят, чтобы я был в Лондоне, я буду в Вене!»

Император глядит на меня, засыпающего над листом бумаги. Мои попытки не дать голове упасть тщетны… Он смеется и объявляет:

– На сегодня хватит.

И диктует на прощание наш дальнейший план. Точнее, историю своей империи – до конца:

– Восемьсот пятый год: Аустерлиц.

Восемьсот шестой: Рейнский союз. Жозеф – король Неаполя, Луи – Голландии.

Восемьсот седьмой год: битвы при Эйлау и Фридланде. Мир в Тильзите. Жером – король Вестфалии.

Восемьсот восьмой: Мюрат – король Неаполя. Жозеф – Испании.

Восемьсот девятый год: битва при Ваграме. Изгнание Папы из Ватикана.

Восемьсот десятый: развод с Жозефиной и обручение с Марией-Луизой.

Восемьсот одиннадцатый: рождение римского короля.

Восемьсот двенадцатый год: поход в Россию. Декабрь – возвращение в Париж.

Восемьсот тринадцатый: война в Европе. Битвы под Дрезденом и Лейпцигом.

Восемьсот четырнадцатый: сдача Парижа, отречение и отъезд на Эльбу.

Восемьсот пятнадцатый: возвращение с Эльбы, прибытие в Париж. И Ватерлоо…

И все это случилось с одним человеком. Идите спать!

Император Наполеон

Итак, меня ждала война с тремя главными державами Европы – Англия не оставила мне иного выхода. Зато в случае моей победы должна была возникнуть новая Европа – Европа, поверженная мной. И ее поведу я против коварного острова!

Тогда мне больше не нужен будет ни этот лагерь, сжирающий деньги и солдат, ни трусливый, благодетельный туман. Я попросту объявлю Англию… несуществующей! Ей будет отказано от континента. Не только английские товары, не только английские газеты и журналы, но и сами англичане не будут иметь права появляться в Европе – под страхом немедленного ареста! С покоренного материка без всяких битв я задушу ненавистный остров!

Это должно было стать битвой суши и моря, невиданной в истории. Я назвал ее «Континентальной блокадой».

Но пока это были мечты. Сначала нужно было победить новую коалицию…

Австрийская армия уже шла на Запад, русские войска спешно двигались с ней на соединение. Они весьма разумно предполагали, что я нескоро появлюсь перед ними. Конечно же они подсчитали, сколько времени потребуется, чтобы свернуть огромный Булонский лагерь (создававшийся два года), построить в боевой порядок двести тысяч солдат и провести их через пол-Европы.

Но они исходили из своих сроков. Мои, как всегда, были совсем другие.

В это время в Булони я окончательно создал невиданное доселе устройство армии. Я разбил войска на семь корпусов во главе с моими маршалами. Каждый корпус превратился, по сути, в самостоятельную небольшую армию со своими артиллерией и кавалерией – главными силами современного боя.

Но основную массу пушек и конницы я соединил в особые части. Они не входили в корпуса и подчинялись только мне. Главой моей кавалерии стал отважнейший из отважных (жаль, что глупейший из глупых) – Мюрат. Артиллерией командовал я сам. Мне подчинялась и императорская гвардия. Это были полки пеших и конных егерей, гренадер, эскадроны жандармов, полк мамелюков, «итальянский» полк, где служили французы, бывшие со мной еще в итальянском походе… Многих из моей гвардии я знал по именам, знал их судьбы и даже их детей. Да и сами они были для меня как мои дети. Я придумал величественную форму для своих гвардейцев: высокие мохнатые шапки, синие мундиры,

малиновые и красные кокарды, перевязи, золотые кирасы…

На привале, в жару, я обычно сидел у палатки, разрабатывая план сражения. И мои гвардейцы образовывали сплошное каре, защищая меня своими телами от ядер и шальных пуль. Окруженный восторженными взглядами, в которых была одна преданность, я обдумывал битву, где предстояло погибнуть стольким из них…

Все эти корпуса (как и подчинявшиеся лично мне части) могли теперь сами постоять за себя и принять сражение совершенно самостоятельно. Это позволяло нам стремительно передвигаться, не загромождая, как прежде, дорогу друг другу. И сходились мы вместе только накануне главной битвы. Запишите: мы шли раздельно, но сражались вместе. Внезапность и стремительность! И запомните: можно терять людей, но не время. Моя армия теперь, как призрак, появлялась перед противником, вырастая прямо на глазах. Причем главный резерв, как «летучий голландец», страшно и неожиданно возникал перед врагом в последний, решающий миг боя…

Перед тем как свернуть Булонский лагерь, я, как обычно, обратился с воззванием к солдатам: «Воины Великой армии! Ваш император опять среди вас! Вы – авангард нации, которая поднялась, чтобы сокрушить лигу наших врагов, объединенных ненавистью к Франции, оплаченных золотом Англии. Вперед же, друзья, навстречу победе! Водрузим наших орлов на земле неприятеля!»

Совершив молниеносный переход, все семь моих корпусов подходили к Ульму – здесь расположился авангард австрийской армии во главе с командующим Маком. Но сначала, как страшный мираж, перед ним возникли первые два корпуса… Я тотчас послал шпионов заговаривать Маку зубы: будто мы весьма слабы и, попугав, скоро снимем осаду… В результате лишь небольшая часть его армии успела отступить, когда появились остальные пять корпусов, отрезав ему отступление. Мак очутился в мешке. И когда он наконец-то все понял, было поздно. Он все-таки попытался вырваться, но и дальше все шло по моему плану.

Находившийся в тылу австрийцев Ней отбросил Мака назад в крепость… А потом Ней и Ланн взяли высоты над Ульмом. Мак был обречен. Я предложил ему выбор: позор безоговорочной капитуляции или тотальное уничтожение. Конечно, жалкий австриец захотел жить…

Двадцатого октября я стоял на возвышении и принимал этот позорный парад. Двадцать семь тысяч австрийцев, восемнадцать генералов и шестьдесят орудий – вся эта отлично экипированная армия во главе с Маком прошла передо мной. В течение шести

часов они сдавали мне свое оружие и знамена. Первым отдал шпагу сам Мак.

В тот день за моей спиной, помню, ревел Дунай. Дул штормовой ветер. Река буйно разлилась – такого половодья в октябре, говорят, не видели сто лет. И эта яростная, бушующая река была предзнаменованием великой крови австрийцев. Но они этого не поняли.

Я отпустил бездарного командующего. На прощание сказал ему в присутствии его генералов: «Я, право, не знаю, господа, за что и почему мы деремся и что хочет получить от меня ваш император. Можете передать ему это».

Так я протянул руку австрийскому императору, но он не захотел принять ее… И наступила главная битва – Аустерлиц.

Здесь против меня стояли две армии – русская и австрийская. Это была битва трех императоров. Правда, ожидали четвертого. Прусский король и русский царь поклялись в вечном союзе. При этом они почему-то надумали клясться у гроба великого Фридриха, который, как всем известно, отчаянно воевал с русскими. Это придало клятве забавный оттенок. Особую пикантность добавило участие в церемонии прусской королевы, которую, как сообщил мне Фуше, «давно е… трусский император». Все это меня позабавило…

Я должен был уничтожить русских и австрийцев прежде, чем к ним присоединится пруссак. Здесь, у Аустерлица, я решил завершить кампанию – удар молнии должен был сокрушить этот союз двух глупцов-европейцев и тщеславного византийца. У них было вдвое больше солдат, и, конечно, они были уверены в успехе. Чтобы они были уверены еще больше, я согласился на перемирие. И терпеливо выслушал назидательную лекцию посланца русского императора об их превосходстве… попутно изучая карту местности, которую выбрал для боя. Когда я гляжу на карту, я всегда вижу местность воочию. И, составляя план операции, я представлял каждый холмик, каждую деревушку, каждую речушку на позиции.

Передо мной лежало поле будущего сражения, над которым с утра висел густой туман. В этом тумане так удобно было прятать войска… Операция стала мне настолько ясна, что я не мог обождать, пока из палатки вынесут складной столик. И, держа бумагу на коленях, начал торопливо записывать…

Уже через час я подробно продиктовал адъютанту весь ход операции. Порядок и длительность маршей, места встреч колонн, маневры и возможные ошибки противника, а также изменения маневров после этих возможных ошибок – все было учтено. Я решил заманить их в ловушку… Я уступал противнику

Праценские высоты. Десять тысяч моих солдат накануне отошли в болотистую местность. Теперь они стали невидимы в густом тумане, поднимавшемся над мокрой землей.

Во время боя я должен был показать, что у меня слабый правый фланг. И когда они начнут атаку на этот якобы слабый фланг, они ослабят свой центр на Праценских высотах. Вот там я и «открою засов». И десять тысяч солдат пойдут в атаку на изумленных глупцов! Я представлял, какая неразбериха начнется в австро-русском лагере во время сражения, где бездарные решения генералов будут отменяться еще более дикими распоряжениями обоих императоров. И в ночь перед сражением…

Он не закончил фразу. Сидел в задумчивости, смотрел в раскрытое окно на темную, тяжко дышащую бездну… Наконец продолжил:

– В ночь перед сражением я обошел бивуаки. Я хотел остаться незамеченным, но солдаты сразу признали меня… Какой был восторг! Тысячи пучков соломы были привязаны к палкам и зажжены. Так они поздравили меня с первой годовщиной коронации. Я видел их любовь и имел право сказать: «Сегодня лучший день твоей жизни», хотя понимал – многие из них завтра навсегда закроют глаза… Но я старался об этом не думать. Первое правило: ты должен быть весел и уверен накануне битвы. Ибо твое настроение непостижимо передается им…

Той декабрьской ночью, греясь у костра в потной рубашке и потертом, замусоленном мундире, я заставил себя размышлять не столько о сражении, сколько об устройстве Европы после победы: о новых королевствах, которые я образую, о государствах, которые уберу с ее карты. Измененная мной, вся исчерканная карта Европы уже лежала в моей палатке… А потом я выпил немного разбавленного «Шамбертена» и крепко заснул.

Император добавил с усмешкой:

– Вот на этой самой кровати… Но в три часа ночи я уже был на ногах. Чувствовал себя превосходно. Надевая мундир, понял, как разжирел за это время. «Если, сражаясь с тремя монархами, я стал таков, какое же круглое брюшко я приобрету, коли врагов-королей будет поболее?» – так я написал Жозефине. Я понимал, что слухи о предстоящей битве уже дошли до Парижа, и много шутил в этом письме, чтобы унять ее волнение.

Наступило ясное утро. Сражение началось. В девять утра я велел Сульту, который был на правом фланге, начать отход и постепенно перейти к стойкой обороне. Яркое солнце постепенно рассеяло туман. К величайшей моей радости, я увидел: они попались! Поверив в мой слабый правый фланг, они начали спешно обходить Сульта, стремясь отрезать его и уничтожить.

Поднявшееся солнце освещало неприятельские войска, потоком спускавшиеся на равнину… и оставлявшие покрытые зеленью Праценские высоты – самую нужную мне точку. Теперь их центр был ослаблен – они сами открыли для меня место прорыва. Взошло солнце Аустерлица! И я сказал моим маршалам: «Всё! Они обречены!»

Из рассеявшегося тумана перед изумленным противником появились мои десять тысяч солдат. И тогда в бой пошла конная гвардия русских – гиганты на тяжелых конях. Я бросил против них черных кирасир. И они вернулись с победой и встали позади своего императора.

Это было кровавое сражение. Со своего холма я видел, как побежали в беспорядке маленькие фигурки. Но я оставил им одну дорогу – лед замерзших прудов…

Сброшенные на тонкий лед, осыпаемые ядрами, они тонули, тонули… Битва, а точнее, избиение противника закончилось лишь с наступлением темноты. Оба императора в постыдной панике, без эскорта, бежали с поля боя. Мы едва не захватили их в плен. Я отправил солдат снимать шинели с мертвецов, чтобы укрыть ими раненых. И около каждого дышащего велел разложить костер.

Теперь я мог отдохнуть и написать Жозефине: «Дружочек! Я разбил армии русских и австрийцев… Восемь дней жил в лагере под открытым небом… Каждый день под дождем со снегом промокал до нитки, и ноги были холодные. (Эти детали почему-то интересовали ее больше, чем результаты сражений. Во всяком случае, она всегда о них спрашивала.) Теперь нежусь в постели в красивом замке графа Кауница… надел свежую рубашку впервые за восемь дней и собираюсь поспать два-три часа. Я захватил сорок пять знамен, сто пятьдесят пушек, тридцать тысяч пленных и среди них – двадцать генералов. Убито двадцать тысяч… (Их было куда больше, но она всегда боялась упоминаний об убитых.) Австрийской армии более не существует». Это был самый краткий и оттого самый правдивый отчет о великой битве.

Отнятые у неприятеля пушки я велел расплавить и соорудить из них ту колонну на Вандомской площади, которую нынче разрушили. Но верьте – время ее восстановит.

Я также распорядился, чтобы вдовы погибших получали пожизненную пенсию. Их дети должны были воспитываться за мой счет. И независимо от данного им при рождении имени, они имели право добавить к нему мое имя – Наполеон. Дети павших храбрецов стали моими детьми…

Уже на следующий день после Аустерлица я принимал австрийского императора. Так запоздало (и оттого куда с

большими жертвами) пришлось ему ответить на мой призыв о мире, посланный через отпущенного Мака… Мой штаб помещался на сеновале, и я принял Франца в палатке. И сказал ему: «Это и есть мой дворец. Уже два месяца я не знаю другого…» – подразумевалось: «По вашей милости». «После такой победы он не может вам не нравиться», – льстиво ответил Франц.

Австрия вышла из коалиции. Перемирие было подписано. Францу пришлось потерять Венецию, Истрию и Далмацию – я присоединил их к своему Итальянскому королевству. Моих союзников, герцогов Баварского и Вюртембергского, я сделал королями – они получили Тироль и Швабию. Я воистину становился императором Европы!

Но русские хотели продолжить воевать. Безумцы! И я обещал Жозефине: «Завтра я обрушусь на русских, они обречены». Но обрушиться пришлось не на них. К разбитой России внезапно присоединилась столь долго колебавшаяся Пруссия. У глупца прусского короля колебания закончились именно тогда, когда должны были начаться. П…а королевы Луизы победила! Она заставила короля вступить в войну на стороне ее русского е…ря. Эти жалкие глупцы возомнили себя наследниками великого Фридриха! Что ж, сие только означало: после Вены мне придется побывать и в Берлине.

Правда, снова пришлось успокаивать Жозефину. После ее несколько встревоженного письма я написал ей: «Дружочек! Ноги у меня в тепле. И предстоящая кампания, поверь, будет недолгой. Дела прусского короля уже вскоре будут так плохи, что я искренне его жалею. Пожалей и ты: он очень глуп, но добр…»

Что делать: беда монархов в том, что ими часто управляют б…ди! Этого я не допускал никогда!

Император придвинул к себе тарелочку с любимыми пастилками. Только сейчас я заметил, что тарелка была из императорского сервиза – с изображениями его побед. На этой было написано: «Йена».

– К вечеру тринадцатого октября я вошел в Йену – тихий городок в горах. С вершины я наблюдал, как по равнине к Веймару текла человеческая масса. Это сосредоточивалась прусская армия. Они не знали, что я уже решил их судьбу…

Ночью перед битвой я прошел с фонарем по дороге, которую саперы прокладывали на горе для пушек. Завтра эти пушки должны были уничтожить мирно храпевших внизу пруссаков. Да, они хорошо выспались перед смертью… Я же не спал. До рассвета следил, как поднимали артиллерию на высокое плато. И сам расставлял орудия.

Поднялось солнце. Я объехал строй армии. На сей раз я был краток: «Солдаты! Сегодня мы победим. Уже к вечеру Пруссия будет у наших ног!» И отдал приказ к наступлению.

С высоты гор удачно расставленная артиллерия обрушила шквальный огонь – град ядер. И корпуса лучших моих маршалов, Сульта, Ланна и Ожеро, двинулись на противника.

Это была ожесточенная битва… Храбрец Ланн был контужен, у Даву прострелен мундир в нескольких местах. Пруссаки держались, но я уже знал – из последних сил. Как всегда, я физически чувствовал пульс боя. И вот пришел черед кавалерии Мюрата… Я приказал: «Пора!» – и Мюрат с саблей наголо, счастливый, пьяный от упоения боем, поскакал впереди, возглавляя яростную атаку…

Разгром оказался пострашнее Аустерлица. Пруссаки потеряли двадцать две тысячи убитыми, двадцать генералов полегли на поле боя. Мы захватили десять тысяч пленных и множество знамен. Прусская армия вслед за австрийской перестала существовать…

Я написал Жозефине: «Дружочек, я провел неплохой маневр против пруссаков… взял тридцать тысяч пленных, множество пушек и знамен, причем всю неделю мне удавалось сохранять ноги в тепле». Чтобы она перестала наконец бояться, я постоянно писал о войне шутливо и старался почаще не забывать правило – не писать об убитых, а просто присоединять их к пленным.

А потом погибла и последняя надежда пруссаков – их лучший полководец герцог Брауншвейгский. Я разгромил его войско в двадцати километрах от Йены. Бегущие остатки его армии смешались с беглецами из-под Веймара… В девяносто втором году герцог обещал прийти во Францию с прусской армией и сжечь революционный Париж. Так что я имел право поступить точно так же и с его Брауншвейгом и Берлином. Но конечно же не стал. Хотя при взгляде на архитектуру Берлина люди с хорошим вкусом непременно одобрили бы меня. Взгляд здесь постоянно оскорблен самым дурным подражанием греческой архитектуре и французским дворцам.

Как я и обещал своим солдатам, я въехал в Берлин на белом коне через знаменитые Бранденбургские ворота, которыми жители очень гордились. За ними начиналась главная улица столицы Унтер-ден-Линден – «улица под липами». Здесь не так давно разгуливали свиньи, и высаженные липы были защищены от них забором. Нынче вместо забора прусские короли понастроили вдоль улицы здания в любимом античном вкусе – с тяжелыми коринфскими колоннами, напоминающими прусских солдат, и площадями, подозрительно похожими на строевые

плацы. Дурные копии греческих богов глядели в небо на крышах дворцов. Впрочем, само Прусское государство – плод безвкусной выдумки деда великого Фридриха. Сей бранденбургский курфюрст придумал никогда не существовавшее «королевство Пруссия» и стал именовать себя его королем…

Однако вернемся к моему въезду в Берлин. Итак, я миновал Бранденбургские ворота (они ужасны: греческая колоннада, увенчанная римской квадригой!). Меня торжественно встретил бургомистр с ключами от города. Тысячи горожан высыпали на улицу, испуганно глазели на меня, окруженного маршалами и гвардией. Я приказал бургомистру, чтобы жизнь в столице шла как обычно. Горожане подчинились безропотно, магазины и кафе тотчас открылись.

Да, этот народ воспитан в духе абсолютного подчинения власти! Слепое повиновение своему королю является здесь честью для подданных. Самое раболепное государство Европы! К примеру, история с квадригой, венчавшей Бранденбургские ворота. (Этой римской колесницей правила богиня Мира. Богиня, как оказалось… существовала в действительности. Ею была красотка берлинка, кузина знаменитого здесь медника. С нее он и отлил богиню.) Мне пришло в голову лишить берлинцев этой статуи – обезглавить эти ужасающие ворота, которыми они так гордились. Я заметил, что если варварские народы лишить любимого символа, это как бы заставляет их окончательно принять поражение. В Москве, например, я придумал вывезти главную гордость русских – колокол с самой высокой колокольни в Кремле. Там я сделал это по-русски – дал деньги какому-то пьянице, и тот влез на головокружительную высоту… В Берлине я это сделал по-немецки: позвал того самого медника и приказал ему снять его квадригу. И он по-немецки аккуратно исполнил мое приказание. Я отправил ее в Пантеон. Излишне говорить, что немцы, войдя в Париж в четырнадцатом году, тут же повезли обратно в Берлин свое жалкое сокровище.

Но вернемся в дни моей победы… Фридрих Великий – единственный великий король из всех этих тупых Гогенцоллернов (недаром в молодости он решился бежать от немецкой тупости из собственной страны!). Он всю жизнь издевался над глупыми подданными. Когда, к примеру, его спросили, как строить университет, он показал на изящно изогнутый дворцовый комод и сказал: «Так!» Болваны, не поняв юмора, точно так и построили… Выстроив театр, он поставил в нем одно-единственное кресло – для себя. Остальные должны были стоять, но они не чувствовали себя ущемленными – ведь таков приказ! Этот воистину великий немец ненавидел все немецкое. Он говорил про отечественных

певиц: «Я скорее разрешу вывести на сцену лошадь, чем немецкую певицу». Недаром он возненавидел берлинский дворец и построил свой – за городом. И жил там в одиночестве – чужой среди сограждан…

Кстати, берлинский дворец Гогенцоллернов – на редкость бездарное, жалкое подражание Тюильри. В тронном зале, обитом красной материей, на постаменте под балдахином – безвкусный трон… Помню, когда я осматривал дворец, за нами все время плелся лакей. И когда Мюрат взял на память с камина какую-то золотую кружку, лакей страшно закричал, бросился к маршалу и ухватился за кружку, беспрерывно и жалостливо бормоча по-немецки. Оказалось, он объяснял нам, что старший лакей приказал ему следить, чтобы ничего не пропало!

Я велел спросить его: не заметил ли он часом, что уже пропала другая довольно заметная вещь – его государство? Но он не слушал и по-прежнему молил поставить назад кружку.

Мюрат поинтересовался, не боится ли тот, что сейчас его разрубят ровно напополам? Лакей побледнел, сказал, что очень боится, но должен выполнить приказ, и все продолжал твердить о кружке. Я велел гнать его в шею. Но пока мы обходили парадные комнаты, лакей постоянно возникал в дверях. Его били, даже ткнули разок шпагой, однако он не отставал. В конце концов я велел оставить его в покое. И он плелся за нами, продолжая причитать… Я велел Мюрату отдать ему кружку, и лакей отнес это сокровище обратно на камин… Естественно, поселившись во дворце великого Фридриха, после этой истории я приказал выгнать оттуда всю немецкую прислугу прежде, чем я туда войду!

Во дворце я нашел забавное письмо от перепуганного прусского короля, где он «надеялся, что меня радушно встретила его столица и что мне понравится Сан-Суси, любимый дом великого Фридриха». Мне он понравился, и я остался там жить. Я обедал за столом, где великий Фридрих собирал великих философов. Здесь обитала тень Вольтера, которого великий король столь часто звал «погостить у него в Сан-Суси». И оттуда я забрал самое ценное – шпагу Фридриха и часы, отсчитывавшие его время…

* * *

Император посмотрел на часы на столике.

– Часы я оставил себе – и они глядят на нас с вами. А шпагу, его генеральский шарф и знамена, под которыми он сражался, я отправил в Париж, в Дом Инвалидов – дом нашей славы. И конечно же немцы, войдя в Париж, увезли назад все это… вместе с любимой квадригой!

На следующий день я сделал смотр своей армии, а потом отправился к гробнице великого Фридриха, где так трогательно клялись меня уничтожить русский император и прусский король. Фридрих покоился в склепе, в деревянном гробу, обитом медью, без всяких украшений…

Завоевание Пруссии продолжилось. Мои маршалы двинулись из Берлина в глубь страны. Штеттин, Пренцлов, Любек, Кюстрин – победа за победой!

В Берлин ко мне привезли сдавшегося под Любеком (вместе с четырнадцатью тысячами солдат и всей артиллерией) маршала Блюхера. Когда я увидел его – огромного, старого, с отвислыми седыми усами, этакого седого моржа, – странное чувство овладело мной… я вмиг почувствовал холод… Я смотрел на Блюхера, жалкого старика, прятавшего от стыда глаза, и не понимал, чем он мог меня так напугать. Во время Ватерлоо, когда его конница рубила моих несчастных солдат, я вспомнил эту встречу…

Но это потом… А тогда пал Магдебург. Прусский король укрылся в жалком городишке на окраине собственной страны. Я объявил кампанию законченной. За месяц я поставил на колени одну из великих держав Европы!

Во дворце Фридриха я принимал многочисленных государей немецких княжеств – они приезжали ко мне соревноваться в раболепстве. Здесь, в кабинете великого Фридриха, я решил было вообще стереть с карты Европы выдуманную Гогенцоллернами Пруссию. И, клянусь, старый Фридрих улыбнулся мне с портрета – уж очень он не любил своих подданных… Как я теперь жалею, что «из уважения к Его Величеству Императору Всероссийскому» изменил свое решение! Немцы, проклятые немцы… они всегда хотят воевать и всегда в конце концов терпят поражение…

После взятия Магдебурга я подписал официальный декрет о континентальной блокаде. Моя идея была теперь как нельзя кстати. Пока я завоевывал славу на суше, англичане уничтожили

мой флот на море. Трафальгар – черный день для Франции… Нельсон разбил нас в пух и прах, но поплатился жизнью. Теперь было невозможно и думать высадиться на острове! Что ж, блокада должна была поставить их на колени и без грома пушек. Поверженной Англии предстояло увидеть, как от ее товаров откажется вся Европа, как ее корабли будут скитаться по бескрайним морям, как «летучие голландцы», пытаясь найти хотя бы один порт, хотя бы один остров, готовый их приютить…

Император, видно, понял, как забавно звучат его слова сегодня, в пути на затерянный в океане остров, куда отправила нас эта самая «поверженная Англия».

Он прервал диктовку. И глухо сказал:

– На сегодня хватит.

Я собрал записи. Император неожиданно предложил прогуляться по палубе. Мы вышли. Уже темнело. Несколько офицеров инстинктивно вытянулись, увидев императора (хотя им приказано не делать этого).

Он сказал:

– Да, подлый остров спасся своим флотом… Разгромив испанскую армаду, они завладели океаном – понимали, что только владычество над морями защитит их. И даже после великой победы под Аустерлицем я так и не смог высадиться на острове… Проклятый Трафальгар! Да, Нельсон – великий человек, и судьба послала ему завидную смерть – во время победы! У меня не было Нельсона. Хотя я не переставал искать такого человека… но тщетно. В этом роде военного дела есть некая особая техника, которой я так и не смог овладеть. И все мои морские замыслы потерпели крах. Встреться мне человек, который мог бы воплотить на море мои идеи… что бы мы с ним сотворили! Но такого человека не нашлось… Идите спать.

Я откланялся и пошел в свою каюту. Уже совсем стемнело. Когда я обернулся, император, скрестив руки, глядел в темную даль, где дышал, ворочался океан. Английские офицеры по-прежнему стояли поодаль, жадно наблюдая и не смея нарушить размышлений великого человека.

На следующий день океан был по-прежнему смирен. Стояла ужасная жара. Император, видимо, совсем не спал: под глазами – черные круги. Он начал диктовать:

– Все это время ко мне в Потсдам приезжали поляки – умоляли отвоевать у России их родину. Польская мечта воскресить Речь Посполитую… так понятная рожденному на Корсике…

Александр решил предупредить мой приход в Польшу. «Стотысячная русская армия готовится двинуться в поход, за нею должна следовать гвардия», – сообщали мои шпионы. Что ж, я должен был поторопиться встретить их.

И мои войска вступили в Польшу. Войдя в страну, я объявил: «Рабство отменяется, все граждане равны перед законом». Но с независимостью Польши решил немного обождать. Я хотел, чтобы поляки заслужили ее на поле битвы, сражаясь вместе со мной. И еще: в случае мирных переговоров с русскими это могло бы стать камнем преткновения. Отобрать назад независимость я уже не смог бы, а для русских это наверняка было бы главным условием… Короче, политика! Всегда и всюду – проклятая политика!

А потом была та битва с русскими под Прейсиш-Эйлау… Не все мои маршалы из-за снежных заносов вовремя привели свои корпуса. И к началу сражения случилось недопустимое: моя артиллерия оказалась малочисленнее русской!

Битва началась обычно – моя пехота пошла в атаку. Но ее встретил снег, холодный и столь непривычный для нас… он бил, хлестал в лицо! Подул ледяной ветер, началась пурга – так здесь называют ужасающий ледяной вихрь. Он вмиг ослепил пехоту, и она попала под ураганный огонь русской артиллерии. Наступление захлебнулось. И тогда четыре тысячи русских гренадер бросились в атаку под нашими ядрами. Я мог только сказать: «Какая отвага!»

Я следил за битвой с окраины городского кладбища. И уже вскоре земля вокруг меня превратилась в новое кладбище. Русская артиллерия делала свою работу, и трупы двух адъютантов, семи офицеров и десятка солдат окружили меня полукругом. После каждого залпа огромные ветки срывались с деревьев. Меня умоляли уйти. Но я понимал – только мое присутствие удерживает солдат от бегства. Пока они стояли. Это были страшные, бесконечно медленно идущие часы!.. Я выжидал, когда почувствую решающий момент боя! Великий момент! И вот он! Есть! Пора!..

Глаза императора выскакивали из орбит. Он был ужасен.

– Вперед! – прохрипел он. – Я велел атаковать Мюрату… Звездный час! Это была самая отчаянная и самая красивая кавалерийская атака, которую я когда-либо видел. Восемьдесят эскадронов, собранных в единый кулак, обрушились на русских. Потеряв, как всегда, ощущение опасности, хмельной от ярости Мюрат вел их в атаку. Звон копыт – прекрасный, стройный, – по замерзшей земле… Эта атака решила все! И за нею последовал

мощный удар Нея по правому флангу. Русские начали отходить…

Двадцать пять тысяч убитых русских на восемнадцать тысяч французов… Но это не было привычной победой. Не было бежавших, не было обычной массы пленных. Были только раненые и убитые. Русские просто отступили с поля битвы.

Всюду валялись ружья, сабли… Иногда это были целые холмы из оружия и трупов, постепенно заметаемые снегом… Никогда на небольшом клочке земли я не видел столько трупов. Помню склон холма, за которым укрывались русские, – он весь был покрыт окровавленными телами моих солдат. Здесь колонна Ожеро сбилась с пути и оказалась прямо перед русскими пушками. Сначала они были расстреляны в упор, а потом, видно, пошла рукопашная… уцелевшие были переколоты русскими штыками. Помню занесенного снегом мертвого драгуна… Он умер, привалившись к дереву, и ветер намел огромный сугроб… Из снега торчали рука с тесаком и кусок щеки с застывшей кровью… А рядом еще сугроб… и опять из снега – руки и ноги мертвецов и слышались стоны умирающих. И вокруг – искалеченные лошади. Они еще жили, бока их раздувались, приподнимая наметенный снег… Одни медленно подыхали, уткнувшись мордой в снег, другие еще судорожно бились… Их глаза – покорные, страдающие, человеческие глаза…

Я пропадал на этом страшном поле несколько дней, считая своим долгом смотреть на эти горы трупов. Радость победы? Какая тут радость… Отец, потерявший детей… Душа страдала при виде стольких трупов!

Вот что такое Прейсиш-Эйлау! Только много позже я понял – в этой беспощадной пурге, в заметенных снегом трупах мне показали призрак будущего. Но я его не увидел. А если бы и увидел?..

Император задумался, потом сказал:

– Вычеркните про «призрак будущего»… Итак, я должен был подвести итог. Мои офицеры не раздевались два месяца, а некоторые – и четыре. Я сам последние две недели не снимал сапог. Армия жила в снегу, у нее не было вина, мои люди ели картошку и мясо без хлеба, им приходилось биться врукопашную под беспощадным обстрелом пушек. Мы вели войну против русских, калмыков, татар – против варваров, захвативших когда-то Римскую империю. Я должен был дать отдохнуть своей армии, чтобы потом одной решительной битвой закончить кампанию… Думал ли я тогда, что эти дикари придут в Париж?!

Полночь. Диктовка опять закончилась моим полным

истощением. Я ухожу из его каюты, Маршан, сидящий у дверей, желает мне доброй ночи. Уже на палубе, обернувшись, вижу через окно, как император продолжает расхаживать по каюте.

Маршан входит в каюту и опускает занавески.

Как много написано его портретов… Давид, Гро – величайшие художники Франции изобразили императора в блеске побед. Увидев очередное полотно, он снял перед кем-то из них шляпу…

Но лучший его портрет так и не был написан. Между тем я вижу его каждый день. Это император, не просто вспоминающий, но живущий там, среди своих побед, мечущийся по тесной каюте, полной слышных ему одному звуков: стонов раненых, выстрелов ружей, грохота артиллерии, храпа лошадей… и возвращающийся в жалкую действительность с ранеными глазами…

На следующее утро – знакомая картина: он торопливо допивает кофе и, не поздоровавшись, начинает диктовать, вышагивая по каюте:

– Я дал своим войскам отдохнуть с марта по май на зимних квартирах. И отдохнул сам. Я жил в старинном прусском замке Финкенштейн. Здесь была моя штаб-квартира. И все это время сотни курьеров скакали в замок и обратно в европейские столицы. Отсюда я управлял завоеванной Европой…

Я только успел подумать, как император сказал:

– Да, вы правы, свое уединение я делил… вы знаете – с кем… Вот эта походная кровать была придвинута к необъятному ложу. И каждое утро завтрак сервировали на двоих. Горел огромный камин, и по вечерам мы молча сидели подле него…

Я хорошо знал эту историю, ее в подробностях рассказал мне дальний родственник героини словоохотливый князь Р.[23].

Император увидел ее впервые в Варшаве на балу. Ей было 18 лет. Графиня Мария Валевская, хрупкая красавица с золотыми волосами. Она была из знатного обедневшего рода. Ее отдали замуж за графа Валевского (внучка графа была старше ее на 10 лет).

Император забросал ее письмами. Она не отвечала. Он написал: «Бонапарту женщины отказывали, но Наполеону – никогда!» Она вновь не ответила.

Но великий дипломат сочинил наконец нужное письмо: «О, если бы Вы захотели! Только Вы одна можете преодолеть преграды, разделяющие нас. Придите, и Ваша родина станет мне еще дороже, если Вы сжалитесь над моим сердцем…»

После чего и состоялся этот трагифарс. Вся многочисленная родня уговаривала несчастную Марию изменить престарелому мужу во имя любимого миража – восстановления независимой Речи Посполитой. Именно это ловким намеком пообещал в своем письме император…

И – свершилось… А потом он умолил ее приехать в замок…

– Она приехала ко мне, пожертвовав многим, для нее – всем… Чтобы видеть меня лишь глубокой ночью и просыпаться утром уже на пустом ложе. Весь день я работал: писал приказы, диктовал письма, читал донесения… Я чувствовал ее нервность – ей казалось, что я не оценил ее жертву.

И однажды, тем редким вечером, когда я не работал и мы сидели вдвоем у камина, я перечислил ей дела (лишь некоторые, чтобы не утомить ее), которыми я занимался в тот день. «Испанские дела»: король обещал поставить в мою армию пятнадцать тысяч солдат, но пока я не получил ни одного, и пришлось написать об этом глупцу Бурбону, и людям, на него влиявшим, и нашему послу, влиявшему на этих людей. Затем – приказ о «ревизии прусских земель». Их следовало описать для определения будущей контрибуции. Мне предстояло сломить наглость прусского короля, который, укрывшись в Мемеле, несколько воспарил духом, уповая на действия русского союзника. К сожалению, вместо того чтобы стереть с лица земли его самозваное разбойничье королевство, я предложил ему суровые… очень суровые условия мира. Но он посмел заартачиться – верил в русские войска…

Кстати, русскую армию возглавлял генерал Беннигсен – один из главных убийц отца царя. Говорят, он нанес последний удар и даже наступил ногой на труп несчастного Павла… И сын поручил свою армию убийце отца! И после этого он смел приказать, чтобы с амвона церквей меня объявляли «Антихристом, который предался сразу Синедриону и Магомету». Только невежество северных варваров могло выдумать этакую чушь!

В это время я преподнес Александру ответный подарок, и куда посерьезнее, – турки развязали войну с русскими. Из замка я следил, чтобы султан действовал энергично… Но меня беспокоил Париж. Я стремился преодолеть отдаленность этого опасно своенравного города, посылая туда ежедневно курьеров. Но напряжение возрастало – биржа отреагировала падением бумаг на трудности кампании, мадам де Сталь осмелилась слишком язвить в салонах, литературные журналы были полны намеков на отсутствие свободы слова, министерство финансов позволяло ошибки в отчетах (так покрывалось воровство)… Для начала

пришлось послать распоряжение насчет мадам де Сталь, и она была изгнана из Франции, чтобы напомнить остальным – я не Людовик Шестнадцатый!

Пришлось позаботиться и о Германии. Для примера немецким издателям (и, конечно, французским) я приказал расстрелять книгопродавца, который торговал брошюрами, возбуждавшими население против Франции.

Но я понимал всю ничтожность этих мер – только великая военная победа могла успокоить всех. В замке я разработал подробный план кампании. Проблема продовольствия стала моей головной болью… Польские крестьяне были нищими, с них нечего было взять. Из Парижа провиант приходил с перебоями. К тому же в этой местности мало рек, и для перевозок нужно небывалое количество лошадей… Но я не сомневался – победа не за горами, я добуду ее уже ранней весной… И тогда я – хозяин мира!

Он остановился, вспомнив, что не закончил рассказ о женщине.

– Да, Мария… Я ей сказал тогда: «Я всю жизнь так работаю. Раньше я был желудем, одним из многих желудей, теперь я дуб, который питает свои собственные желуди. Мне нравится эта роль. Но с тобой я хочу вновь стать маленьким желудем»… Однако дела, дела… И по-прежнему нам оставалась только глубокая ночь.

Император усмехнулся:

– Любил ли я ее? Во всяком случае, я писал ей смешные, совсем юношеские письма: «Мария, Мария, моя первая мысль о тебе… Мы будем общаться так… если я прижму руку к сердцу, ты поймешь: оно целиком твое. Но в ответ прижми цветы к груди, чтобы и я знал о твоей любви. Люби меня, моя чаровница! Не выпускай цветы из прелестных рук…» И она прижимала… не выпускала. Но ей не было двадцати, а мне шел четвертый десяток… Каков глупец! Счастливый тогда глупец… Прощаясь, она подарила мне кольцо с надписью: «Если ты меня разлюбишь, помни – я буду продолжать любить тебя».

Император произнес эти слова почти сердито. Он будто очнулся.

– Вы записали? Надеюсь, вы поняли – это надо уничтожить! И на будущее: коли я рассказываю подобное, никогда не записывайте…

Зачем же он это рассказывал? Все затем же – хотелось вновь пожить **там…**

И он продолжал:

– Уже весной я стал готовить армию к решающей битве. В мае мы взяли Данциг, открыв дорогу на Россию. В Кенигсберге англичане накопили для моих врагов большие запасы оружия, боеприпасов и, главное, продовольствия… И я сделал ложный маневр – показал, что направляюсь на Кенигсберг.

Это заставило русских защищать драгоценный для них Кенигсберг. И командующий – цареубийца Беннигсен решил атаковать меня с фланга у Фридланда. Этого я и хотел. Они оказались зажатыми у излучины реки. Хуже позиции трудно было придумать. Они были обречены.

Бой начался на рассвете. Я смотрел с холма, как вставало солнце, как строились в колонны русские – сверкали на солнце пушки, были видны даже белые перевязи на зеленых мундирах… Они не знали, что все для них уже кончено. Сколько их, радующихся сейчас солнцу, ясному утру, будут лежать на этом поле… на дне реки…

Огонь открыли корпуса Ланна и Мортье. И моя артиллерия показала, что такое настоящая работа! Потом в бой пошла кавалерия. Как живописно зрелище кавалерийской атаки… особенно в такой великолепный день! Солнце играет на шлемах, саблях, кирасах… Трубные звуки… беспощадная сеча между храбрецами… Кстати, в той атаке принимали участие мои союзники, удалые саксонские кавалеристы – рослые, с косицами, в красных куртках с зелеными отворотами. Те самые, что изменят мне через несколько лет в решающий миг под Дрезденом!

К пяти часам вечера я приказал завершать дело. Русские к тому времени были оттеснены к реке. Ней овладел высотами за их спиной. После сокрушительной бомбардировки он захватил Фридланд и мосты через реку, по которым русские могли отступить. Я приказал сжечь мосты, и теперь они были в ловушке. Это был конец.

В наступивших сумерках моя пехота и кавалерия полукольцом окружили русских у самой реки. Вперед выдвинулась конная артиллерия, и ядра посыпались на несчастных. Им надо было сдаваться, но они предпочли смерть. Они потащили свои пушки в реку, но оказалось, что там не было брода. Я видел, как они захлебывались, тонули под нашими ядрами… крики, вопли… Тяжелые гиганты – русские кавалергарды в сверкающих кирасах на красавцах конях под ураганным огнем моих пушек срывались в реку с высокого песчаного берега… Итог: двадцать пять тысяч убитых и раненых, восемьдесят взятых орудий.

Победа была полная… правда, знамен я взял всего семь, и

пленные оказались по большей части ранеными… Как и при Прейсиш-Эйлау, они предпочитали умереть, но не сдаваться.

Вскоре пал и Кенигсберг с щедрыми запасами столь нужного мне провианта. Теперь вся территория, вплоть до Немана, где уже начиналась Российская империя, была моя. Я мог ждать самых выгодных предложений от Александра. Шпионы из царской ставки сообщили мне о разговоре царя с его братом Константином. Константин участвовал в сражении при Фридланде и своими глазами видел гибель кавалергардов – весь беспощадный разгром. И у него хватило ума сказать царю: «Если вы, Ваше Величество, решили продолжать войну, не лучше ли дать по пистолету каждому солдату – чтобы они могли пустить себе пулю в лоб? Потому что в следующем сражении они все равно погибнут!..» И Александр попросил мира.

Император усмехнулся.

– Я предложил великолепную, очень зрелищную картину мирных переговоров, которая безоговорочно была принята царем. Посредине Немана построили два плота – большой и малый (для свиты). Бревна укрыли красными коврами. На плотах воздвигли шатры с моими и царскими вензелями. По обеим берегам реки выстроились наши войска, ставшие зрителями… точнее, свидетелями моего торжества.

Как воспринимали меня тогда молодые русские офицеры? Шпионы рассказывали – так же, как когда-то в юности я воспринимал Александра Македонского и Юлия Цезаря. Я был для них ожившей легендой, возвращением времен античных героев. И еще – осуществленной мечтой, к которой каждый тщеславный юнец теперь стремился! Я был доказательством возможности невозможного… и они старались не замечать величайшего унижения их царя и религии. На виду у своей армии их Государь должен был обнять человека, которого еще вчера его церковь именовала Антихристом и которого он сам поклялся победить.

Церемония началась. В час дня раздались два выстрела из пушек. От противоположных берегов одновременно отплыли две лодки. На моей гребли матросы из гвардейского морского экипажа в великолепных синих куртках, украшенных красными гусарскими шнурами, на лодке царя – рыбаки в жалких белых куртках и шароварах… (Мои ребята так ему понравились, что он собезьянничал и вскоре учредил подобный экипаж в России.)

Я не мог скрыть нетерпения и торопил гребцов. Мои матросы гребли превосходно, так что прибыл я раньше, и когда подплыла лодка Александра, на глазах у всех помог ему подняться на плот.

Сопровождавшие остались на малом плоту. Мы должны были решить все вопросы одни.

Царь оказался очень красив, правда, несколько женственен. Я протянул руки – мы обнялись и поцеловались: вчерашний Антихрист, корсиканское чудовище, безродный лейтенант, кровавое дитя революции (как только меня не честили в России все эти годы!) – и православный царь, потомок двухсотлетней династии. После чего мы рука об руку вошли в павильон.

Царь был создан, чтобы очаровывать… повторюсь, необычайно хорош и женственен… все в нем нежное, розовое, юное… И мне тогда он показался прелестно безвольным и добрым. Если бы он был женщиной, я сделал бы его своей любовницей… Я не понял, что передо мной византиец, в котором течет кровь коварных императоров Востока. Хитер, ловок, тонок и далеко пойдет!

Александр, видно, заметил мое заблуждение. И прелестно играл в наивность, которую я так ценю в женщинах. Он с жаром расспрашивал меня об искусстве боя. Я было увлекся, хотя в какой-то момент мне показалось, что он попросту издевается надо мной. И сказал ему: «Если мне еще раз придется поставить на колени Австрию, я дам вам покомандовать корпусом под моим началом». Так в отместку я напомнил ему и о его разбитом союзнике, и о его собственном поражении.

Потом я раскрыл перед ним карту мира и сказал: «Мы его поделим. Наш нынешний союз – это долгий будущий мир в Европе». И я пообещал заставить Турцию прекратить войну с ним, а он – Лондон со мной. А пока он согласился присоединиться к континентальной блокаде. Это была огромная жертва: экономика России требовала торговли с англичанами. И это был удар для англичан! Я обещал царю отдать за это черноморские проливы, чтобы Черное море сделалось русским… После чего он заговорил о Пруссии. Он намекнул мне «на долг сердца». И я поверил в этот обычный жалкий долг перед любовницей, который так часто определяет политику старомодных монархов. Теперь-то я понимаю: хитрый византиец уже тогда не верил в долгий мир и хотел иметь между нами укрепленный барьер в виде дружественной ему Пруссии.

Все долгие часы нашего свидания ждал решения своей участи прусский король. Царь попросил разрешить ему принять участие в нашей встрече, но я не стал это даже обсуждать. Я только сказал: «Подлая нация, жалкий король и глупая королева». Царь молча вздохнул. Я предложил ему попросту поделить Пруссию. Но царь продолжал уговаривать… нет, молить! – не делать этого. И Пруссия продолжила существовать… правда, я решил сильно

сократить ее территорию. Я оставлял им всего четыре провинции: старую Пруссию, Померанию, Бранденбург и Силезию – и то, как было сказано: «Из уважения к Его Величеству Императору Всероссийскому». Все остальные земли на западе и на востоке я отнимал у прусского короля – они должны были войти в новое королевство Вестфальское. Я отдавал его брату Жерому. А Великое герцогство Варшавское (восточные земли) решил передать моему союзнику, саксонскому королю. Плюс присоединение Пруссии к континентальной блокаде, плюс огромная контрибуция. Я решил заставить прусского короля дорого заплатить за поражение. Кроме того, во всех крепостях Пруссии я оставлял свои гарнизоны. Александр умолял меня хотя бы вывести войска из прусских крепостей, чтобы «окончательно не унижать короля». Я обещал, но… «как только позволит обстановка».

Все дни до его отъезда мы не расставались с царем. Он мистик, и я с удовольствием рассказывал ему необыкновенные истории из моей военной жизни. Как в Египте я заснул у древней стены… Стена рухнула, но меня не коснулась… я проснулся и с изумлением увидел – в руках у меня была древняя камея с лицом императора Августа… Царь слушал восторженно, как очарованная женщина, – с широко раскрытыми глазами.

На следующий день появился прусский король – холеный, с аккуратненькими бачками и усиками. Он был в бессильном ужасе от моих условий. На помощь была призвана красавица королева Луиза. Конечно же она понимала: во многом по ее вине страна претерпела великие бедствия и супруг должен теперь потерять огромную территорию. Она решилась помочь ему – и встретиться со мной…

Я согласился. И даже сказал о ней: «Она божественно хороша. Так и тянет не только не лишать ее короны, но положить корону к ее ногам…» Ей передали, и она посмела поверить, что ей достаточно пустить в ход «самое сильное оружие» – и она отстоит территории, за которые заплатили кровью мои солдаты.

Она приехала в Тильзит шестого июля в полдень. Ей было уже тридцать два года, но… «свежа как роза»… Она была в великолепном белом платье. Я появился через два часа после ее приезда. Приехал с прогулки верхом, был в егерском мундире и с хлыстом, что весьма контрастировало с ее роскошным туалетом. Я имел на это право, я был победитель!

Но она решила поменяться со мной ролями. И уединилась со мной в кабинете – «обсудить мирный договор». Нежно глядя своими лазоревыми глазами, она молила сократить территориальные потери и контрибуции. Сокровище моего

вчерашнего врага Александра явно решило перейти к новому владельцу! Уже на прелестных губах блуждала томная улыбка, вселявшая большую надежду на мой скорый успех, когда… вошел король. Не выдержал постыдного ожидания в приемной… Надо сказать, он вошел вовремя. Еще немного, и мне пришлось бы уступить Магдебург. И в первый раз изменить своим принципам… Она была очень хороша, и я уже был не против, чтобы на головах обоих монархов возникло некое украшение…

Внезапный приход короля, к счастью, изменил ситуацию. Я холодно изложил ему прежние условия.

«Вы не захотели заслужить мою вечную благодарность», – печально сказала королева, прощаясь со мной.

«Я достоин сожаления», – ответил я, помогая ей сесть в экипаж.

Она вздохнула. В ответ последовал и мой вздох. И слова: «Несчастная моя звезда…»

Глаза ее зло сверкнули, хотя моя насмешка была заботливо скрыта. Что делать, я ненавижу злых, распутных и властных женщин, которые вмешиваются в политику. Я люблю совсем иных…

В это время военный суд должен был приговорить к смерти немецкого князя Харцфельда. Я назначил его управлять побежденным Берлином. И каково было мое негодование, когда я узнал, что человек, которому я так доверял, вел тайную переписку с прусским королем… Жена Харцфельда пришла ко мне молить за мужа. Я показал ей перехваченное письмо князя – неоспоримое доказательство его вины.

Я спросил ее:

«Это его почерк?»

Она упала на колени и сказала, захлебываясь слезами:

«Да, его почерк, но… пощадите его!»

И были в ней такая наивность, бесхитростность и доброта, такая искренняя любовь к мужу… что это спасло князя. Я бросил письмо в камин и сказал ей:

«Теперь у меня нет доказательств вины вашего мужа, он в безопасности».

Ибо я всегда любил добрых, нежных и наивных женщин…

Тильзитский мир с Россией… В Париже – бесконечный праздник, фейерверк приемов. Тюильри, Фонтенбло, Сен-Клу, Мальмезон до утра горели огнями. Моя знать, поражая роскошью нарядов, толпилась в залах вместе с покорными европейскими владыками… Моих маршалов я осыпал золотом, которое так любят французы. Ланну подарил миллион франков золотом, Бертье – полмиллиона… и все они получили огромную

ежегодную ренту. Да, я брал их кровь. Но и щедро платил за нее!

Император взял лист бумаги.

– Вершина моего могущества…

Он быстро, умело набросал на листе очертания Европы, перечисляя при этом некоторые свои титулы. Мне нелегко описать, как он их произносил. Это было невозможное сочетание насмешки над собственной судьбой и ощущения своего величия!

– Император Франции… Величайшая империя… я упразднил границу у Альпийских гор, и Франция продолжалась Французской Италией, состоявшей из пятнадцати департаментов, раскинувшейся от Турина и впоследствии до Рима… плюс Бельгия, Западная Германия, Пьемонт, Саксония… – Его рука умело рисовала на бумаге контуры зависимых областей. – Протектор Рейнского союза – этих бесконечных немецких княжеств, повелитель Голландии и Неаполитанского королевства, где королями сидели мои братья Людовик и Жозеф, всей Средней и Восточной Германии, которая вошла в Вестфальское королевство, где правил мой третий брат Жером… Хозяин ганзейских городов – Гамбурга, Бремена, Любека, Данцига и Кенигсберга, – рука императора продолжала штриховать Европу, – и австрийских земель, отданных мною Баварскому королю, и польских земель, отданных королю Саксонскому… Адриатики, Ионических островов… Пруссия и Австрия, Испания, Португалия трепетали, Россия подчинилась… К восемьсот одиннадцатому году я свяжу Париж стратегическими дорогами со всеми отдаленными уголками великой империи.

Он аккуратно провел на бумаге линии этих великих дорог.

– Кстати, качество этих дорог я испытал на себе. Эта тряска на рытвинах и ухабах… Но я объединил Европу не только дорогами, но главное – Гражданским кодексом. В империи и в вассальных странах я ввел общие законы!

Император задумчиво смотрел на рисунок. Вся Европа была заштрихована – оставалась только Англия…

– Подписав Тильзитский мир, я, казалось, до конца блокировал ненавистный остров. Теперь Александру пришлось подписываться под всеми моими (они назывались «нашими») декларациями о том, что по нашему призыву «континент восстал против нашего общего врага». И что наша война с островитянами должна «уничтожить их промышленность и поставить под наш контроль моря, где они смеют нынче хозяйничать…» Мы объявили англичан «вне цивилизованного мира».

Очень скоро я добился падения фунта… но падал и рубль.

Русская экономика громко стонала, отлученная от английской торговли. Шпионы доносили то, что я и сам отлично понимал: присоединение России к блокаде – удавка на шее Александра. Ропот внутри страны начал расти, и русские аристократы долго этого не вытерпят. Так что я не обольщался насчет «вечного мира с Россией»… да, признаться, и не желал этого мира надолго. Ибо понимал великую перспективу, которую открывала мне неизбежная война с северным колоссом, этой вечной варварской угрозой Западу. Призрак будущего стоял между нами – со штыком в крови по дуло.

И когда в Париже все славили меня после Тильзитского мира, я сказал Бурьену: «Неужели и вы такой же глупец? Неужели не понимаете, что истинным властителем я буду только в Константинополе? Занять Москву… А дальше – путь до Ганга. И французская шпага в Индии коснется английского горла! Представьте, что Москва взята, царь усмирен или убит своими же подданными, и мы посадили на трон своего человека. И тогда наша армия через Кавказ дойдет до Ганга и одним ударом с тыла разрушит всю пирамиду английского меркантилизма… И только тогда я истинный властелин, только тогда воцарится вечный мир…»

Меня всегда тянуло на Восток, там живет до сих пор магия власти… Только на Востоке понимают, что такое повелитель. Иногда мне кажется: главная моя ошибка, что я уехал из Египта… мне надо было закончить войну с турками… причем руками арабов, греков и армян… Своих солдат я сделал бы героями некоей Священной армии. Я стал бы повелителем Востока. И в Париж я вернулся бы через Константинополь… или не вернулся совсем…

Глупец Бурьен смотрел на меня с испугом. Я казался ему ненасытным безумцем…

Император остановился.

– Но вернемся в дни Тильзита… Я понимал ограниченность моих ресурсов. Я знал, что французские порты хиреют, нищают без английских судов, да и все завоеванные и зависимые страны будут стонать в удавке континентальной блокады… Но главная беда – Франция и Европа не смогут все время платить налог кровью – поставлять новых солдат. Вот что говорил мне здравый смысл! Но сколько раз я побеждал этот здравый смысл, этот пошлый опыт – ум глупцов! Да, я ощущал себя полубогом. Я столько раз был награждаем судьбой, что мои желания стали для меня единственной реальностью.

Мать сказала тогда Жерому: «Я боюсь, он гонится слишком за

многим и поэтому потеряет все». Моя набожная мать в это время прислала мне Библию с заложенными страницами. Я был слишком занят, чтобы читать то, что она там для меня отметила. Дела, суета… И еще: меня раздражали ее страхи… Но совсем недавно я нашел эту Библию и прочел то, что она для меня отметила: «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь». И еще: «Погибели предшествует гордость, падению надменность».

Впрочем, если бы даже я прочел это тогда, то только улыбнулся. Тогда я уже был всеми мыслями в Испании и Португалии…

Император усмехнулся:

– Все это – вычеркнуть… После Тильзита сразу переходим к войне в Испании. Я узнал, что испанский Бурбон и португальский Браганса[24] тайно разрешают британцам торговать, и английские суда по ночам швартуются в здешних портах.

Талейран, как всегда, первым сказал то, о чем я начинал только подумывать: «Дело не сдвинется, пока на этих тронах не будет наших королей». И еще Талейран много рассказывал мне о золоте и сокровищах индейцев, хранящихся в испанской казне. И я приказал…

Маршал Жюно уже через полтора месяца взял Лиссабон. Королевская семья бежала конечно же на английском корабле. Трон Брагансов стал моим.

И наступил черед Испании. Тот же Талейран обстоятельно информировал меня о распрях в испанской королевской семье. Это была мрачная дворцовая драма в средневековом стиле. Сын восстал против отца. Отец[25] жаловался на коварство сына[26] и хотел его арестовать. В центре интриги был всемогущий королевский фаворит Годой – он-то и был подлинным королем Испании… По предложению Талейрана я решил попросту прогнать испанских Бурбонов – отправить их вслед за Брагансами… Мои корпуса уже стояли в Испании, когда я позвал королевскую семью в Байонну улаживать их семейный конфликт. Когда они съехались, я заставил престарелого Карла передать корону «своему другу Наполеону» (так он именовал меня в письмах). После чего велел брату Жозефу стать испанским королем.

Я обратился к испанскому народу с воззванием: «Ваше правительство одряхлело, и мне суждено возродить мощь и славу Испании. Я улучшу ваши законы, и если поможете мне, то без всяких потрясений изменю течение ваших печальных дел. Я хочу,

чтобы ваши потомки имели право сказать обо мне: «Ему наше великое Отечество обязано своим возрождением». Я решил вернуть эту когда-то великую страну, дремавшую в Средневековье, в наш век. Сажая на трон брата, я собирался отменить позор инквизиции, забрать часть земель у всесильных монастырей.

Нужны были реформы, на которые, как я считал, есть достаточно денег в испанской казне. Здесь была моя первая ошибка. Казна оказалась пуста, индейские сокровища – давно промотаны.

Вторая ошибка была пострашнее. И гранды, и испанские либералы меня поняли, но неожиданно поднялись крестьяне, будем откровенны – восстал народ. Надо признать, я очень неловко провернул смену власти – безнравственность предстала слишком явной, несправедливость слишком циничной. Бесцеремонность смены власти оскорбила народ. И они, надо сознаться, повели себя, как положено людям чести.

Так началось это восстание темного фанатичного народа… да еще вдохновляемое изуверами-монахами. В считаные недели сформировалась стотысячная армия, возглавляемая плебеями. Их предводители именовались прозвищами, как у разбойников: Однорукий, Удалой…

Сначала я отнесся к испанскому сопротивлению несерьезно. Я не был осведомлен о духе этой нации, я привык биться с феодальными армиями, но не с народом. Я не понимал, что сражаюсь с испанской Вандеей, причем охватившей не одну область, как это было во Франции, а всю страну… И я был поражен, когда эти крестьяне и погонщики мулов, вооруженные кольями и пиками, нанесли поражение моим лучшим генералам… Генерал Дюпон, храбрец, которого я так любил, был окружен и разбит в битве при Байлене. Его двадцатитысячное войско сложило оружие перед вооруженным сбродом, и Дюпон дал согласие, чтобы ранцы солдат были обысканы, как чемоданы каких-то воров. Ничтожество! Это было хуже всего, что можно представить. Он потом что-то лепетал о том, что решил избавить солдат от смерти. Лучше бы все они погибли с оружием в руках! Их смерть была бы славна, и мы отомстили бы за нее. Но раны, нанесенные чести, неизлечимы! Узнав об этом, я мог только в ярости метаться по кабинету в Тюильри и бессмысленно твердить: «Верни мне честь, Дюпон!..»

В это же время я потерял Португалию. Там Веллингтон с шестнадцатью тысячами англичан разбил моего Жюно.

Между тем повстанцы взяли Мадрид. Мой брат – их король – бежал от вооруженного сброда. Так началась эта народная война.

Все мои прежние войны были молниеносны и дешевы. Из каждой кампании я извлекал прибыль в виде контрибуций. Мои войны всегда кормили сами себя. В Испании я впервые завяз – эта страшная и, главное, нескончаемая война начала пожирать огромные деньги. И еще она создала печальные трудности: общественное мнение в Европе было против. Оно расценило эту войну как «посягательство на слабого и слишком доверчивого союзника». И со злорадством следило за поражениями моих генералов.

Нет, я обязан был примерно наказать Испанию. Однако для этого нужно было послать туда не новобранцев, а подлинную армию…

Но испанское пламя уже перекинулось в Австрию. Франц заволновался, как бы моя расправа с испанскими Бурбонами не стала началом посягательств на все древние династии Европы. Мне передавали эти разговоры при австрийском дворе: «Сегодня Испания, завтра Австрия…»

Мои испанские неудачи взбодрили Вену. Я узнал, что Австрия начала военные приготовления, и Англия, естественно, поспешила дать средства… Мне совсем не улыбалось вести войну на два фронта. И я решил поручить русскому царю быть надсмотрщиком над австрийцами. И заодно проверить прочность нашего союза…

Я объявил Талейрану: «Мы едем в Эрфурт. Подготовьте договор с Александром, который удовлетворял бы царя, ущемлял Лондон и устраивал меня. Мне нужна уверенность, что в результате этого договора Австрия присмиреет, и у меня будут развязаны руки для того, чтобы чувствовать себя свободным в Испании… В остальном рассчитывайте на меня, я устрою царю великолепный спектакль, который, надеюсь, его очарует».

Я вызвал целый цветник немецких принцев и королей из Рейнского Союза. Этот великолепный съезд величеств и высочеств должен был, как некий греческий хор, постоянно выражать восторг союзом Франции и России.

Зная слабость царя к прекрасному полу, я привез в Эрфурт труппу «Комеди Франсэз». Все красавицы «Комеди» – мадемуазель Жорж, мадемуазель Дюшенуа, мадемуазель Бургонь, мадемуазель Марс – прибыли в Эрфурт. И, конечно, великий Тальма. Александр плохо слышал, и я велел переоборудовать сцену так, чтобы актеры играли прямо перед нами… И Тальма обратился к царю со словами из пьесы: «Дружба великого человека есть дар богов». Царь встал и галантно указал на меня. Мы обнялись под гром аплодисментов.

Не ошибся я и в красотках. Правда, вкус у Александра

оказался неожиданно вульгарен, и слишком пышные формы мадемуазель Бургонь произвели на него неизгладимое впечатление.

Александр спросил меня прямо:

«Вы думаете, она мне не откажет?»

«Уверен, нет, – ответил я. – Правда, через несколько дней весь Париж получит подробное описание Вашего Величества с головы до пят… не говоря уже о самом подробном рассказе о…»

Он поблагодарил меня за разъяснение, точнее, за спасение. Но это был, пожалуй, единственный момент, когда мы поняли друг друга и были солидарны.

Переговоры наши с самого начала зашли в тупик. Я откровенно объяснил царю, что в Европе должны существовать только две системы – Север и Запад… Север – его, Запад – мой… Посредниками между нами будут Австрия и Пруссия. Мы с ним – властелины мира. А наши страны – как бы Западная и Восточная Римская империи. Я предлагал ему вернуться во времена величия. Но в его глазах читал недоверие. Он жил в жалком девятнадцатом веке – веке сытых лавочников…

Перешли к делам. Я согласился, чтобы он отнял у Турции Молдавию и Валахию, обязался не восстанавливать независимость Польши. После этих подарков перешел к главному – предложил подписать договор, где были два важнейших пункта: немедленная переброска русских войск к границам Австрии и вступление царя в войну с австрийцами, если она начнется.

Но этого он не подписал! Вместо договора царь разразился упреками, отчего я до сих пор не вывел свои войска из прусских крепостей, где обещанные проливы и Константинополь?! Он не подписал даже простого письма с угрозами, которое я отправил австрийскому императору, – ограничился вялым советом послу Австрии не вступать в войну.

Я продолжал настаивать на договоре, даже накричал… испробовал любимый прием – швырнул треуголку под ноги и начал ее топтать «в приступе ярости». Ничего! К моему изумлению, царь преспокойно дождался конца расправы над треуголкой и сказал: «Со мной ничего нельзя поделать, Сир, при помощи гнева. Давайте рассуждать спокойно, или я ухожу!»

Неуступчивость царя меня поразила… Только впоследствии я узнал правду. Все сделал Талейран! Мне рассказал об этом другой негодяй, Фуше, узнавший все подробности от очередной любовницы Талейрана. Оказалось, после событий в Испании мерзавец почувствовал мою слабость и начал двойную игру. Он предупредил царя не пугаться моего гнева. Он сказал ему в своем

духе: «Властитель России цивилизован, его народ – нет, во Франции, к сожалению, всё наоборот… Наш император абсолютно невменяем, он жаждет новых войн, и все закончится невиданной катастрофой…»

Каков нюх! – император сказал это почти с восхищением. – Нет, я не зря ему прощал многое. Сохрани я его, и поныне был бы на троне… Впрочем, надо отдать ему должное – нечто подобное о грядущей катастрофе он высказал вскоре и мне.

В Эрфурте я впервые вынужден был заговорить о новом браке… пришлось… Став императрицей, Жозефина приняла на себя священную обязанность – дать Франции наследника престола. Но выяснилось, что она не могла более иметь детей (я мог – имел незаконных)… Законы жизни монархов жестоки. И корона, которая ей так нравилась, к сожалению, диктует свои правила: Жозефина должна была уйти.

Первыми об этом, конечно, заговорили со мной Фуше и Талейран. Да, я любил Жозефину, но империи нужен наследник, я не мог оставить престол добрым глупцам – моим братьям… И в Эрфурте я решил поставить политический опыт. Я попросил Коленкура (будучи послом в России, он был в доверительных отношениях с царем) поговорить об этой ситуации с Александром. Но повести дело так, чтобы царь сам предложил мне брак с русской великой княжной… Это должно было показаться царю желанным, разумеется, если он хотел упрочить наш союз…

Коленкур поговорил с царем. Но тот… ускользнул! Сказал, что в семейных делах все решает его мать, вдовствующая императрица… Уклонился!

После этого разговора я окончательно понял: Александр не хочет более нашего союза. Лошадь решила покинуть загон. России нужна Англия. Это была будущая война! Вот каков был итог…

Хитер был царь! Но при этом до смешного тщеславен. Оттого с ним бывало легко… У царя был превосходный министр Сперанский – великий ум, ненужный этой варварской стране. Мне не хотелось, чтобы царь на пороге войны имел такого министра. И я решил избавить царя от него. Для этой цели я стал… его хвалить! Я сказал: «Какой ум! Не угодно ли вам, Государь, поменять этого человека на какое-нибудь королевство?» Этой шутки оказалось достаточно. Вскоре Сперанский пал. Говорят, одним из обвинений было… что он мой шпион!

Да, Эрфурт оказался для меня печален… Немного утешила встреча с Гёте. Ему было за шестьдесят, но он выглядел очень молодо для своих лет. Он был моим кумиром в юности, и я всегда

возил с собой «Страдания молодого Вертера». Когда он вошел, я сказал торжественно: «Се человек!»

Беседа принесла мне радость. Я указал ему на слабое место в его великом романе, сказал, что отвергнутая любовь – великая трагедия и одного этого удара судьбы вполне достаточно Вертеру для самоубийства. И последующее оскорбление Вертера – уже лишнее, ибо любовь в юности бывает важнее жизни.

Гёте согласился. Великий поэт умел беседовать с правителями. Он и дальше соглашался во всем. Заговорили о роке. Я сказал ему, что нынче рок – это политика. Она определяет судьбы народов. Он согласился.

Я пригласил его в Париж. В этой столице Запада мне так нужен был король поэтов Запада… Он опять согласился. Но не приехал.

Открывая сессию Законодательного собрания, я сказал: «Я принимаю личное начальство над моей армией и с помощью Божьей короную в Мадриде испанского короля и вновь водружу моих орлов на стенах Лиссабона». Я отбыл в Испанию во главе стошестидесятитысячной армии. И после нескольких выигранных сражений подошел к Мадриду. Сначала испанцы решили сопротивляться, строили баррикады, но после сокрушительного огня моей артиллерии повстанческая армия оставила столицу, и власти города подписали капитуляцию.

Я объявил о реформах: инквизиция упразднялась, количество монастырей сокращалось на треть, пошлины упорядочивались – короче, феодальные пережитки были отменены. Испанское средневековье наконец-то кануло в Лету. Я написал в прокламации: «Я желаю быть орудием вашего возрождения. Нет такого препятствия, которое я не смог бы преодолеть… Но своим сопротивлением вы сами заставили меня присоединить к правам, которые предоставила мне ваша династия, право победы. Что ж, да будет так! Но если вы и впредь не ответите мне доверием на заботу о вашем благе, мне придется поступить с вами как с завоеванной областью, а моего брата возвести на трон более достойного народа».

В это время англичане, оставив Португалию, уже спешили на помощь Мадриду. Что ж, я поторопился к ним навстречу. При Вальядолиде я разбил англичан вместе с повстанцами – десять тысяч мертвецов оставили они на поле боя. Я отомстил за позор Дюпона!

Но в разгар успехов мне пришлось срочно выехать в Париж. Ибо в Испании я узнал нечто грозное: Австрия решила воспользоваться моим отсутствием – захватить Баварию и поднять против меня Германию.

Была и еще одна новость – не менее тревожная: я узнал, что на приеме у Талейрана, к полному изумлению гостей, появились под руку два заклятых врага – Талейран и Фуше. Эти ненавидевшие друг друга «кошка и собака» явно демонстрировали свое примирение. При этом оба повсюду рассказывали, как не одобряют войну в Испании, что эта страна уже превратилась во вторую Вандею, откуда я, возможно, к их прискорбию, не выйду живым. Более того: я узнал, что они написали письмо Мюрату, где предложили ему… трон – в случае моей смерти!

Я почувствовал: запахло переворотом. И они уже начали подыскивать удобного кандидата – ширму, за которой смогли бы править. Я не понял тогда, что они не одни. Это был голос уставших от моих завоеваний богачей… Им надоели мои победы, похожие на легенды, сытые лавочники хотели спокойно наслаждаться благополучием, которое дал им я. Они не верили, что легенда может длиться вечно. Недаром Фуше все последнее время настойчиво сообщал мне о бунтах во время рекрутских наборов.

Я был в ярости, помчался в Париж и появился перед негодяями – изумленными и перепуганными… Не ждали! Забыли, с кем имеют дело!

Я с трудом сдерживал себя. Но на первый разговор с Фуше мне хватило выдержки! Я сказал ему только: «Запомните, вы – министр полиции. И всё! Что же касается моей внешней политики – сделайте милость, не вмешивайтесь в нее. Ибо измена начинается с сомнений, продолжается критикой и заканчивается пулей!» Мерзавец молча поклонился, его лицо трупа, как всегда, было непроницаемо.

Но когда я вызвал Талейрана… сдержаться уже не смог! Этот подлец, который первым посоветовал мне прогнать испанских Бурбонов, теперь за моей спиной меня же за это и поносил!.. Он услышал от меня все матерные слова, все солдатские ругательства…

Император носился по душной каюте и бешено кричал:

– «Вы вор и подлец, для которого нет ничего святого! Вы… – (Непечатное.) – Это вы сообщили мне, где находится герцог Энгиенский, и заставили меня поступить с ним так жестоко! – (Непечатное.) – Это вы заставили меня ввязаться в дурацкую авантюру с Испанией… – (Непечатное.) – …а теперь поносите меня и объявляете, что вы меня предостерегали! Вы мразь, говно в шелковом чулке! Вы… – (Непечатное.) – … заслуживаете, чтоб я стер вас в порошок, но я слишком вас презираю, чтобы пачкать

руки о вас!» – (Непечатное.)

Он опомнился и сказал как-то устало:

– Это был не лучший монолог… Негодяй спокойно слушал. Он это умел. Он был знаменит тем, что однажды, слушая памфлет о себе… заснул! Думаю, пока я на него орал, негодяй готовил ответную реплику. И приготовил. Когда я закончил, он попросил разрешения удалиться. И, выйдя от меня, сказал: «Как жаль, что такой великий человек так плохо воспитан!» Я не мог не оценить этой фразы.

Да, вскоре я вернул Талейрана… что делать: он был единственный, с кем мне было интересно беседовать. У него был блистательный ум… и самое ужасное – я и теперь, после всех его предательств, по нему скучаю. Хотя многое теперь о нем знаю… Знаю, что вскоре после Эрфурта русский царь начал получать регулярные доносы из Франции, подписанные «Анна Ивановна». Их писал Талейран!

Нет, он не был просто шпионом. Это был все тот же голос богатых… очень устали они от моих грандиозных планов, очень боялись потерять нажитое… Ладно! Бог, которому он служил когда-то в юности, будет ему Судьей.

Император помолчал. Потом продолжил:

– После моего отъезда из Испании войну продолжали мои маршалы. Испанцы не вняли ни угрозам, ни обещаниям – сражения шли непрерывно. Это были кровопролитные битвы, и какие! Ланн взял Сарагосу, причем штурмом пришлось брать каждый дом. Уже взятый город еще три недели продолжал сопротивляться! Против солдат воевали женщины и дети… трупы лежали вповалку. На улицах копыта коней скользили в лужах человеческой крови. «Какая грустная победа, – сказал мне потом Ланн. – Я никогда не убивал столько бесстрашных, пусть и сумасшедших людей». Он был подавлен… и вскоре погиб. Мне кажется, что смерть именно тогда вошла в него. Он был лучшим моим маршалом…

Я чувствовал: штурм Сарагосы произвел тяжелое впечатление на Европу. Да, я пребывал в раздражении, но не мог отказаться от Пиренейского полуострова, это был бы конец Континентальной блокады. А между тем испанский груз давил и связывал мне руки… А руки должны были быть свободны, ибо в это время я уже понял: Австрия и Пруссия не просто волновались – император Франц окончательно надумал воевать.

Пятнадцатого августа восемьсот восьмого года Меттерних прибыл в Сен-Клу поздравить меня с днем рождения. Так они старались усыпить мою подозрительность. Но я старый воробей, и

прямо сказал ему, что знаю о настроениях в Австрии. «Надеюсь, ваш император не забыл, что не так давно я захватил вашу столицу и большую часть вашей страны. Но вернул почти все! Я часто думаю: если бы кто-то из моих врагов захватил Париж, поступил бы он с такой умеренностью?» Эти слова оказались пророческими. Думаю, Меттерниху придется их вспомнить на Страшном суде. А тогда я предупредил: если Австрия вновь начнет войну, ожидать от меня новой «умеренности» не стоит…

Но все было тщетно. Военный угар охватил Австрию. Мне доносили: в Вене сочиняют песни, зовущие к войне, их распевают прямо на улицах под овации зевак, поэты пишут подстрекательские стихи, драматурги – такие же пьесы: их играют в театрах под нескончаемые аплодисменты зала. Двор требовал войны. И Меттерниху – умному, осторожному и трусливому, – сжав зубы, пришлось идти у них на поводу. Он заявил мне: «Ваша власть и сохранение европейских престолов – несовместимы».

Я потребовал действий от русского царя, тот конечно же привычно уклонился. Я был очень раздражен и, пожалуй, впервые не контролировал эмоции. Я начал ссорится с Папой, который не хотел присоединиться к Континентальной блокаде…

Десятого апреля австрийские войска начали наступление на земли моего союзника, короля Баварии. Всего восемьдесят тысяч моих солдат стояли тогда в немецких землях, а австрийцы поставили под ружье полмиллиона. Инициатива была в руках врага – впервые я позволил это неприятелю. Армия под предводительством эрцгерцога Карла вторглась в Баварию. Австрийцы разбрасывали листовки с призывами к немцам объединиться против французов. И вскоре король вынужден был оставить Мюнхен.

Но я был уверен в своей армии. И я обещал солдатам в своем обращении: «Мы троекратно победили австрийцев, которые троекратно не сдерживали своего слова. Вы были свидетелями, как австрийский император просил мира на моем бивуаке и как теперь он этот мир нарушил. Пойдем же на врага, и пусть, увидев вас, они узнают победителей. Солдаты! Через месяц вы будете в Вене»…

Вначале я быстро сумел образумить австрийцев – нанес им шесть поражений за шесть дней. И уже двадцать третьего апреля въезжал в отбитый мною Мюнхен. Правда, неприятелю впервые удалось взять в плен отряд французов в тысячу человек. Но я поклялся, что австрийцы смоют своей кровью этот позор. И в битве при Экмюле взял двадцать тысяч пленными, почти всю их артиллерию и пятнадцать знамен.

До сегодняшнего дня я изумляюсь непостижимой памяти императора. Я проверял потом цифры – все точно.

– Эрцгерцог Карл с трудом спасся от плена – ускакал с поля боя. А потом была битва при Регенсбурге. Опять непривычно ожесточенная… Я даже был легко ранен – шальная пуля задела ступню… Весть моментально распространилась по армии… Я понял: медлить нельзя. Тут же, на поле боя, мне наспех перевязали ногу, и я вновь сел на коня при радостных кликах солдат. Но это было еще одно предупреждение – прежде пули меня избегали.

К вечеру мы взяли город и восемь тысяч пленных. Но множество австрийцев предпочли смерть в бою. Так что успех не заслонил правды – я столкнулся с непривычно упорным, ожесточенным сопротивлением австрийцев. И пожалуй, впервые! После нескольких выигранных сражений, уже направляясь к Вене, я вынужден был сжечь замок Эберсберг, стоявший насмерть. Запишите: австрийцы потеряли двенадцать тысяч убитыми и пленными, и я опять занял прославленное Молкское аббатство, где уже стоял в восемьсот пятом году. Тогда я не тронул ничего. Теперь я разрешил моим солдатам опустошить знаменитые винные подвалы монастыря.

Через два дня я уже был под Веной. Защищать город император Франц поручил брату, эрцгерцогу Максимилиану. Я предложил ему сдать столицу – пощадить дома и имущество несчастных горожан, а самому заняться каким-нибудь более полезным делом, поскольку сопротивление бесполезно. Глупец гордо отказался. Тогда я приказал батареям громить Вену. Уже через пару часов город был объят пламенем. Эрцгерцог, объявлявший еще накануне, что будет защищаться до конца и живым не сдастся, поспешил бежать, бросив столицу.

Моя ставка была в Шенбрунне – австрийском Версале. Сюда и прибыла делегация горожан с ключами от города. И я мог теперь сказать своим воинам: «Солдаты! Прошел месяц с тех пор, как неприятель вторгся во владения нашего союзника. Ровно через месяц, как я вам обещал, вы в Вене… Будьте же снисходительны к бедным горожанам, к этому доброму народу, имеющему все права на наше уважение».

Итак, Вена пала, но сопротивление не было сломлено! Воспользовавшись нашей нерасторопностью, эрцгерцог Карл успел переправить армию через Дунай и сжег все мосты. Я был в изумлении и от везения неприятеля (это было что-то новое!), и от его непривычного упорства. Я все яснее понимал – это другая война.

Теперь мне предстояло форсировать Дунай. План был совершенно ясен – переправить армию по отмели до острова Лобау, оттуда навести понтонный мост и высадить войска на левом берегу. И началась битва… столь яростная, что я еще раз почувствовал – передо мной другая армия! Они заразились духом Испании, теперь мне приходилось выцарапывать победу… И когда храбрец Ланн уже рубил австрийцев, рухнул мост. Еще один знак – судьба начинала отворачивать свое лицо! Но тогда я прогнал эту мысль…

Мне пришлось приказать отступать от столько раз битых австрийцев. Они храбро теснили нас, артиллерия била непрерывно – они многому у меня научились. И (проклятье!) я потерял лучшего – Ланна. Ему оторвало ногу ядром. Он лежал на земле уже в забытьи. А я сидел над ним. Он умер на моих глазах. Как мне будет его не хватать в Москве!

В тот день я потерял двадцать тысяч. Мы отошли обратно на Лобау – зализывать раны… Вся Европа гудела о моем отступлении. В Париже распространились слухи о моем поражении, Австрия торжествовала, говорили, что я заперт на Лобау и даже… погиб! Самое смешное: Франц послал прусскому королю радостное сообщение о моей смерти. И пригласил поглядеть на мою могилу.

По Германии прокатились бунты. В Тироле, в Вестфалии вспыхнули восстания. Это были нехорошие зарницы… В это же время англичане высадили десант в Нидерландах и грозили Бельгии.

В Париже, отвыкшем от неудач, началась паника, и ее умело раздувал Фуше. Он тотчас издал забавное воззвание: «Докажем миру, если гений Наполеона и придал великий блеск Франции, его присутствие вовсе необязательно, чтобы отразить угрозы врага». Этот вчерашний якобинец вспомнил дни революции и возродил Национальную гвардию – расторопно мобилизовал сорок тысяч гвардейцев «для отпора врагу». Вернувшись в Париж, я конечно же одобрил его меры, но хорошо запомнил: «Его присутствие необязательно». И уже вскоре Фуше расстанется с министерством полиции…

Обострились отношения и с Папой. Я настаивал на соблюдении правил Континентальной блокады и Конкордата. Папа объявил мне, что Конкордат соблюдает и моего права предлагать французских епископов не оспаривает, но лишь размышляет по поводу моих кандидатур, поэтому порой возникают задержки. Что же касается блокады, то миссия Папы на грешной земле запрещает ему принимать чью-то сторону в размолвке между чадами церкви. «Наместник Бога должен

сохранять мир со всеми…»

Я написал ему, что англичане – еретики с точки зрения его Римской церкви, я же его союзник и он обязан поддерживать меня. Ибо моя борьба с Англией должна стать борьбой Римской церкви с англиканской ересью. Но мои религиозные размышления его не убедили, и порты Папской области по-прежнему остались открыты для английских судов. И после моей первой неудачи на Дунае Папа начал распространять слухи, что это Божья кара за непочтительное обращение с Его наместником на земле.

Я угрожал: «Вы, Ваше Святейшество, духовный глава Рима, а я – его император». «Императора Римского не существует», – сообщал он мне.

Пришлось убедить его в обратном. Я написал ему, что если торговля с англичанами будет продолжаться, мне придется лишить его папских владений. В ответ Папа пригрозил: «Я не буду сопротивляться оружием. Я стану на пороге крепости Святого Ангела у входа в мои владения, и Вашим войскам придется маршировать по телу наместника Бога, который помазал Вас на царство…» Он угрожал предать меня анафеме. Я ответил, что эта оригинальная средневековая мысль немного запоздала. И просил помнить, что корона мне досталась по воле народа и по воле Божьей. И я буду для него всегда Карлом Великим, но не Людовиком Кротким.

И я приказал генералу Миолли занять Рим и Папскую область. Из Шенбрунна я подписал декрет о присоединении к Франции Папской области. Над замком Святого Ангела Папа смог увидеть печальный для него финал нашего спора – развевавшийся флаг Франции… Я понимал последствия этого шага. И вообще, я чувствовал, как все заволновалось вокруг. И как нужна сейчас впечатляющая победа!

Я укрепил Лобау, дал армии забыть неудачи и пополнил ее корпусом Макдональда, пришедшим из Италии. После побед в Далмации подошел и корпус Мармона. Теперь отдохнувшие солдаты рвались в бой – отомстить за поражение от столько раз битых австрияков… Я дочерна загорел на здешнем солнце, здоровье окрепло, нервность прошла. Я знал, в каком месте ждут меня австрийцы. Но они забыли: я всегда появляюсь совсем в другом – и неожиданно. Так было, конечно, и на этот раз.

В ночь на пятое июля в ужасную грозу под беспощадно хлеставшим ливнем я форсировал Дунай. Я вымок до нитки, но после удушающей жары последних дней это было даже приятно… На следующий день мои войска развернулись у Мархфельда. Не ждавший меня здесь эрцгерцог Карл торопливо отступил к

Ваграму. Там и должна была произойти решающая битва. Эрцгерцог расположил свои войска так, чтобы зажать меня в тиски обоими флангами своей армии. Против левого крыла австрийцев я выставил корпуса Удино и Даву. Против правого – Бернадота и Массена…

Главные силы – победоносную Итальянскую армию и мою гвардию – я оставил в резерве. Маневрируя, я все время перебрасывал их на самые уязвимые участки сражения, когда судьба боя висела на волоске, и они не раз переламывали ход битвы. Эти удачные маневры все решили. После одиннадцати часов кровопролития я разгромил эрцгерцога. Пятьдесят тысяч австрийцев легли на непросохшем после ночных дождей поле. Мне не удалось уничтожить их всех, как при Аустерлице, не хватило кавалерии… да и немецкие войска, сражавшиеся на моей стороне, не лучшим образом себя проявили. Был подозрительно не настойчив и Бернадот. Так что Карлу удалось увести остатки войск в Моравию. Но и свершившегося было достаточно…

Император помолчал.

– Над долиной Ваграма в последний раз взошло мое солнце… Двенадцатого июля ко мне явился князь Лихтенштейн, адъютант императора Франца. Я принял его нарочито мрачно. Австрийцы просили перемирия. Я сказал, что не я начал эту войну и оттого вынужден их наказать за коварство и злонамеренность. «Я знаю – ваш государь хотел встретиться на моей могиле с другими государями, моими врагами. Но, как видите, им пока придется повременить. Сообщите императору, что все города, куда вошли мои солдаты, остаются в моих руках. Это залог, пока не будет заключено перемирие…» Он испуганно согласился со всем. Кампания была закончена.

Тогда же я узнал и о тупости моих офицеров. В день битвы при Ваграме они арестовали Папу. Все наши несогласия с ним происходили во многом оттого, что Святого отца натравливали на меня кардиналы. Арестовать следовало их, и прежде всего – главного папского советника, зловредного кардинала Пакка, а Папу надо было задобрить и оставить в Риме… Что делать, мои солдаты не мастера сложных интриг… И генерал Роде (которому нужно было добиться от Папы только признания аннексии папских владений) повел себя как слон в посудной лавке. С отрядом жандармерии он вошел в Квиринальский дворец и после пары часов тщетных уговоров сообщил мне в Вену: так как Папа не захотел подписать одобрение аннексии, они его арестовали. Причем, как мне потом рассказали, генерал долго извинялся перед Папой, говорил, что он верный католик и сын Римской

церкви, но приказ есть приказ (то есть, как часто бывало, свалил всю вину на меня). Мне же в этот момент было не до Его Святейшества – я готовился к заключению мира с австрийцами. Я попросил Роде продолжить переговоры с Папой. Все это свелось к тому, что генерал еще раз попросил Папу одуматься и отказаться от владений Папской областью. Но тот, конечно же, не одумался, и его повезли в изгнание.

Итак, на «религиозном фронте» все свершилось. Моя армия заняла Рим, Папу и кардинала Пакка увезли из Вечного города… В Италии, Испании, да и во всем католическом мире, арест Папы вызвал конечно же осуждение. Во Франции взбунтовались еще вчера покорные епископы, которые все были у меня на жаловании (религиозные газеты печатали военные бюллетени куда чаще, чем жития святых, и прославляли мою армию – называли ее «небесным воинством»)… Да, история с Папой была еще одной моей ошибкой… я теперь постоянно делал ошибки. И сам с удивлением чувствовал это.

Папу доставили в Савону, где он оставался целых два года, с радостью играя роль затворника. Сам стирал свой подрясник и все время молился, устрашая охранявших его солдат. В июне одиннадцатого года я решил поселить его в Фонтенбло. Я все еще надеялся с ним помириться и перенести папский престол в Париж – новую столицу мира. «Столицей мира» Париж окончательно должен был стать после победоносной русской кампании. В том, что она случится, я уже тогда не сомневался.

Свое сорокалетие я встречал в Шенбрунне. Когда-то в этот день папа хотел канонизировать Святого Наполеона. Теперь он приготовил мне иной подарок – отлучил меня от церкви. Узнав об этом, я «сделал хорошую мину…» Я сказал: «В наше просвещенное время папского проклятья боятся одни дети и старухи. Меня объявляли вне закона и восемнадцатого брюмера, и на Корсике. Но это принесло мне только счастье». Однако, повторяю, я все время теперь совершал ошибки.

Нужно было успокоиться… В Шенбрунн я пригласил прекрасную панночку. День рождения провел в ее объятиях… и узнал, что она беременна! В очередной раз я понял – бесплодна Жозефина, со мной все в порядке… Я был обязан серьезно подумать о судьбе самой могущественной династии Европы, под чьим владычеством должна была объединиться европейская цивилизация.

А пока я составил мирный договор с Австрией. Мир, который я предложил, душил Австрию контрибуциями и потерями земель. Платой за ее вероломство были – часть Галиции, большая часть Хорватии с Истрией и Триестом, земли на западе и северо-

западе… все это отходило ко мне. Мой союзник, баварский король, получил Зальцбург и верховья реки Инн… Нет, я прилично пощипал глупого Франца за самонадеянную подлость. Вдобавок теперь он не имел права держать армию более чем в полтораста тысяч. Но все это озлобило не только будущего тестя.

Накануне подписания договора я принимал парад в Шенбрунне. Венцы любопытны, и на площади собралось огромное число зрителей. Сидя на коне, я увидел, как, рассекая толпу, ко мне протискивается молодой человек с прошением в руках. При этом он неумело прятал что-то под сюртуком. Да так неумело, что даже я, занятый парадом, это заметил. Благодушие охраны, избалованной покорностью населения, привело к тому, что его схватили совсем рядом с моей лошадью.

Оказалось, сей Брут прятал под одеждой огромный кухонный нож, которым собрался поразить меня. Я велел подвести его ко мне. Он оказался сыном протестантского священника. При обыске на груди у него нашли портрет очаровательной девушки.

Он был напуган, но взял себя в руки и заговорил решительно и вызывающе:

«Да, я хотел убить вас».

Я спросил его:

«Неужели вы способны на подобное преступление?»

«Убить вас – долг, а не преступление, – ответил он. – Ибо вы причиняете великий вред моей стране».

Он был совсем мальчик, сумасшедший идеалист, как и положено в юности одаренному человеку. Я решил его помиловать.

«Ладно, просите прощения, и я вас отпущу».

«Мне прощение не нужно, я и сейчас жалею, что не убил вас».

Я указал на портрет очаровательной девушки:

«Одумайтесь! Ведь если я вас помилую, как это обрадует ее».

«Ее обрадует только одно – если я вас убью! И, клянусь, я вас убью!»

Мне пришлось… Но его образ и потом преследовал меня…

Во время этого допроса я узнал, что мой несостоявшийся убийца приехал из Эрфурта. И я спросил его, почему он не попытался убить меня, когда я был в Эрфурте. Он ответил: «Тогда я считал, что вы дали мир моему Отечеству, теперь знаю, вы хотите его уничтожить».

«Тогда» и «теперь»… Хотя по-прежнему я был в зените могущества и славы, но уже почувствовал: близится ужасное… Тот нюрнбергский книгопродавец, которого казнили за подстрекательскую брошюру… и сегодняшний студент, которого пришлось расстрелять… и эта ярость сопротивления австрийских

солдат… Вулкан просыпался. В Европе не поняли меня – они не готовы были стать Соединенными Штатами Европы… по-прежнему хотели ютиться по жалким национальным уголкам.

Я вернулся в Париж. Гудели колокола, гремели салюты в честь моих побед… Но я был раздражен, точнее, опечален тем, что обязан был теперь сделать. После этого покушения я окончательно понял – наследник необходим Франции! Еще раз повторю: не я придумал развод. Все вокруг требовали: мои сестры, не любившие Жозефину, Фуше и Талейран, хорошо к ней относившиеся… Прежде я говорил обоим негодяям: «У меня человеческое сердце, я не могу выгнать женщину только за то, что поднялся выше… что у меня обязанности монарха».

Но теперь пришла пора признать – они были правы. И тогда мне пришло в голову то, о чем я подумал еще в Шенбрунне, в объятиях панночки…

Император остановился.

– Про панночку мы все уберем. И про ее беременность тоже. Оставим лишь: в Шенбрунне я начал думать о будущем династии Бонапартов… и о побежденной Австрии. Точнее, о ее правящей династии – Габсбургах. Древнейшая династия Габсбургов – вот кто мне нужен! Мария-Луиза, дочь Франца, сумеет подарить мне сына! Мать Марии-Луизы родила десять детей, а ее бабушка семнадцать. В этом роду женщины были плодовиты, как крольчихи. И я сказал: «Вот матка, которая нужна Франции». К тому же не худо было иметь могущественного союзника, которого связала бы со мной не только кровь на поле боя, но и кровь в жилах будущего младенца. Это стало бы упрочением династии Бонапартов в глазах Европы.

И австрийцы не только не посмели отказаться, напротив, как только я намекнул, Меттерних пришел в буйный восторг. Кто-то потом сказал, что в этом было нечто варварское. Да, варвары, осаждая Константинополь, требовали себе в жены византийских принцесс. Но я бы сказал иначе: в этом было напоминание о временах великих завоевателей!

Как только Фуше понял, что я решился, он стал особенно настойчиво требовать… того же: немедленного развода с Жозефиной и брака с австриячкой. Нынче мерзавец выставляет себя человеком, противившимся моим желаниям, на самом же деле он всегда им потакал. Да и попробовал бы иначе!

Короче, он как бы взял дело в свои руки. Сначала по его подсказке несколько сенаторов явились к Жозефине и убеждали ее «совершить благодеяние для Франции» – самой предложить мне развод. Потом Фуше сам поговорил с нею. Он сказал, что

рано или поздно, но Его Величеству придется взять другую жену и сделать ей детей. Ибо пока нет наследника, всегда есть опасность, что внезапная смерть нашего обожаемого повелителя (так он тогда меня называл) станет сигналом ко всеобщему распаду.

Но негодяй не мог не интриговать – он решил угодить мне и не потерять доверия Жозефины. Он имел дерзость намекнуть ей, будто я подослал его с этим разговором…

Я вызвал Фуше – и наорал на него. Он пропустил мимо ушей мои обвинения и сказал:

«Сир, вы сами уже давно это решили, но никак не можете пойти к мадам! И не сможете, Сир. Это для вас – самое трудное!»

Мерзавец помолчал, а потом посмел прибавить:

«Если бы императрица внезапно скончалась, это устранило бы трудности».

Я ответил ему достаточно выразительно:

«Если это “внезапно” случится, я расстреляю вас в ту же минуту!»

Однако негодяй был прав – как прийти к любимой женщине и сказать ей… Она конечно же все давно поняла… но как сказать?!

Наконец я решился. Я вошел к ней и начал без предисловий: «Мадам! У вас есть дети, у меня нет. Но мой сын нужен Франции, мне необходимо принять меры для упрочения моей династии. И для этого мне надо развестись с вами и жениться вновь… Слезы бесполезны, интересы Франции для вас и для меня должны быть превыше всего». Она упала в обморок… и мне с адъютантом пришлось переносить ее на кровать.

Я собрал семейный совет в Тюильри – в нашем дворце, который она должна была теперь покинуть. Мать, братья, сестры и она сидели за моим круглым столом, заваленным военными картами. Я и здесь обошелся без предисловий. Я сказал: «Одному Богу известно, как мне трудно исполнить свое решение. Я люблю эту женщину и буду любить до конца моих дней. Но я должен принести в жертву свои чувства. Это жертва ради Франции. Пятнадцать лет мы были вместе. Я хочу, чтобы ты, Жозефина, сохранила титул императрицы и считала меня своим лучшим другом… навсегда!»

Я положил перед ней протокол о разводе и подписал его. Она подписала вслед за мной. Я назначил ей ренту в три миллиона франков – больше, чем Папе. Еще полмиллиона я оставил ей в Мальмезоне.

За время семейного совета она не проронила ни слова. Она уехала в Мальмезон, и три дня я не мог ничего делать – впервые.

Все эти дни ее видели плачущей. После развода я отправил

ей письмо в Мальмезон: «Этот замок – свидетель нашего счастья и наших чувств, которые никогда не смогут и не должны измениться. Мне очень хочется навестить тебя… но сейчас это невозможно. Я должен знать, что ты сильная и не поддаешься страданию… Я же… немного поддаюсь и очень страдаю. Прощай, Жозефина. Доброй ночи…»

Я часто писал ей. Я очень тосковал… И наконец решился повидать ее.

Я приехал в Мальмезон впервые после развода. Она исхудала… очень мучилась. Я сказал ей: «Не поддавайся меланхолии, думай о своем здоровье… только оно и дорого мне. Покажи, что сильна и всем довольна, и ты докажешь, что любишь меня». И вернулся в Тюильри. Никогда дворец не казался мне таким… чужим.

Можно по пальцам перечесть наши свидания после развода, ибо они были мучительны для нас обоих. Помню, в самом конце декабря я пригласил ее в Трианон с Гортензией. Ужин накрыли в моем кабинете. Как в былые времена, я сел напротив ее, она – в свое кресло… Все было, как прежде. Только во время ужина стояла мертвая тишина. Она была не в состоянии что-то проглотить, и я видел, что она близка к обмороку. Я и сам дважды тайком утер глаза… Они уехали сразу после ужина.

А потом была встреча с невестой… Мои придворные долго разрабатывали этикет. Но я все поломал, у меня не было времени на эти придуманные глупости. Я встретил ее в Компьене и… прыгнул к ней в карету!

Император помолчал и добавил почти мстительно:

– И там лишил ее невинности! Завтрак нам подали уже в общую постель. – Он засмеялся. – Именно так император милостью революции должен был стать родственником Людовика и Марии-Антуанетты, казненных этой революцией… У новой жены были полные губы, пышная грудь… Несколько великоватый габсбургский нос, но зато молода… у нее тело пахло яблоками… Жениться надо на австриячках, Лас-Каз. Они свежи, как розы, и пахнут яблоками…

Я конечно же подумал: как странно все это ему говорить теперь, когда он уже знает, что «свежая, какроза» тотчас его предала и нынче живет с австрийским генералом, которого подсунули ей Меттерних и заботливый папа Франц…

Но император повторил, глядя на меня в упор:

– Жениться надо на австриячках… свежи, как розы… – И

добавил, помолчав: – Вот так я развелся с императрицей Жозефиной.

Маршан рассказал мне: «Перед смертью он был в полузабытьи… и вдруг очнулся и произнес: «Я видел мою славную Жозефину, но она не разрешила мне себя обнять».

– Тринадцать епископов отказались присутствовать на церемонии бракосочетания в знак протеста против высылки Папы из Рима. Пришлось сослать и их, лишив сана.

Париж устроил блестящий праздник. Я и новая императрица присутствовали на обеде в ратуше, потом – на Марсовом Поле, где выстроилась моя гвардия. От лица всей Великой армии гвардейцы славили брак своего императора.

Австрийский посол решил не отстать и первого июля устроил торжественный прием. И тут случилось ужасное – во время фейерверка загорелась бальная зала. Жена посла и много гостей сгорели заживо. Насмерть перепуганную Марию-Луизу я сам вынес из горящих комнат… И я еще раз убедился: мои отношения с судьбой складываются по-новому – и опасно.

Вскоре Фуше, делая доклад, подробно рассказал, что говорили в Париже. Конечно же вспоминали торжества в честь брака Людовика и Антуанетты, когда во время фейерверка сгорело множество народа, говорили, что Мария-Луиза тоже австриячка и родственница той, «от которой пошли все несчастья». Говорили и о других зловещих совпадениях и предзнаменованиях…

Фуше докладывал мне об этом с плохо скрытым злорадством. И я позаботился, чтобы этот год, кроме брака, принес мне еще одну радость – избавление от этого мерзавца. В последнее время я постоянно не ладил с ним. Он взял привычку преследовать людей моим именем, и часто я ничего не знал об этих преследованиях. Когда в ярости я вызывал его, он холодно доказывал, как опасны эти люди и какую услугу он мне оказал, посадив или выслав их. Он ловко выскальзывал из моих рук… и продолжал рыть, рыть и рыть!

Но в десятом году он наконец попался. Я узнал, что, не имея от меня никаких полномочий, он тайно начал вести переговоры с англичанами о мире. Вел он их через того же банкира Уврара. Я велел тотчас арестовать Уврара и отправить в Венсеннский замок, где он быстро все выложил следствию.

На первом же заседании Совета министров я спросил Фуше:

«Правда ли то, что показал Уврар?»

Он ответил совершенно спокойно:

«Да, Уврар сказал правду. Я вел переговоры с Англией… тайно. Ибо хотел сделать вам подарок, подготовив мир с самым опасным вашим врагом, Сир».

«Вы заслуживаете эшафота… вы понимаете это?»

«Скорее благодарности, Сир», – ответил Фуше.

Я обратился к министрам:

«Что полагается за подобные деяния?»

И они дружно подтвердили:

«Смерть!»

Но Фуше был абсолютно спокоен. Он отлично знал – наказания не будет. Он обладает изумительно изворотливым умом, так что вообще отказаться от его услуг я не мог. Но освободить от него министерство полиции – должен был. Чтобы не слишком злить опасного негодяя, я решил назначить его губернатором Рима. Главное – держать его подальше от Парижа…

Я велел ему прибыть в Тюильри и сказал:

«Я решил вас простить, хотя уверен, что совершаю большую ошибку».

Он вежливо поклонился.

«В моем сердце, – продолжал я, – есть только два города – Париж и Рим. Второй я отдаю вам».

Он вновь поклонился. И поблагодарил.

Новым министром полиции я назначил боевого генерала Савари. Знаю, выдвижение Савари заставило умных людей пожимать плечами. Да, человек он второстепенный, у него нет ни опыта, ни способностей, чтобы стоять во главе такой машины. Но зато он был мне предан, как верный пес. Он безропотно расстрелял герцога Энгиенского. Да что герцог! Вели я ему отделаться от собственной жены и детей, он и тогда не стал бы колебаться.

Фуше попросил у него три недели на сборы, чтобы «вывезти принадлежащие ему вещи». И простодушный Савари, не спросив меня, согласился. Я узнал об этом лишь на третий день и велел ему немедля ехать в министерство и гнать оттуда Фуше. Но было поздно: архив, секретные досье, знаменитая картотека осведомителей – все было предано огню или вывезено. Концы в воду! Но главное – исчезли мои бумаги! Несчастный Савари, вернувшись, сказал мне: «У меня было такое ощущение, что министерства полиции на набережной Малакке не существовало вовсе».

Я велел Савари передать Фуше: «Все мои заметки, инструкции, моя переписка… должны быть немедленно переданы мне». На что мерзавец преспокойно ответил: «Как жаль, что я не смогу исполнить желание Его Величества. Передайте императору,

что я все сжег». После чего сказал в салоне Каролины[27]: «Да, я принадлежу к партии интриганов, но к партии жертв – никогда». Так мерзавец открыто намекнул, что все припрятал.

Я вызвал его в Тюильри и потребовал:

«Отдайте бумаги».

«Я их сжег… Конечно, это наивно. Куда осмотрительнее было бы их припрятать. Вдруг Вашему Величеству придет в голову со мной расправиться…»

Так он посмел мне угрожать.

«Вы играете с огнем, Фуше. Отдайте бумаги!»

Мерзавец вздохнул и сказал, глядя мне прямо в глаза:

«Что делать, Сир… Вы столько раз на меня гневались, что я привык укладываться спать “с головой на эшафоте”… Я не стал их хранить, Сир, только потому, что верю – ваше благоволение ко мне будет неизменным. Я их сжег».

«Отдайте бумаги!»

«Я их сжег».

«Убирайтесь!»

«Я их сжег!»

«Катитесь, я вам говорю!»

И он ушел со своей гнусной усмешкой…

Вскоре после моего брака произошло еще одно событие, которое следовало причислить к числу роковых. Я совершил непростительную ошибку: королем Швеции стал Бернадот. Старую династию Ваза шведы попросту изгнали из страны… И избрали Бернадота. Он был не только моим маршалом, он был и моим родственником. Поэтому шведы имели все основания думать, что я одобрю их выбор… Но он всегда был моим врагом! И не только из зависти. Мои невинные отношения в юности с его женой Дезире вызывали мрачную ревность этого человека, да и в ее душе со временем окрепла странная обида…

Я осмелился спросить императора: не следует ли подробнее рассказать об этом? В ответ услышал обычное:

– Про Дезире конечно же следует все вычеркнуть и оставить только: «Бернадот всегда был моим врагом». Его не покидало чувство, будто я перехватил его судьбу. Это он, оказывается, должен был стать вождем революционных армий и повелителем мира. На самом деле он был хорошим генералом – и только! Да и то не всегда. Несколько раз из-за его бездарных действий мы оказывались в трудном положении.

Я не любил его, и он это знал. И боялся, что я помешаю его избранию. Демонстрируя покорность, он пришел просить моего согласия. Он говорил, что примет корону, только если это будет приятно мне. Я сам был избран народом и не стал противиться воле другого народа. Я слишком часто бывал непозволительно великодушен для истинного политика. И забывал главное правило: «Врага можно простить, но предварительно его надо уничтожить».

Так что, все зная о Бернадоте, я допустил… нет, хуже… потворствовал врагу – помог ему сесть на трон. Конечно, я сказал Бернадоту о так называемых «моих условиях». Эти условия я когда-то изложил в письме королю Голландии[28], который посмел меня убеждать, как важна для Голландии торговля с Англией. И я написал ему: «Помни, первый твой долг служить мне, второй – Франции… все другие обязанности, даже по отношению к народу, которые я тебе доверил, второстепенны».

Все это слово в слово я высказал и Бернадоту. Но с самого начала он постарался забыть мои условия. Впрочем, как забывали их и мои братья, тотчас после того, как я сажал их на очередной

трон… И уже вскоре я узнал, что Бернадот тайно не исполняет условий Континентальной блокады. Но в это время я не мог его обуздать. Я готовился к войне, которая должна была сделать всех их покорными!

К тому же случилось радостное событие, непростительно затмившее для меня все: девятнадцатого марта моя Луиза родила! Перед родами доктор спросил меня: «Если случится что-то непредвиденное – кого спасать?» Но разве я зверь? Я сказал: «Заботьтесь о матери».

Но гром пушек возвестил Франции о рождении наследника! И я сказал, показывая его придворным: «Вот он – истинный Римский король!» Никогда новорожденный в колыбели не был окружен таким сиянием славы.

Правда, Савари вскоре принес мне парижскую сплетню: дескать, отнять у Папы Рим – великий грех! И титул непременно принесет мальчику несчастье. Я не суеверен, хотя… Да, признаюсь, меня это тогда впечатлило.

Император остановился, и я уже ждал следующую – столь частую! – фразу. И он произнес:

– Это вычеркните!.. Все короли Европы спешили меня поздравить! А сколько знаменитостей и самых простых людей прислали поздравления! Одно было особенно мне приятно – от князя Харцфельда, которого я когда-то помиловал. Он стал теперь посланником короля Пруссии при моем дворе.

Напишите, что в это время я всеми силами старался избежать войны. Я отправил Коленкура в последний раз переговорить с «моим братом» – русским царем. Я велел без обиняков заявить царю о том, что сами русские, почти открыто не желающие поддерживать Континентальную блокаду, вынуждают меня думать о войне. Я велел передать Александру: «Император созывает съезд своих союзников в Дрездене. Все монархи Европы приедут поклониться императору. Это будет съезд ваших многочисленных будущих врагов. Их солдаты, поверьте, составят невиданную армию…»

Коленкур все добросовестно изложил. Но хитрый византиец полез в амбицию, заявив: «Если ваш император первым вынет шпагу, я вложу ее в ножны последним!» Он повторил слова, которые я когда-то сказал англичанам! И после этого осмелился еще и угрожать: «Пример плохо вооруженных испанцев, успешно сражающихся на своей земле с армией императора, доказывает, что европейские государства прежде губил недостаток упорства. Люди на Западе не умеют терпеть. Мои же подданные приучены терпеть всей нашей историей, и они умеют это делать получше

испанцев. Это будет долгая война. Вашему же императору, Коленкур, нужны результаты быстрые, как его мысль. В России этого не будет! Французы храбры, но долгие лишения и страшный климат изнурят их. Нас будут защищать беспощадные воины: наша зима и наши ужасные дороги. Они будут сражаться до конца вместе с нами…»

Все это Коленкур старательно мне пересказал. Он чувствовал, что делает ошибку, ибо рассказ его был мне неприятен – в нем было все, чего я опасался. Но я заставил себя внимательно выслушать Коленкура.

Я не поверил в выдержку этого женственного царя – предпочел считать сказанное хитростью византийца, человека фальшивого и слабохарактерного. Мне казалось, что он попросту боится своих бояр… боится, что они, теряя из-за блокады свои богатства, в конце концов попросту убьют его, как некогда придушили его отца. И оттого он вынужден мне угрожать. Ведь его армия – все те же русские солдаты со своими никчемными генералами, которых я бил при Аустерлице и Фридланде… Две-три такие победы – и всевластные бояре заставят его просить мира. Я считал, что русские лишены испанского патриотизма – недаром все их вельможи говорят по-французски, недаром русским все страны кажутся лучше той, где они родились, и оттого они готовы месяцами жить в Париже!

Все это я высказал Коленкуру. Он молча поклонился. Я не убедил его. Но я отнес это на счет его привязанности к Александру… И Фуше, который нынче лжет, будто остерегал меня вступать в битву с этой современной Скифией, на самом деле тоже тогда молчал. Правда… выразительно молчал! Лишь однажды сказал в чьей-то гостиной: «Карл Двенадцатый похоронил свою славу в этой дьявольской стране».

Это был все тот же голос наших богачей! Я знал: эти сытые коты не хотят более ловить мышей. Но моя судьба – иная! Что мне слава и все богатства, коли моя мечта не сбылась?! Только когда я объединю все народы Европы и Париж станет подлинной столицей мира, я смогу закончить свою войну! Я верил, что варварские народы суеверны и примитивны. Достаточно одного удара в сердце империи, достаточно занять священную для них Москву – и вся эта слепая бесхребетная масса покорно падет к моим ногам.

Итак, я решился. Рано утром я вызвал в Сен-Клу министра военного снабжения де Сессака и сказал: «То, что вы сейчас услышите, более не должен знать никто. Я решился на величайшую экспедицию, но для нее мне нужны фургоны, множество фургонов, чтобы переправить на большие… нет, на

огромные расстояния, причем в разных направлениях, небывалые массы людей. Поезжайте в Тюильри, там в подвалах лежит четыреста миллионов золотом. Не останавливайтесь ни перед какими расходами». И чтобы он все понял до конца, я добавил: «Отправным пунктом моей экспедиции будет Неман. Но об этом не должен знать никто». Мне показалось, что де Сессак побледнел. И он тоже не хотел большой войны!..

В Дрездене я собрал зависимых от меня властителей Европы. Тридцать монархов покорно приехали поклониться мне. Прусский король и австрийский император, немецкие князья – все стояли с обнаженными головами, а я – в треуголке с кокардой Французской республики. И вдруг я подумал: «А ведь это… в последний раз! Ты будто решил напоследок явиться миру во всем блеске и могуществе…»

Об этой не снятой мною треуголке много писали. На самом деле я сделал это не нарочно. Я просто был занят своими мыслями и заботами. Обо всех этих жалких монархах я не думал. Я завоевал это право – не думать о них… Я продолжал мучительно размышлять о войне с Россией. Все было так ясно, но что-то мучило… Тревожили последние события, доказывавшие, что судьба начала отворачиваться от меня…

Впрочем, в дрезденской суете, которой я все-таки отдался, меня тревожили и куда менее серьезные мысли. На торжественном обеде мой тесть вместе с мачехой моей жены сидели рядом с нами. И Луиза не придумала ничего лучше, как надеть мой подарок – колье с великолепным, необычайно крупным жемчугом. Это очень обидело ее мачеху – на австрийской императрице жемчуг был куда скромнее. И тесть попросил меня… короче, мне пришлось запретить Луизе надевать ее любимое колье. Это сражение оказалось потруднее многих! Она плакала, настаивала… Да, она была не очень умна, но для меня это всегда было великим достоинством в женщине!

Я не долго гостил в Дрездене – пора было спешить на берега Немана… До начала военных действий я побывал в Кенигсберге и Данциге. Меня сопровождали Мюрат, Бертье и генерал Рапп – начальник Данцигского гарнизона. Все трое сидели со мной в карете с тоскливыми лицами.

И я сказал: «Вижу, господа, вы разлюбили воевать. Мюрата тянет в свое королевство – еще бы, там прекрасный климат. Бертье хочет охотиться в своем великолепном поместье, где спотыкаешься о зайцев, а Рапп – жить в своем особняке. Не так ли, господа?»

Так я заставил Бертье сказать от лица всех: «Вы правы, Сир. Но ваш приказ для нас закон. И с сегодняшнего дня мы

предпочитаем войну неверной дружбе с русским царем».

«Браво!» – сказал я.

После чего Рапп попросил меня снова назначить его моим адъютантом. Он сказал: «Ваш Рапп, Сир, не разучился сидеть на коне и владеть шпагой – и не желает отсиживаться в Данциге, как жалкий инвалид».

И я смог еще раз воскликнуть: «Браво!»

Но настроение у всей троицы осталось смутным. Впрочем, сомнения не покидали и меня. Я целыми часами лежал на софе, погруженный в задумчивость, и вдруг вскакивал. Мне казалось, что кто-то меня зовет… спорит со мной: «Нет, рано! Ты еще не готов! Надо отложить годика на три!.. Да и твои союзники тоскуют о вчерашней свободе. Уверен ли ты в них? Нет!..» Видимо, я громко бормотал это вслух, потому что Рапп несколько раз появлялся в комнате: «Вы меня звали, Сир?»

Я собрал невиданную армию, состоящую из солдат всех моих союзников: голландских улан, прусских гусар, драгун из Гессен-Дармштадтского герцогства (откуда русские цари брали своих жен), польской кавалерии, португальских егерей, баварцев, саксонцев, итальянцев, хорватов, швейцарцев, испанцев. Европа шла воевать с азиатским колоссом, новый Рим готовился сразиться с варварами…

Император угадал мой вопрос и посмотрел на меня. И я осмелился:

– Вы поставили под ружье, Сир, шестьсот тысяч разноплеменного войска. Вы, который побеждали с двадцатью тысячами…

– Я захотел увидеть под знаменами Франции всю Европу. Я отлично понимал, что большинство из них – жалкие вояки, которые будут только обузой. Но в войнах будущего будут действовать именно такие огромные армии. Мне не терпелось опробовать первым… Но главное – я хотел, чтобы в битвах и победах (в которых тогда не сомневался) мы, европейцы, стали единым народом! Запишите: такое объединение рано или поздно произойдет! Военный марш под моим началом был маршем в будущее, к единой Федерации европейских наций… И еще: это было предупреждение старушке Европе: не забывай, Россия – это Азия, географически оказавшаяся в Европе, но ничего общего с ней не имеющая. Я демонстрировал Европе будущего врага… ибо в один прекрасный день Россия наводнит Европу своими казаками… Как только у них появится настоящий царь – царь с большим х…м! – вся Европа окажется у него в руках.

Три группы войск действовали против русских. Я стоял в

Восточной Пруссии – с двухсотпятидесятитысячной армией. В центре с девяноста тысячами стоял вице-король[29]. Он – хороший полководец и отличный администратор, я в нем не ошибся. И на правом фланге (в герцогстве Варшавском) расположился мой бездарный брат Жером.

В своем обращении к Великой армии я написал: «Побежденные посмели вести себя, как победители. Рок влечет за собой Россию, и ее судьба должна свершиться!..»

Только потом я вспомнил, что где-то лежала та самая ученическая тетрадка со странной надписью: «Святая Елена, маленький остров…» И далее шли пустые страницы… которые нам с вами надо теперь заполнить, дорогой Лас-Каз!

Здесь император смилостивился и разрешил мне отправиться спать. Был третий час ночи.

На следующее утро стояла ужасная духота. Солнце палило нещадно, на палубу нельзя было выйти. Несмотря на ранний час, в каюте было сущее пекло! Но император этого не чувствовал – он с яростным нетерпением поджидал меня. И, как всегда, не поприветствовав, возобновил беспощадную диктовку:

– Двадцать третьего июня, завернувшись в плащ и напялив на голову польский картуз, я отправился выбрать место для переправы. И нашел – на изгибе Немана, рядом с городком Ковно. На следующий день моя армия перешла эту реку, где я когда-то обнимался с русским царем.

Уже войдя в Россию, я узнал, что царь сумел подписать мирный договор с Турцией. Эти недостойные потомки Магомета, которые могли с моей помощью взять реванш за целый век проигранных войн, почему-то подписали этот невыгодный мир… Изменил мне и Бернадот. Если бы он был со мной, я мог бы ударить одновременно на Москву и Петербург, и обе столицы должны были пасть. Но у меня не было Бернадота, более того, уже вскоре я знал: он с моими врагами!

Итак, с юга и с севера царю теперь ничего не грозило. Оставался только запад, откуда шел я. Будто в последний раз судьба предупреждала меня… Но я был уверен в себе.

План казался ясен и так легко выполним: разбить царя в двух-трех сражениях, как я бил его прежде, отвоевать у него Польшу и территорию до Смоленска. Одна-две победы (но великие!), и можно будет подписать, как всегда, быстрый и почетный мир «на барабане». Если царь заупрямится – перезимовать в Вильно. Да, это будет нелегко для населения, но, как говаривал великий Фридрих: «Я не могу носить свою армию в

мешке, она должна что-то есть». Если же и на следующий год царь не заключит мир на моих условиях, я дойду до центра России. И останусь там, пока Александр не смягчится или его, как водится в Азии, не убьют.

Но за Неманом меня ждал некий невиданный казус: я не мог разбить русских, потому что… никак не мог их отыскать! Впереди был только дым – отвратительный запах гари от спаленных деревень… а сзади меня преследовал другой запах – страшный трупный запах от павших лошадей. Они сотнями дохли от бескормицы и нестерпимой жары… И вскоре стало понятно: русские решили изнурить мою армию трусливым отступлением по нищей местности, избегая вступить в генеральное сражение. Отступая, они увозили и население, и все припасы. Они не оставляли ни лошади, ни коровы, ни барана, ни жалкой курицы… только полусгоревшие избы. Мне передали слова царя, отступавшего вместе с армией: «Если императору так хочется, я доведу его до Урала… если он прежде не умрет с голода». Тактика варваров!

К счастью, из перехваченной переписки Жозефа де Местра[30] я узнал, что план этот, вызвавший тогда насмешливое изумление в Европе, уже начали осуждать и при дворе русского царя, и в обществе. Командующего обвиняли в трусости, даже в предательстве. Как писал де Местр: «Любимец царя маркиз Паулуччи сказал командующему русской армией генералу де Толли: «Из одного только чувства чести вы должны или подать в отставку, или переменить трусливый план. А того, кто вам его посоветовал, надо отправить в сумасшедший дом, а еще лучше – на виселицу!» Хотя… Я готов отдать должное этому варварскому, но весьма эффективному плану. Мои солдаты грозили превратиться в изголодавшихся зверей. Я понял, что если это будет продолжаться, у нас вскоре не будет даже хлеба, а у лошадей сена.

И я обрадовался этому известию об осуждении трусливого варварства. Но… оно продолжалось. Русские отступали. Я по-прежнему не видел противника, и по-прежнему впереди были однообразная степь и обгоревшие избы.

Наконец мы настигли их у Смоленска… После трехдневного сражения они оставили нам опустошенный город. Утром я осмотрел крепостные стены, построенные еще русским царем Борисом Годуновым. Оглядывая со стены через подзорную трубу пустую равнину, я понял: русская армия опять ускользнула, исчезла, как призрак.

Я отправил в Париж победный бюллетень: Россия низведена до границ древних владений московских царей! Но я уже

подсчитал истинные – и печальные! – итоги: пройдя без сражений от Немана до Двины, я потерял сто пятьдесят тысяч человек и множество лошадей. Бескормица, болезни, дезертиры… И я решился. В Смоленске я отпустил взятого в плен русского генерала. Я просил его сказать царю, что самое мое большое желание – это мир. «Но передайте царю – пусть поспешит. Иначе мне придется взять Москву. Столица, занятая противником, похожа на непотребную девку… я не смогу уберечь ее от разрушения». И еще я просил передать искренний совет «моему брату, русскому царю»: покинуть армию, и как можно скорее. «Я все время недоумеваю, что он делает в армии? Я – другое дело, это мое ремесло, – сказал я генералу. И объяснил свою заботу: – Я хочу воевать с сильным врагом». Так я подчеркнул, что хочу воевать по рыцарским правилам. И что моя война так не похожа на варварскую войну без правил, которую ведет царь, заставляя меня идти по опустошенной земле…

В Смоленске у меня был выбор: прервать кампанию, как я и предполагал раньше, и остановиться в этом сожженном городе – обустроить его, доставить сюда продовольствие. Я даже сказал Коленкуру: «Мы отдохнем здесь, укрепим свои позиции, я пополню армию поляками, и посмотрим, каково будет Александру!» Можно было также отойти назад и перезимовать в Вильно (как я задумал раньше), выписать туда из Парижа «Комеди» и с удобствами перезимовать. А потом, объявив Польшу независимым государством, опять же призвать в армию благодарных, привычных к голоду и здешнему климату поляков… Я всегда говорил, что идти дальше Смоленска – самоубийство.

Император помолчал, потом продолжил:

– Почему я все-таки пошел? Я торопился закончить кампанию, ибо Париж – как женщина, его нельзя надолго оставлять… Но главное, – сказал он с какой-то странной болью, – близость Москвы. Она пьянила… Занять Москву, а оттуда повернуть на юг – в Индию. Ведь если русский царь решит заключить мир, этого уже никогда не будет! Надо было спешить, пока он не предложил мира… И я сказал маршалам: «Не пройдет и месяца, как я буду в Москве. Поверьте, сражение не за горами, без него они не посмеют отдать столицу. И мы разобьем их! И через шесть недель получим мир. Впереди – слава!»

Я был прав – генеральное сражение было не за горами. Мы продолжали перехватывать письма де Местра и узнали, что в Петербурге теперь «самое модное – ругать Барклая де Толли за его отступление». Я давно этого ждал. Когда нация унижена, она всегда находит козла отпущения.

И вскоре де Местр с восторгом написал своему королю: все советовавшие отступать прогнаны царем, и главнокомандующим собираются сделать фельдмаршала Кутузова. Они оба были членами масонской ложи, и оттого Кутузов был особенно мил сердцу хитрого пьемонтца… И действительно, был назначен старик Кутузов (которому в каком-то сражении прострелили голову). И наконец де Местр сообщил: «Все сведущие люди полагают генеральную баталию неизбежной».

Я повеселел. Русские сами не выдержали своей страшной тактики! Они решили дать бой у стен Москвы – своей древней столицы. Кроме того, мы узнали, что русский царь последовал моему совету и уехал из армии. Кто-то из иностранцев-фаворитов (русские никогда не осмелились бы на это!) прямо сказал царю, что «одно его присутствие выводит из строя тысячи человек, необходимых для его охраны». Наконец-то они поняли, что любой говнюк во главе армии, даже этот одноглазый старик, которого я бил при Аустерлице, лучше их бездарного царя. И я сказал своим маршалам: «Как видите, они со мной согласились во всем. Пусть царь носит военный мундир, но уберет в сундук свою бесполезную шпагу. Давайте готовиться к решительной битве, которую я вам предсказал».

Отъезд царя спасал русских от многих его абсурдных решений. Все тот же де Местр написал прелестную фразу, над которой я много смеялся: «Уважение к власти в России таково, что если император захочет сжечь Петербург, никому и в голову не придет сказать, что это повлечет за собой некоторые неудобства». Он был прав – русские не могут возражать своему царю, ибо они слишком хорошие подданные. Страна рабов…

Я все чаще напевал в палатке. Из Парижа привезли несколько забавных новых романов, но я их теперь не читал. Я вновь был прежний. И маршалы повеселели. «Император – сама энергия», – сказал герцог Эльхиненский[31] Коленкуру.

Однако тон писем де Местра меня настораживал. Мы приближались к Москве, а пьемонтец писал: «Настроение в армии решительное. Да и разум говорит мне, что теперь Бонапарту не выбраться отсюда…» Они, видимо, хорошо знали о множестве могил, которые моя армия продолжала оставлять за собой – европейские желудки не выдерживали ужасной пищи. Знали и о дезертирах, которые по ночам покидали части… Великая армия таяла на глазах.

И, наконец, она состоялась – желанная битва под Москвой.

В тот день я хотел быть счастливым, но был… озабоченным. Я повелел выставить портрет Римского короля перед моей палаткой, мимо которой шла гвардия занимать боевые порядки.

Но потом повелел убрать. Я чувствовал неискренность в приветственных криках. «Сын австриячки» – так они его звали между собой… Мне донесли – кто-то уже болтал, что он-де принесет нам несчастье… что через него отомстит нам его двоюродная бабка – принесет гибель армии республики… Я повелел убрать портрет. И сказал: «Ему слишком рано глядеть на поле сражения…»

Я что-то предчувствовал – и оттого был в дурном настроении. Да, четыре месяца я жаждал этой битвы… и теперь не был весел! Я поймал себя на том, что странно бормочу: «Военное счастье – продажная девка!»

Я надел свой счастливый мундир с орденом Почетного легиона и крестом Железной Короны, долго натягивал сапоги… и вдруг ясно ощутил: старею… ноги пухнут… С трудом помочился… От простуды был заложен нос… Нет, не было обычной радости перед битвой! Подвели лошадь, я вскочил на нее… но тяжело… тяжело…

Я смотрел в подзорную трубу, как по равнине бежали в атаку маленькие фигурки. Взвился дымок – ударила батарея. Все-таки война – примитивное, варварское занятие, вся суть которого – в данный момент оказаться сильнее…

Но «данного момента» все не было. Русские в тот день стояли насмерть. Они были неузнаваемы… нет, узнаваемы – Прейсиш-Эйлау! Клочки земли, усеянные мертвецами, переходили из рук в руки. Прибежал адъютант от Нея. Маршал умолял о подкреплении, просил ввести в бой гвардию. Я сказал: «Он предлагает мне рискнуть остаться без гвардии за тысячи километров от Франции?»

В тот день победа оспаривалась с таким упорством, огонь был так губителен, что генералам приходилось платить своими жизнями, пытаясь обеспечить успех атак. Ни в одном сражении я не терял столько генералов… Моя артиллерия палила, кавалерия рубила, пехота шла врукопашную, но русские не двигались с места. Они были, как цитадели, которые можно разрушить только пушками – стреляя в упор!

Наступила ночь – русские не отступили. И только к рассвету они организованно отошли, оставив нам… двенадцать орудий! И это были все мои трофеи! Я велел отправить в Париж реляцию о победе, но я знал: русские не бежали! Мы не взяли ни одного знамени, не было пленных, одни мертвецы… Утром я прошел по полю сражения. Оно все было усеяно трупами и свежими могилами… Я узнал потом, что пятнадцать тысяч русских ополченцев всю ночь хоронили своих. И, только похоронив всех, они отошли.

Возвышенность за деревней находилась в центре нашей атаки. Теперь она вся была покрыта телами моих павших солдат… Помню, я спросил одиноко стоявшего на холме молоденького офицера, что он тут делает и где его полк. И он ответил: «Здесь». И показал на землю, усеянную синими мундирами.

Сколько погибло русских? Не знаю. Их ополченцы навсегда похоронили истину вместе с трупами. Мы же потеряли пятьдесят восемь тысяч солдат и сорок семь генералов. Русские должны были потерять намного больше… думаю, около ста тысяч. Целый народ погиб с обеих сторон. Но они были дома. А я – за тысячи километров от Франции.

Днем мы окончательно выяснили, что Кутузов отходит к Москве, и двинулись вслед за ним. Я жаждал продолжения боя. Но русская армия прошла через Москву и оставила нам город… правда, не посмев его сжечь, как Смоленск. Маршалы умоляли меня не входить в Москву, преследовать русскую армию, навязать еще одно сражение – добить одноглазого старика. Но я так ждал этой встречи со столицей Азии… загадочной Азии… И еще: я не мог дать тотчас новую битву. Непреклонность врага на поле боя надломила дух армии… я чувствовал это…

Шпионов в Петербурге у меня не было. Основным источником информации продолжали быть перехваченные письма де Местра. Из них мы узнали, что настроение в столице смутное. Мать царя и цесаревич Константин просили Александра немедля начать переговоры. Они меня боялись! Де Местр писал: «У всех при дворе вещи упакованы. Все уже одной ногой в карете и ждут, когда Бонапарт сожжет Москву, после чего отправится к Петербургу». Но в конце письма сообщал неприятное: «Слава Богу, о мире ни слова. Царь полон решимости и отвергает все предложения о мирных переговорах, идущие от матери и брата».

Почему я не пошел на Петербург? Дело тут не только в усталости истощенной, поредевшей армии. Просто я уже предвидел исход… звезда моя тускнела… вожжи ускользали из рук. Я ясно видел: чудесное в моей судьбе пошло на убыль. Судьба больше не осыпала меня своими дарами, я их вырывал у нее как бы насильно… Я все сделал, как обычно, в московской битве. Но судьба не дала мне победу…

И я решился войти в Москву. Чтобы… хотя бы увидеть мечту! Сколько раз мне снился во сне этот город!

Я стоял на высоком холме. Город лежал у ног. Как сверкали золотые купола церквей на солнце!.. Но где завораживающий колокольный звон, о котором я столько слышал? Я начал понимать… значит, и здесь нет людей?! Но, слава Богу, хотя бы

нет и отвратительного запаха гари, который преследовал меня с тех пор, как я перешел Неман…

Я ждал обычной церемонии встречи победителя, которую видел столько раз. Ждал делегацию магистрата с ключами от города, как положено в цивилизованных странах. Но никто не шел. И я спросил Коленкура: «Может, жители этого города не умеют сдаваться?» Я постоянно забывал, что имею дело с варварами, с азиатской страной, где не соблюдают европейских обычаев.

Я послал офицеров в город – привести кого-нибудь из бояр. Привели… нескольких французов – гувернеров и книгопродавца.

Я спросил его:

«Где городской магистрат?»

«Уехал».

«А где народ?»

«Выехал».

«А кто же сейчас в городе?»

«Никого».

И я понял, что он не врет.

Надо было занимать пустой город. Я дал знак – заиграл военный оркестр, и войска пошли по кривым улочкам мимо особняков с палисадниками, этаких маленьких дворцов… На улицах действительно не было людей. В зловещей тишине вымершего города музыка звучала как-то слишком громко и гулко. Пустые дома были открыты. В некоторых (как мне потом донесли) еще теплились печи. Очевидно, решение о сдаче было принято внезапно, и люди второпях оставляли столицу.

Под звуки «Марсельезы» я въехал на главную площадь города и увидел стены с островерхими башнями. В полуденном солнце купола церквей нестерпимо сверкали… Мы подъехали к главным воротам в эту крепость, называемую «Кремль». Над воротами висела икона. На площади перед Кремлем стояла огромная церковь, вся разрисованная каменным орнаментом.

Я въехал в Кремль. Здесь жили и были погребены московские цари. В этих стенах родилось их варварское могущество. Множество самых почитаемых древних храмов… Века смотрели на меня с сонных золотых куполов. Здесь застыло время. Я оказался в азиатском Египте…

Я бродил под сводами древних палат и даже присел на золотой трон московских царей. И вдруг подумал: «Мне следует умереть здесь, в Москве!»

Не успел я поразиться этой внезапной мысли, как вошел Даву. Он сообщил, что русские бросили в городе множество пушек, а вот оставшиеся пожарные насосы старательно

испортили. У них не было времени увезти пушки, но было время испортить насосы. Зачем?

И как ужасный ответ принесли воззвание губернатора Москвы. В нем варвар похвалялся, что сжег свой дом, чтобы не оставлять его нам. К вечеру Даву сообщил, что один саксонский драгун рассказал ему о фитилях, найденных в доме, где он встал на постой. Даву сказал мне, что боится, как бы русские не зажгли город. Я тоже думал об этом, но все-таки в подобное варварство поверить не мог. Сжечь свою древнюю столицу! Нет!.. Но утром схватили русского полицейского офицера, который кричал, что «скоро, скоро будет огонь!» Его привели ко мне. Сначала он показался мне сумасшедшим, но потом я подумал, что все это делается нарочно: царь решил меня запугать перед тем, как предложить мир. Я велел основательно допросить офицера. К сожалению, приказ «допросить основательно» гвардейцы поняли по-своему и несчастного расстреляли. Я не хотел этого…

Семнадцатого августа я узнал самое неприятное: русские разбили корпус Удино, который угрожал Петербургу (как мне не хватало Бернадота!). И теперь они могли не беспокоиться. Однако, как сообщалось в перехваченном письме де Местра, «все сокровища в Петербурге остаются упакованными, и двор по-прежнему готов к переезду в глубь страны». Из этого я мог заключить, что меня боятся по-прежнему и уже вскоре я увижу его – царского посланца с предложением о мире.

И опять император будто очнулся и с изумлением обвел глазами каюту. Потом усмехнулся и сказал:

– Да, мне следовало умереть в Москве… – И, помолчав, продолжил: – Москва, Москва… Уже через три дня город загорелся! Под окнами раздался крик: «Кремль горит!» Я выглянул из окна – во дворе гвардейцы расстреливали трех поджигателей, а вокруг была стена огня. Жуткое зрелище… и завораживающее! Они сжигали свою столицу… Какая решимость! Нельзя было проклинать их, не восхищаясь ими. Какие люди! Они воистину скифы… Они тоже из древности… из времен гигантов…

Маршалы потребовали, чтобы я немедленно покинул горящий Кремль. Но я не мог оторваться от этого зрелища – огонь повсюду… ярость пламени… Я ходил по залам и во всех окнах видел огонь. Попытался сесть за работу, но гарь, дым… трудно было дышать… Привели какого-то русского, который будто бы признался, что ему приказали взорвать Кремль. Мне показалось, что он попросту пьян. Думаю, мои люди подговорили его испугать меня, чтобы я наконец покинул Кремль. И я согласился… Гвардейцы вели меня по какой-то кривой горящей

улочке… Я ослеп от пепла, оглох от грохота рушившихся балок и сводов…

Меня перевезли в Петровский замок за городской чертой, где русские цари проводили ночь перед коронацией. Через пару дней, когда огонь погасили, я вернулся в Кремль. Кремль пострадал куда менее, чем можно было ожидать, но ехал я туда по совершенно выгоревшим улицам. И самое гнусное, самое страшное – я повсюду видел солдат, грабивших полусгоревшие дома. Армия на глазах превращалась в банду мародеров!..

Ко мне доставили пленного русского офицера, с которым я передал печальное письмо царю: «Государь, брат мой, великолепной красавицы Москвы более не существует, Ваши люди сожгли ее… Вы хотели лишить мою армию продовольствия, но оно в погребах, куда не добрался огонь… Мне пришлось взять Ваш город под свою опеку… Вам следовало бы оставить здесь органы власти и полицию, как это было в Вене, в Берлине и Мадриде. Так поступила и Франция в Милане, куда вошел Ваш Суворов. Так положено поступать в цивилизованных странах, где заботятся о собственных городах… Вместо этого из города вывезли все пожарные насосы, хотя оставили сто пятьдесят пушек! Я отказываюсь верить, что Вы с Вашими принципами и чувствительной душой дали согласие на эти мерзости, недостойные великого народа и его властителя…» И далее я во второй раз предлагал царю мир (такое было со мной впервые!)

Но ответа опять не было! Я понял – и не будет. Пять недель я провел в Москве, и все это время меня дурачили рассказами о мире. Дурачили при помощи глупца Мюрата, которому я приказал преследовать отступавших русских. Но, вместо того чтобы громить их, он вступил с ними в бесконечные переговоры. Они восторгались его идиотскими, расшитыми золотом куртками, чуть ли не обедали с ним вместе и говорили, что царь вот-вот согласится на мир, и оттого «не стоит стрелять друг в друга». И болван передавал мне все эти глупости. И я сам себя обманывал, не желая понимать, что над дураком попросту издеваются… А за это время армия Кутузова отдохнула и, самое страшное, – к ней подошли казачьи части, которые станут чумой для моей армии…

Император остановился:

– Последнее вычеркните. Запишите просто: я понял, что надо уходить из сгоревшего города. И побыстрее, пока еще было тепло. Да и запасы продовольствия иссякали… Маршалы предлагали зимовать в Москве и ждать подвоза продовольствия из Литвы. Но я понимал – зимой от армии уже ничего не останется, она окончательно превратится в свору мародеров.

Пятнадцатого октября я велел выступить из Москвы. Погода была отличная – сухо, тепло. Я сказал: «Нас пугали морозами, а тут прелестная осень, как в Фонтенбло. Я привез тепло с собой, друзья! Верьте в мою звезду…» Но я лукавил. Я знал – звезда моя заходит, и неудачи строятся на горизонте…

Огромный обоз, обещавший многие беды, следовал с нами из Москвы. Но я не мог запретить везти трофеи – они были напоминанием о наших успехах. Мы как бы уходили с победой… Слово «отступление» никто не произнес.

Но перед отходом я собрал свою гвардию и сказал им правду: «Солдаты, мне нужна ваша кровь».

И они прокричали: «Да здравствует император!»

Так я их предупредил. Они были самые отважные. И они все поняли. Да, мне нужна была их кровь… вся кровь. Ибо я уже знал, каким будет наше отступление…

Уходя, я решил все-таки наказать царя – приказал взорвать Кремль со всеми дворцами и храмами. Докончить то, что начал пожаром он сам. Но взрыв… не удался! Я еще раз понял: теперь мне предстоит постоянно бороться с судьбой. И принял вызов.

Помню, я написал в одном из бюллетеней: «До двадцать четвертого октября армия отступала в порядке». На самом деле беды обрушились на нас тотчас после ухода из Москвы. Я еще сумел огрызнуться, разбив русских под Малоярославцем, но после этого дела пошли совсем плохо. Начались жестокие холода, и теперь мы ежедневно теряли несколько сот лошадей.

Так мы дошли до Смоленска. Хоть и тяжело было продолжать идти в такой холод, но оставаться в сожженном городе без продовольствия и зимней одежды было еще тяжелее! И мы пошли дальше… Уцелевшие лошади скользили по обледенелой земле… падали… И все чаще гремели выстрелы. Сначала стреляли, чтобы не мучились лошади, потом… чтобы не мучились обмороженные люди, которые больше не могли идти.

Запишите, Лас-Каз: я шел по ледяной дороге в обжигающий мороз, шел пешком, как когда-то в Египте, шел, опираясь на березовый посох, вместе со своими солдатами. Ни бараний тулуп, ни меховая шапка не спасали от проклятого холода. Мюрат проиграл Тарутинское сражение, и мы отступали теперь по разоренной Смоленской дороге.

От великого до смешного – один шаг… Сколько раз мне придется это произносить во время русского отступления. Как хохотала судьба! Солдаты армии, именовавшейся Великой… оборванные, в полусгоревших в Москве шинелях, которые не грели… и поверх шинелей накручено всякое тряпье… Это была не армия, а какие-то грязные кучи со свалки… А мороз все крепчал.

Единственный талантливый русский полководец, «генерал Мороз», добивал моих солдат, и они падали от холода и голода… и умирали прямо на глазах. Но ни ропота, ни слова осуждения я не услышал! Запишите: никогда и никому солдаты не служили так, как мне – до последней капли крови, до последнего крика, который всегда был: «Да здравствует император!»

Только Старая гвардия сохранила доблестный вид. Они сбросили обтрепанные шинели и шли в одних мундирах. В высоких медвежьих шапках, синих мундирах и красных ремнях мои гренадеры были по-прежнему великолепны, они презирали русские морозы.

«Тебе очень холодно, мой друг?» – спросил я старого солдата.

«Я смотрю на вас, Сир, и мне тепло», – таков был его ответ…

На моих глазах гвардию атаковали казаки. Они налетели, как саранча. Но мои гвардейцы, повидавшие со мной все виды смерти, сомкнутым строем прошли сквозь это месиво людей и лошадей…

Я надеялся достичь реки Березины прежде русских. Холод достигал двадцати градусов, дороги обледенели, лошади падали и околевали уже тысячами: все кавалеристы шли пешком, приходилось бросать пушки, уничтожать боеприпасы.

К четырнадцатому ноября моя армия осталась без артиллерии, кавалерии и обоза. Без кавалерии я не мог разведать положение русских, а без артиллерии – вступить с ними в бой. И русские пользовались этим – казаки постоянно атаковали наши колонны. Все, что отставало от армии, становилось их добычей. Эта нерегулярная кавалерия оказалась в тех обстоятельствах полезной для русских и страшной для нас.

У реки Березины мы должны были погибнуть… русские заняли все переправы. Эта река имеет сорок туазов в ширину, берега покрыты незамерзшими болотами, и форсировать ее в лютый мороз – отчаянно. Три армии русских должны были вот-вот соединиться. Перед нами стоял Чичагов, с тыла меня неторопливо нагонял старый циклоп Кутузов (не понимавший, что шанс разом покончить с Наполеоном выпадает единожды в жизни), а с севера подходил бездарный Витгенштейн. Причем у каждого из них было больше солдат, чем во всей моей поредевшей армии.

И ночью в палатке, пытаясь согреться в жалких лохмотьях когда-то великолепного мундира, наш модник Мюрат спросил меня: «Это – конец?» Я сел и при нем стал думать за русских – как им вести сражение. И настолько увлекся (уж очень хороша была у них позиция!), что даже забыл, против кого я выстраиваю победу. Я показал Мюрату, как нас следует уничтожить. Но ему было

чуждо наслаждение красотой диспозиции. Он сделал нормальный вывод храбреца: «Ну что ж, значит, мы все погибнем – нельзя же нам сдаваться!»

Я его успокоил: «Это случится, если они будут действовать, как я, но, к нашей с вами радости, меня с ними нет…» И все-таки ночью я приказал сжечь знамена Великой армии и все донесения из Парижа. А на рассвете показал Мюрату ложный маневр, которым я обману русских, – и мы перейдем Березину. Надо было видеть, как радовался этот не самый умный и совершенно доверявший мне храбрец!

Все получилось. Я начал наводить ложную переправу южнее городка Борисова и этим маневром обманул адмирала Чичагова (с благодарностью вспоминаю имя этого ничтожества). Освободив для настоящей переправы берег реки севернее Борисова, я приказал понтонерам возвести два моста. Стоя по грудь в ледяной воде, они вбивали в илистое дно брода сваи. Был страшный мороз… кто сочтет, сколько их замерзло, ушло на дно?.. Но мосты они навели.

Наконец глупец Чичагов все понял и поспешил к настоящей переправе. Нам надо было спешить, по мосту уже били орудия. Копошащаяся масса людей и повозок торопилась перебраться на безопасный берег. Они давили друг друга, стараясь побыстрее войти на мост. Понтонеры и охрана пытались навести порядок. Но напиравшие сзади давили, затаптывали друг друга, люди падали в реку, на лед. Один из мостов рухнул, и великое множество солдат нашло приют на дне Березины… Они так и остались стоять под водой, я видел это… Обоз с московскими трофеями и казной (он вошел на мост последним) оказался там же – на дне, с мертвецами…

Русские уже подходили, когда генералу Эбле, начальнику понтонеров, пришлось взорвать второй мост. И на берегу осталось тысяч десять несчастных, не успевших переправиться. Их порубила в ярости вражеская кавалерия. Так бездарные русские генералы выместили злобу на беззащитных солдатах и маркитантах.

И все-таки после переправы я был в хорошем настроении. Это была первая маленькая победа в череде ужасов. Мне удалось сохранить пятьдесят тысяч солдат. Такова была теперь Великая армия…

Замечательно проявил себя при переправе герцог Эльхингенский. Кстати, он доставил мне особенную радость уже во время отхода из Москвы. После неудачного сражения под Красным мне сообщили, что герцог то ли погиб, то ли захвачен в плен (что куда ужаснее). Он – мой любимый маршал. Я назвал его

после Фридланда «храбрейшим из храбрых». И какой был восторг, когда я узнал, что тот, которого мы уже было похоронили, жив и, главное – не попал в плен. Редкая победа приносила мне такое счастье! Помню, я обнял герцога Эльхингенского, и мы расцеловались.

Я тогда впервые отметил, что император старательно именует своих маршалов, этих вчерашних плебеев, громкими титулами, которые он сам им присваивал.

– Дальнейшее отступление продолжалось при тридцатиградусном морозе. Падали последние лошади, не имевшие сил тащить жалкие остатки артиллерии, и тут же на них набрасывались люди, вырывая куски мяса из еще теплых трупов… Чаще всего умирали ночью. Костры наших бивуаков горели вдоль всей дороги… опасные костры! Горе тем ослабевшим, кто, немного отогревшись, засыпал возле них в эти морозы. Товарищи их будили, но несчастные умоляли оставить их и засыпали навсегда с блаженной улыбкой покоя. И дорога была покрыта замерзшими улыбающимися трупами…

Но мои усачи-гвардейцы по-прежнему поражали мощью и выправкой. Батальон Старой гвардии, являвшийся ко мне на ежедневное дежурство, всегда был в полном порядке, изумлявшем в те страшные дни. Они по-прежнему расплывались в улыбке, когда видели «своего императора».

В Вильно я смог подвести итоги кампании: Великая армия стала достоянием истории… она осталась в русских снегах. Я собрал маршалов и спросил их совета. Я сказал: «Вы знаете мою присказку: «Париж – как женщина, которую нельзя надолго оставлять одну». Я должен вернуться в Париж раньше, чем туда придут сведения о… случившемся».

«Но путешествие слишком опасно, кругом казаки, Сир», – стали возражать маршалы… Еще раз хочу отметить, Лас-Каз: казаки – это лучшая легкая кавалерия в мире. Они появлялись как привидения, нападали и исчезали. Они терзали наши тылы, перехватывали курьеров – моя связь с Францией была прервана… Однако я сказал маршалам: «Это не более опасно, чем мой отъезд из Египта. Не забывайте, господа, о моей звезде».

Но на их лицах было написано: где она, эта звезда?

Мне и самому было интересно выяснить это до конца. К тому же: жалкая, разбитая армия, привыкшая к поражениям, – что я мог с ней сделать?! И я подытожил: «Итак, господа, я вас оставляю. Я уезжаю, чтобы набрать триста тысяч новых солдат. Нужна новая армия, эта кампания – не конец войны. И русские

еще заплатят мне за победы их климата!»

Пятого декабря вместе с Коленкуром я отправился в Париж. А в ночь на девятнадцатое мы уже въезжали в Тюильри… Коленкур вам рассказал об этом путешествии? Принесите мне завтра его рассказ.

– На сегодня хватит, – сказал император и добавил насмешливо: – Вы, как всегда, изнемогли. «Изнеможение» – слово, достойное дам…

Я был уже в дверях, когда он добавил:

– Кстати, Лас-Каз, у вас появилась привычка править мои слова. Этого делать не следует. Стиль – это дыхание… я хочу, чтобы читатели услышали мое дыхание… А ошибки, огрехи… надеюсь, они простят их старому солдату!

Император не прав. Я правил его речь весьма редко, когда ошибки были вопиющи…

Коленкур рассказал мне об этом путешествии в ту самую последнюю ночь в Елисейском дворце, и тогда же я все добросовестно записал. Привожу его рассказ:

«Пятого декабря около десяти часов вечера император и я сели в деревянный возок – грубо сколоченный ящик, поставленный на полозья. На запятках сидели два совершенно замерзших адъютанта в тулупах. Несмотря на то, что император тоже был в огромном тулупе, ему должно было быть очень холодно, ибо стояли чудовищные морозы. Из четырех окон возка (весьма дурно застекленных) нещадно дуло обжигающим ледяным ветром. И всю дорогу до Германии я старательно укрывал императора полой своей огромной шубы. Но он совершенно не замечал ни неудобств, ни моей заботы.

Всю дорогу он размышлял вслух. И был удивительно оживлен… и весел, как ни странно! Впрочем, так всегда бывало с ним, когда он принимал важное решение… Много шутил, терзал меня насмешками вроде: «А что, если нас захватят по дороге и передадут англичанам? Хороши вы будете, Коленкур, в железной клетке!» (Правда, каков он сам будет в этой железной клетке – ничего не говорил.)

И вообще, к моему изумлению, он будто совершенно не переживал случившееся! Хотя не переживать было невозможно. Я помнил дорогу от Москвы до Вильно – она напоминала гигантское поле сражения. Всюду валялись трупы… До смерти не забуду колодец у пустой избы, где мы останавливались напоить лошадей, колодец был забит трупами французов, и в самой избе

лежали полуобгоревшие тела. Это «партизаны» (так именуют русские банды своих крестьян, преследовавших нашу отступавшую армию) заживо сожгли спавших солдат. И куда ни взглянешь, только вороны, на павших лошадях и человеческих трупах. И еще – пурга… ледяной ветер гнал снежные вихри, покрывавшие трупы и падаль белым ковром, что делало картину чуть менее безобразной…

Наконец император перешел к анализу случившегося. Сначала повторил свое любимое: «Меня победил только климат, и русские ответят за эту победу, они будут наказаны!» Потом сказал: «Фортуна была слишком благосклонна ко мне. Я решил в один год достигнуть того, что могло быть выполнено только в течение двух кампаний. Это была ошибка… Но я должен был взять эту столицу Азии. Кто знает, приду ли я сюда когда-нибудь еще?» И начал подробно разбирать ошибки маршалов в московском сражении. Про свои сказал весьма кратко: «Я просидел в Москве слишком долго, надеясь заключить мир. Я совершил грубую ошибку. Но в моих силах ее исправить».

И он заговорил… о новой трехсоттысячной армии, которую он наберет! Признаться, я был изумлен. Император вел себя как шахматист, проигравший очередную партию и уже думающий о следующей. Он будто забыл, что он – полководец, потерявший почти полмиллиона воинов. Население целой страны осталось на полях России… а он уже весь в мыслях о новой войне!..

Я не знаю, успели ли вы заметить, что с ним опасно и одновременно легко разговаривать – он читает мысли. И император сказал мне: «Вам непросто понять меня, Коленкур. Есть большая разница между тем, что я чувствую и что сейчас говорю. Как сносить поражение – этому я учусь впервые в жизни. И здесь главное: не сокрушаться (если ты задумал продолжить кампанию), а делать выводы. И что еще важнее – надо вернуть веселое чувство победителя, которое было со мной все эти годы и которое передается армии. Я собираюсь продолжать не оттого, что честолюбив. Бессонные ночи, бивуаки, жизнь в палатке, причуды погоды, которые надо терпеть, – все эти радости войны в моем возрасте уже тяжелы. Нет, Коленкур, больше всего я люблю покой, и все-таки… я хочу завершить свое дело. Враги сами порождали и мои войны, и мои победы. Австрия вынудила меня к Аустерлицу, Пруссия – к Йене. Но за обоими монархами всегда стояла могущественнейшая Англия. Все коалиции против меня были созданы Англией. Глупые монархи заставляют своих солдат умирать за английское богатство! Однако могущество англичан не вечно, оно обречено. Образование Соединенных Штатов в Америке – только начало… Это мое предсказание».

А потом он начал мечтать о будущих победах с новой армией… Мне тогда показалось, что император несколько запамятовал, что армии у него пока нет и набрать ее после случившегося вряд ли возможно. Но я забыл: для этого человека не было ничего невозможного…

С неправдоподобной скоростью мы покинули Россию и устремились в Польшу. Увидев в поле первого мирного крестьянина, император вдруг сказал: «Я завидую этому бедному крестьянину. В моем возрасте он уже выполнил свой долг перед родиной и может оставаться дома с женой и детьми. Мне же все только предстоит…»

В Варшаве он вызвал в гостиницу двух польских аристократов и устроил великолепное представление. Изумленным полякам, которые таращили глаза при виде императора в огромном тулупе, он заявил столь часто им повторяемое: «От великого до смешного – один шаг…» После чего долго рассказывал им о своей победе под Москвой (не распространяясь о дальнейшем) и сразу перешел к будущим победам… Потом он все-таки вынужден был рассказать о происшедшем, но весьма скупо: «Я, к несчастью, оказался не властен над русскими морозами… десять тысяч лошадей гибли у меня каждый день… Отсюда и многие беды, которые постигли армию. Но ничего – это прекрасное испытание для сильных духом! Настоящий солдат ценит испытания. И сейчас я чувствую себя великолепно. И если самому дьяволу удастся сесть мне на шею, я буду чувствовать себя так же… Я весел, господа, а нынче особенно, потому что обожаю преодолевать трудности! И оттого из всех своих великих побед я особенно ценю битву при Маренго, где сначала я вчистую проигрывал сражение, чтобы через два часа его выиграть! Через месяц я наберу триста тысяч резервистов, и вскоре ждите меня на Немане». Когда он заговорил про триста тысяч, в глазах поляков было большое сомнение. Они, как и я, забыли, что для этого человека нет ничего невозможного…

И вот наконец мы в Париже. Была ночь, когда мы въехали в великий город, проехали под Триумфальной аркой, и, к моему удивлению, никто нас не задержал. Император постарался увидеть в этом не проявление беспорядка, а хорошую примету. Он предпочитал теперь видеть во всем только обещание будущих удач.

Часы на башне пробили третью четверть двенадцатого часа ночи, когда мы высадились у подъезда Тюильри. Швейцар, вышедший на стук, не узнал ни меня, ни императора. Он позвал жену, поднес фонарь к самому моему лицу… и только тогда они меня узнали… так я зарос русской бородой.

Они тотчас позвали дежурного лакея, и тот, увидев моего спутника, скромно стоящего в стороне, вскричал: «Император! Ваше Величество!»

Император расхохотался и сказал: «Спокойной ночи, Коленкур. Вы нуждаетесь в отдыхе после такого пути… Впрочем, как и я».

Император прочел мою запись рассказа Коленкура.

– Что ж, он все понял в меру своих возможностей… – И добавил: – Она уже спала… и встретила меня сонным объятием, простодушной радостью… Женитесь на австриячках, Лас-Каз, они чужды интриг, ибо слишком глупы, чтобы в них участвовать, и подставляют свое тело со спокойной радостью исполненного долга, как будто исправно платят по векселю…

В ту ночь я долго сидел у кровати малютки. Как я его любил! Моя мать – единственная женщина, которую я по-настоящему уважал… и вот это крохотное тельце – сын… два самых дорогих существа в этом мире… Как вы поняли, Лас-Каз, все это записывать не надо…

Ну а теперь – беритесь за перо. Уже в пути я узнал о заговоре генерала Мале. Кратко опишите в рукописи этот заговор сумасшедших. Впрочем, не знаю, известны ли вам самому истинные подробности дела.

Этот Мале, полоумный роялист, содержался в Венсенском замке, а потом в Шарантоне – в сумасшедшем доме. Но иногда сумасшедшие дьявольски изворотливы, и фантазии безумных могут перевернуть мир… В конце октября этот Мале придумал сочинить прокламацию о моей гибели в России. После чего бежал из психиатрической больницы вместе с двумя другими безумцами. Дома переоделся в генеральскую форму и на рассвете приехал в казармы. Велел разбудить коменданта и сообщил полусонному глупцу о моей смерти и о том, что ему поручено… сформировать правительство!

Затем Мале освободил из тюрьмы Ла Форс двух своих друзей генералов – участников весьма противоположных мятежей – роялистского и республиканского (так что роялисты и республиканцы отлично спелись в ненависти ко мне!). Один из них, генерал Лагори, был начальником штаба у заговорщика Моро. И этот Лагори умудрился арестовать и моего министра полиции Савари, и префекта полиции Паскье! После чего они объявили о создании нового правительства. Префект департамента Сена уже готовил зал заседаний для этого правительства сумасшедших, когда наконец-то во всем Париже нашелся один здравомыслящий! Генерал Гюллен[32] с десятком

солдат попросту арестовал всех безумцев.

И я сказал себе: «Если бы министром был Фуше, никакого заговора не случилось бы…» Хотя, зная Фуше, я все-таки проверил великого интригана: не участвовал ли в заговоре он сам? Когда мы с ним встретились, я спросил его об этом в упор. Фуше ответил достойно: «Если бы я участвовал, Сир, заговор победил бы». Все это он произнес с вечной дьявольской усмешкой…

Перед приездом я послал в столицу откровенный бюллетень, где сообщил правду о гибели армии, но в конце обратился к нации с важными словами: «Люди, недостаточно закаленные, чтобы подняться над изменчивостью судьбы и военной удачи, утратили силу духа и бодрость. Но тот, кто сохранил отвагу, увидел в новых трудностях лишь новую славу». И чтобы у народа не было сомнений в этом, я приписал: «Здоровье Его Величества лучше, чем когда-либо».

Но в столице, которую я отучил от несчастий и трудностей, эти слова вызвали злорадство врагов. Савари передал мне полицейское донесение о гнусной фразе Шатобриана, которая тотчас начала гулять по салонам: «Сироты без числа, утрите слезы – ваш император здоров!»

И все-таки я рассчитал правильно. Появившись в Париже невредимым и полным энергии сразу после того, как страна прочла опасный бюллетень, я вселил уверенность во многие слабые души.

Остатки Великой армии, переданной мною Мюрату, сильно поредели. Мюрат и Ней своими бездарными действиями докончили ее разгром. Нет людей решительнее и храбрее на поле битвы, чем Ней и Мюрат, и нет нерешительнее и трусливее их, когда надо самим принять решение. Меньше двадцати тысяч солдат они вывели из России.

Я набрал новую армию. Это было нелегко. Я конечно же знал о страхах, которые сеяли в деревнях уцелевшие калеки, рассказывая об ужасах русской кампании. Так что немало малодушных уклонилось от набора. Но триста тысяч солдат я все-таки получил. Большинство из них – необстрелянные юнцы. Весной они прошли весьма упрощенную военную подготовку, и я выступил навстречу противнику… К сожалению, я принужден был держать в Испании огромную армию столь нужных мне опытных солдат. Там высадились англичане, действовали партизаны. И я не мог оголить свой южный фронт, несмотря на все мольбы моих маршалов. Это кончилось бы мгновенным крахом империи!

Все дальнейшее мне видится, как в тумане… и похоже на сон, где предательство сменялось предательством. «Дедушка Франц»,

мой родственник… я могу только презирать его. Интересы дочери, внука – плевать на них! В жилах европейских монархов течет не кровь, а замороженная политика… Очередным предателем стал Бернадот, которому я дал все – славу, богатство, возможность стать шведским королем. И вот он, француз и вчерашний якобинец – гонитель королей, сражается вместе с этими королями против Франции!.. Впрочем, вычеркните весь этот жалостливый абзац.

Но Рейнский союз оставался верен. Пока. И прислал мне солдат. Правда, тоже юнцов. И вот с этими жалкими новобранцами я начал кампанию великолепно: разбил русских и пруссаков под командованием Блюхера при Люцене. Напомнил им, что звезда Франции еще не погасла! В воззвании к армии я написал: «Вы показали, на что способны французы. И ваша победа достойна Аустерлица и Фридланда». Эти слова должны были укрепить их дух. Но я знал, что неприятель всего лишь отброшен и отнюдь не разгромлен, как в тех великих битвах. А я теряю драгоценных солдат, которые сейчас так нужны мне! Я уже чувствовал – биться придется против всей Европы. Но я был готов.

Я вновь овладел Дрезденом, и саксонский король вернулся в отвоеванный мною город… Я основательно напугал союзников – они заговорили о перемирии. Но я решил не торопиться. Чтобы заключить нужное мне перемирие, я продолжал наказывать их кровью.

Но мои маршалы… они стали так робки… Будущее их пугало, и они час от часу становились все печальнее. Они страшились потерять свое… Свое богатство, свою жизнь… Они забыли, что смерть в бою – великая честь для воина. Впрочем, честь многие из них уже потеряли, ибо теперь они жаждали только одного – жалкого мира любой ценой! Даже мой верный Дюрок с ужасом говорил: «Вот теперь и надо воспользоваться нашими победами и заключить выгодный мир. Но император прежний, он не изменился, он ненасытно ищет боя – там его жизнь. Конец будет ужасен». Как выяснилось вскоре, это была опасная фраза. Но и в глазах начальника полиции (который доносил мне об этих разговорах) была все та же мольба: «Заключите мир! Любой ценой!» Никто меня не понимал…

Я продолжал преследовать союзников и разгромил их в новой битве – при Бауцене. Тысячи убитых! И только нехватка кавалерии, погибшей в России, не позволила мне добить врага. Но я дорого заплатил за эту победу – был убит маршал Бессьер. Как всегда перед битвой он бесстрашно объезжал позиции, и ядро попало ему прямо в грудь. Он погиб, не успев ничего понять… не страдая…

Кроме Бессьера, я лишился и Дюрока – в битве под Макерсдорфом. Отчасти он сам виноват: нельзя думать о мире во время сражений. Бог войны был обижен… И ядро… я все видел, я стоял рядом… оно летело в меня, и я подумал: мечта сбылась, вот она – смерть на поле чести во время победы! Но, как и прежде бывало много раз, в меня ядро не попало. Проклятье! Оно встретило на пути дерево и, отлетев рикошетом, разорвало несчастного Дюрока… Умирая, он молил меня уйти из палатки, чтобы вид его страданий не измучил меня. Уходя, я сказал ему: «Прощай… может, мы скоро встретимся». А он ответил: «Не ранее, чем через много лет, Сир, после того как вы их всех победите». И поручил мне свою дочь…

Потом я долго сидел на пне, и ядра продолжали рваться вокруг. Но я был равнодушен, знал, что они меня не тронут… к сожалению… ибо у меня другая участь… Бедные мои маршалы шепотом говорили друг другу: «Он ищет смерти. Он хочет умереть в ореоле побед». И думаю, они молились, чтобы это случилось – тогда они тотчас смогли бы заключить позорный мир и сохранить свое жалкое достояние и свою жизнь. Ибо теперь их все больше пугало ожесточенное сопротивление врага. Даже пруссаки научились сражаться до конца, превращая в бойню поле боя!

Мне нужны были новые солдаты. Сенаторы безропотно согласились – они еще были покорны, я еще правил прежней силой. Новый набор в армию и чудеса моих побед произвели впечатление, союзники вновь попросили перемирия. Они предложили мне вернуть Пруссии отвоеванные у нее земли, распустить Рейнский союз и оказаться, как они это назвали, «в почетных границах восемьсот первого года». В границах завоеваний моей молодости. Они хотели отобрать у меня мои победы и загнать Францию в прошлое. Они не понимали меня…

В это время Пруссия и Россия попытались надавить на меня через «дедушку Франца». Австрия, подлая страна, вероломство которой я столько раз прощал, почувствовала возможность вернуть свои земли. Столько раз битые австрийцы посмели заговорить со мной языком угроз: если я не соглашусь на «почетный мир», Франц разорвет наши соглашения и примкнет к коалиции моих врагов… Даже несмотря на мой брак с его дочерью! Как сказал тогда принц Шварценберг: «Политики благословляют браки, но они же устраивают потом и разводы».

В Дрезден, где я стоял с армией, приехал князь Меттерних. По трусости, изворотливости и хитрости он превосходил Фуше и Талейрана, вместе взятых. Еще вчера эта лиса угодливо ловила мои желания и пребывала в восторге от моего брака с

австрийской самкой. Но теперь обнаглевшая лисица решила держаться тигром.

Мы разговаривали девять часов. Он посмел начать с угроз. И я понял: австрийцы уже решили предать меня.

Он сказал, что Европа устала от войн и если я буду препятствовать миру…

«Какому миру?» – прервал его я.

«Справедливому миру в границах начала ваших завоеваний, Сир. Это единственно возможный мир после ваших поражений в России».

«А после моих нынешних побед?»

«Ваши победы временны, ваши силы на исходе, вы погубили стольких солдат. У Франции, как нам известно, воевать больше некому, а ваши союзники в Европе уже готовятся стать вашими врагами».

«И мой тесть, как я понял, решил стать первым в числе предателей?»

«Его Величество прежде всего обязан думать о своем народе: Австрия – его семья».

«Я трижды оставлял на троне этого “семьянина”. В четвертый раз я не совершу эту ошибку. И, как вам известно, мне не надо указывать путь на Вену – я его хорошо освоил!»

Он хотел возразить. Но я не дал ему раскрыть рта:

«Вы хотите войны? Вы ее получите! Под Люценом я уничтожил пруссаков, под Бауценом – русских, а с вами я увижусь в Вене! У меня есть все сведения о вашей армии… к вам засланы тучи шпионов. Я знаю про вас все!»

И я бросил на стол ворох бумаг. Но он даже не потрудился на них взглянуть.

«Вы придумали жалкий мир и хотите гусиным пером отнять у меня завоеванное кровью моих солдат? Но для этого, поверьте, не хватит чернил в вашей чернильнице! Вам надо будет мобилизовать миллионы, как мобилизовал их я, и пролить столько же крови, сколько пролил ее я. Крови, князь, а не чернил! Ваши короли рождены во дворцах и, потерпев хоть сотню поражений, преспокойно возвращаются в свои дворцы, а я… я – сын военного счастья, сын великих побед, и у меня нет ничего, кроме чести и славы… А их я вам не отдам! Я не могу вернуться униженным к своему народу!»

Но он опять затянул старую песню:

«Я проходил мимо ваших солдат. Вы уже набрали детей. Когда их убьют, кого вы призовете в армию? Младенцев?»

В ответ я швырнул ему шляпу под ноги – как и в прежние времена, когда он приводил меня в ярость. Но тогда он тотчас

бросался ее поднимать, а теперь остался недвижим. И смотрел на меня с иезуитской улыбкой.

Я сказал презренному хитрецу:

«Вы не солдат. Вы не знаете, что такое душа солдата. И вам не понять, что такое привычка презирать человеческую жизнь, когда это нужно. Что для меня эти двести тысяч жизней!»

Потом он будет спекулировать этой фразой… Запишите, Лас-Каз: она вырвалась… это был гнев… я его ненавидел… хотел любой ценой его разозлить… Но ничто не могло пробить его спокойствия. Он был в себе уверен.

И я сказал тогда:

«Единственная ошибка, которую я совершил, – это женитьба на вашей эрцгерцогине. Я попытался влить молодое вино в старые мехи… Но берегитесь: если эта ошибка будет стоить мне империи, то под ее развалинами погибнет весь мир!»

Я посмотрел на шляпу на полу. Он так и не поднял ее.

Я понял – это война! И преспокойно сам поднял свою шляпу. Комедия окончилась.

Уже уходя, он сказал:

«Да, вы не изменились, Сир… Европа и вы никогда не придут к взаимопониманию. Ваши мирные договоры всегда оказывались лишь перемириями, а неудачи только с новой силой толкают вас к войне. Теперь с вами будет воевать вся Европа».

«Только не забудьте, если вы и вправду решили со мной воевать, что мне от Дрездена куда ближе до Вены, чем вашему императору до Парижа».

Меттерних молча поклонился. В приемной он сказал Бертье – сказал громко, чтобы я услышал: «Ваш повелитель попросту сошел с ума».

И тесть вступил в войну против меня. Первые двести тысяч австрийских войск присоединились к коалиции. Счастье, как говорят на моей родине, «не уставало показывать мне свою задницу».

Собираясь проучить «дедушку Франца», я хотел быть спокоен за тыл. Мог ли я оставить у себя за спиной великого интригана? Присутствие Фуше в Париже стало невозможным. Я велел привезти его ко мне в Дрезден.

«Поручаю вам генерал-губернаторство в Пруссии – я принял окончательное решение упразднить это гнусное королевство, как только его разгромлю».

В глазах мерзавца было написано: «Но для этого вам надо его разгромить, во что я не очень верю… да и вы тоже!» После чего он поблагодарил меня за оказанную честь и удалился.

Вскоре я узнал, что убрал его из Парижа вовремя. Оказалось,

по дороге ко мне он остановился в лагере у Ожеро, и оба будущих предателя имели беседу, о которой мне донес осведомитель. «К несчастью, мы хорошо научили сражаться наших врагов, теперь они умеют нас бить, – сказал Фуше. – Боюсь, что эта война покончит со всеми нами». А позже я узнал, что осведомитель передал мне эти слова… по приказу Фуше! Он все надеялся меня образумить. Призывал отказаться от войны и заключить унизительный мир!.. Его бледно-голубые, начисто лишенные блеска, глубоко посаженные мертвенные глаза… я буду помнить их до могилы…

Я разбил русско-австрийскую армию при Дрездене. Насмешка судьбы: на моей стороне сражались три немецких короля, а против меня – два бывших французских генерала – Бернадот и Моро. Моро был воистину блестящий генерал. Он приехал из Америки и по представлению предателя Бернадота стал советником у русского царя. И как только началось сражение – первым ядром был смертельно ранен. Ему ампутировали обе ноги, но спасти его не удалось – истек кровью… Так что Моро совершил длинное путешествие за своей смертью. И я тогда подумал: «Моя звезда! Опять?..» Но вскоре я буду завидовать даже его мучительной смерти, ибо он нашел ее на поле чести…

Однако тогда, во время Дрезденской битвы, я имел право вновь поверить в свою судьбу. На рассвете князь Шварценберг, еще недавно воевавший со мной против русских, а ныне командовавший войсками моих врагов, дал сигнал к началу сражения. Закончилось оно только к девяти вечера. Тридцать тысяч австрийцев и русских было убито, новые союзники потеряли большую часть артиллерии, весь обоз. Я разгромил их!

Погода в тот день была ужасная – шел чудовищный ливень! Когда я вернулся во дворец, на мне не было сухой нитки. Саксонский король рискнул заключить меня в благодарные объятия, и в ответ на него обрушился целый поток воды. Вода была всюду – в мундире, в сапогах. Моя треуголка превратилась в бесформенное месиво. «Человек, упавший в реку, был бы куда суше», – сказал мой камердинер. Я страшно продрог и чувствовал себя настолько истощенным, что не смог принять даже любимой ванны. Я рухнул в постель и велел не будить меня, что бы ни случилось.

На следующий день надо было преследовать врага и добить его, но… я не мог! Началась какая-то странная болезнь. Мучительно болело все тело, я совершенно обессилел, даже начал думать, что меня отравили… С трудом я вернулся к жизни… Судьба стала преследовать меня повсюду, она лишила меня даже результатов завоеванной мною победы!

Едва оправившись от этой странной болезни, я должен был… спасать своих маршалов! Они вдруг стали совершенно беспомощны… Макдональд был разбит в Силезии, и я избавил его от гибели, примчавшись из Дрездена на помощь. Удино потерпел поражение на пути в Берлин, я заменил его Неем… Но и Ней был разбит изменником Бернадотом, и я должен был спасать уже его… Союзники прозвали меня «Бауценский курьер». Не забыли свою кровь под Бауценом! Все эти «малые битвы» уничтожали мою армию, в то время как враг получал новые и новые подкрепления. К тому же в тылу появились отряды немецких партизан, и действовали они по образцу варварской России. Мой брат Жером, король Вестфальский, вынужден был оставить свою столицу – туда уже готовились вступить русские войска…

Мне следовало немедля идти на Берлин и занять его. Но маршалы настаивали, чтобы я остался на Рейне. Они опасались длинных переходов. А я настолько обессилел во время странной болезни, что у меня не хватало энергии их переубедить. И я отошел к Лейпцигу.

Там и состоялась главная битва. Это побоище тысячекратно описано моими врагами, как «битва народов». Да, против меня сражались все народы Европы – мои вчерашние союзники. Так что точнее было бы назвать эту битву «предательством народов». Предатель Бернадот, предатель «дедушка Франц», пруссаки со своим трусливым королем и русские с «моим братом Александром». У меня было сто шестьдесят тысяч, у врага в два раза больше. Но я побеждал и с меньшими силами!

Итак, полмиллиона человек сошлись под стенами Лейпцига. Невиданная битва – сражение будущего! Судьба Европы!

Но перед битвой я почувствовал мучительную резь в животе. Хотели вызвать врача – я запретил. Моя палатка была слишком хорошо видна отовсюду, на нее смотрела с надеждой вся армия! Нет, пока я на месте, каждый будет на своем посту… Я приказал, чтобы никто не входил в палатку, и сел на кровать, корчась от боли. Наконец она чуть поутихла. С трудом я сел на коня… И боль прошла! Волей я сумел победить ее!.. Но меня не покидала мысль: болезнь, не давшая мне довершить разгром… и эта острая боль в день решающего сражения – что это? Предчувствие? Конец?..

Битва началась счастливо. Удино с Виктором опрокинули пруссаков, Макдональд был просто великолепен против австрийцев. И поляки с Понятовским превосходно держались, а Ожеро, Мармон и Ней были достойны всяческих похвал… Но сокрушить противника до конца не удавалось. Время шло, пульс боя лихорадило… Опять русские! Они стояли насмерть и

заставили отступить в беспорядке мою конницу. Они не дали развить начавшийся великий успех.

Так закончился первый день. Вечером я произвел в маршалы бесстрашного Понятовского. И хотя превосходство в этот день было на нашей стороне, я был печален – потери оказались ужасны! Я не имел права терять стольких солдат, слишком мало их было у меня. Еще один такой победный день – и я останусь без армии!

Ко мне в плен попал австрийский генерал Мерфельд. Я приказал вернуть ему шпагу и отпустил, поручив передать моему тестю: «С некоторых пор я желаю только покоя под сенью мира. Я думаю теперь о счастье Франции так же горячо, как прежде думал о ее славе». Но союзники после столь неудачного для них дня, к моему удивлению, не откликнулись на предложение мира. Теперь я понимаю – они уже знали, что случится: завтра подлость должна была победить отвагу.

Наступил последний день битвы. И это случилось! В разгар сражения саксонцы, находившиеся в центре, внезапно повернули пушки против меня. И тотчас мне изменила вюртембергская кавалерия… Оказалось, Бернадот подослал к ним своих людей – уговаривал вспомнить, что они немцы. И уговорил… они доказали, что они – продажные немцы, позор Германии! Забыв, что такое рыцарство, они стреляли в спину вчерашним товарищам…

Но это был не конец несчастий. Беды продолжились и закончились катастрофой… Сапер, который должен был взорвать мост после отступления всей армии, услышал невдалеке случайный выстрел и принял его за условный сигнал. Мост взлетел на воздух. Четыре корпуса, двести орудий – половина моей армии и артиллерии – остались добычей противнику. И началась бойня – русские, немцы, австрийцы, шведы рубили моих беззащитных солдат. Храбрец Понятовский, пытаясь наладить переправу, бросился на коне в реку. И остался там навсегда…

В похоронном настроении собрались вокруг меня маршалы. А я сидел на скамеечке и преспокойно писал приказы. Так я их успокаивал… пока моя армия (точнее – жалкие остатки) уходила по улицам Лейпцига. Сто двадцать тысяч человек с обеих сторон полегли в этой битве. Неприятель овладел Лейпцигом, и его трусливо приветствовал мой вчерашний союзник, саксонский король, за которого я пролил столько крови своих солдат.

Я мог подвести итог: случай взорвал мост и лишил меня армии, как перед этим случай не дал воспользоваться победой под Дрезденом. Да, моя звезда зашла. Счастье окончательно отвернулось от меня!..

Впоследствии, когда я освободил Папу, мой почетный пленник, прощаясь со мной в Фонтенбло, сказал мне: «Вы решили объединить Европу железом и кровью… а Он с креста, без всяких армий, совершил это одной Любовью… Вы наказаны, Бог отвернулся от вас…»

Император остановился.

– Это вычеркните…

Впоследствии он припишет эти слова себе.

– Я отступил к Франкфурту, а потом и к Рейну. Но и отступая с жалкими остатками моей армии, я успел разбить союзников. Это дало мне передышку, и за несколько дней я выстроил линию обороны на Рейне.

Восьмого ноября вечером я вернулся в Париж. Перед моим приездом, словно в насмешку, в столицу привезли знамена. Те самые, которые мы взяли у врага в первый день печальной битвы под Лейпцигом…

Вскоре со мной простился Мюрат. Упросил отпустить его спасать свой трон в Неаполе и мои войска в Италии. Прощаясь, он смущенно прятал свои очаровательно-глупые голубые глаза. И я понял, что уже никогда не увижу его расшитые золотом куртки самых немыслимых цветов и фасонов… Смельчак бросил меня.

Отпала Голландия – генерал Лебрен бежал, мои войска покинули страну. Англичане привезли туда править принца Оранского… Была решена и судьба бедного Жозефа. Мои маршалы Сульт и Массена отчаянно сражались в Испании и Португалии – но что они могли без меня! В битве при Виттории Жозеф едва избежал плена… англичане уже готовились стать владыками Испании. И тогда я придумал… вернуть туда Бурбонов – посадить на трон Фердинанда. Я написал ему в Валансьен, где он жил в заточении, «англичане хотят насадить в стране анархию и якобинство». И предложил ему возвращение на трон и уход моих войск из Испании. В обмен он должен был подписать мирный договор и обменяться пленными – теперь мне нужен был каждый солдат. Говорят, он просто онемел, когда прочел мое письмо. Несколько раз его перечитывал, не в силах поверить свалившемуся счастью. И конечно же все подписал…

Я написал матушке: «Вся Европа восстала против меня. Мое сердце удручено множеством забот…» Впрочем, эту фразу вычеркните.

Я попросил Сенат о наборе новых трехсот тысяч. Потом еще ста восьмидесяти тысяч, а в октябре – еще ста шестидесяти: за счет призыва пятнадцатого года. Сенат согласился, но… да, я

впервые услышал от сенаторов «но»! Они посмели заговорить… о моем деспотизме! Они заявили, что мое желание продолжать войну мешает «установлению желанного мира, в котором так нуждается нация». И я ответил им: «Я представляю нацию! Если вас послушать, то я должен согласиться на позорный мир и отдать врагам все, что они требуют. Нет, тысячу раз нет! Я заключу совсем другой мир через три месяца – и это будет почетный мир, достойный моего народа! Или я погибну!»

И, клянусь, я добился бы этого! Но я не знал, что и в армии меня ждет измена. Я никак не мог собрать в кулак свои силы. Мои маршалы с их корпусами вдруг перестали быть мобильны! «Приказываю вам выступить и через шесть часов быть на поле боя! – писал я Ожеро. – Я хочу увидеть ваш плюмаж в авангарде!» Но я так его и не увидел… Это было не просто предательство. Скрытая зависть, которую они столько лет таили, теперь торжествовала. И мой Ожеро потихонечку перекинулся к австрийцам…

В это время Фуше написал мне, что, так как разгромить Пруссию, к его величайшему прискорбию, мне не удалось (насмешка, насмешка!), он решил вернуться в Париж. Я немедленно велел ему отправиться в Неаполь, к Мюрату. Едва приехав туда, мерзавец тотчас предложил Мюрату вступить в антифранцузский союз, тем самым сохранив свое королевство. Правда, на всякий случай прохвост сообщил мне об этих якобы «планах Мюрата». Впрочем, и король Неаполя сообщил мне о предложениях негодяя.

Почему я допустил эту поездку Фуше? Я был совершенно уверен в Мюрате. Но вскоре я узнал, что Мюрат… женатый на моей сестре… который нес мою корону во время коронации и правил в Неаполе под именем Иоахим Наполеон… и моя родная сестра… примкнули к австрийцам! Мюрат встретился с Меттернихом и сделал первый шаг на пути предательства – разрешил в Неаполе торговлю с англичанами. После чего согласился помочь австрийцам изгнать мои войска из Италии. Глупец уже видел себя хозяином в Риме!

Но я сумел расплатиться с ним за предательство – освободил Папу, законного владыку Рима, и отправил его в Вечный город. Так что желанного Рима Мюрат не получил… И вообще, как положено глупцу, Мюрат все делал не вовремя. Он не вовремя предал меня и не вовремя выступил за меня[33]. Жалкий глупец не знал, что бог войны ревнив и не прощает храбрецам предательства. Представляю лицо бедняги, когда его вели на расстрел…

В конце тринадцатого года союзные армии форсировали Рейн

и перенесли войну на территорию Франции. И осмелевшие сенаторы впервые обратились ко мне с требованием (да, уже с требованием!) немедленно заключить мир любой ценой. Савари предложил арестовать их, устроив «второй том дела герцога Энгиенского». Я объяснил простодушному вояке: «Первый том навсегда убедил меня в ненужности второго. Кроме того, мой бедный Савари, тогда у меня был союз с победой, а теперь мы разбиты. У Франции теперь другая роль: победительница стала жертвой».

Однако я был спокоен. Я знал, что враги пока еще боятся меня. Но, уезжая из Парижа на войну, я все-таки сжег свои секретные бумаги…

И было прощание. Я поцеловал мою Луизу и, перед тем как поцеловать сына, подбросил его к потолку и сказал: «Иду бить твоего дедушку Франца». Он смеялся. Бедный малыш… Я видел его в последний раз.

На Францию наступали три армии: предателя Бернадота и столько раз битых мною Блюхера и Шварценберга. При них находились «брат Александр», «дедушка Франц» и прусский король. Это двухсотпятидесятитысячное войско я должен был разгромить с восемьюдесятью тысячами необстрелянных рекрутов. На юге англичан Веллингтона должен был удерживать Сульт.

Моей армии не хватало обмундирования, сёдел. Порции галет, мяса и вина были урезаны. Недоставало госпиталей… и даже денег, чтобы платить жалованье солдатам. Все было не так! Но зато я… я был прежний! Два месяца я не слезал с коня. За сорок пять дней – девять побед. И это с необученной нищей армией… Запишите: кампания четырнадцатого года – венец моего искусства. И на поле боя я теперь сражался не только с неприятелем, но и с судьбой, посмевшей отказать мне в удаче.

Чтобы прокормить свои армии, Шварценберг и Блюхер разъединились. И я тотчас разработал единственно возможную тактику: передвигаясь форсированными марш-бросками, я бил их поодиночке. Русские были разбиты при Сен-Дизье, пруссаки и русские – при Бриенне. Я не посрамил город, где меня учили военному искусству, и выгнал Блюхера с пруссаками из Бриеннского замка. Они бежали, бросив раненых и обоз. В Шамбопере я вновь разбил русские войска. Тысячи остались на поле боя, в плен попали два генерала – Олсуфьев и Полторацкий. Корпус барона Сакена я отбросил за Марну, он потерял пять тысяч убитыми. При Вошане я еще раз разбил Блюхера. Целая армия бежала, оставив пятнадцать орудий и шесть тысяч мертвецов. Так напоследок я давал им наставления по военному

искусству. Восемьдесят тысяч потеряли союзники на полях боев четырнадцатого года!

Но мои маршалы… они все губили! Удино и Виктор трусливо уступили Шварценбергу. Мне пришлось броситься к ним на помощь и продолжить свои уроки, заставив отступить в беспорядке превосходящие силы Шварценберга… Маршалы начали распускать слух, будто я веду «безнадежную войну только для того, чтобы погибнуть на поле боя». Это была ложь: я верил в победу, хотя… да, хотел погибнуть!

И союзники начали уставать от моей решительности. Они не вынесли постоянного кровопролития и с февраля опять повели переговоры со мной в Шатильоне. Они предлагали мир, правда, уже в границах королевской Франции. Они так и не поняли мое «все или ничего».

В это время союзные армии соединились. Я велел Мармону охранять Париж, а сам двадцатого марта напал близ Арси-сюр-Об на объединенную армию союзников под началом Шварценберга… Артиллерия била непрерывно! Я помню, как бомба упала перед наступающим каре, и мои гвардейцы бросились прочь от дымящейся смерти. А я… шагнул к бомбе. Но тщетно! Пламя полыхнуло в метре от меня, посыпались комья земли… а меня даже не задело… Повторю: я хотел смерти! Но куда больше – победы!

При том же Арси-сюр-Об русские казаки обрушились на моих драгун. Молоденькие новобранцы не выдержали – бросились наутек. Я врезался на коне в бегущую толпу: «Драгуны! Вы бежите, но я стою!» И поскакал, выхватив шпагу. За мной бросился полк Старой гвардии, следом за ним – мой штаб и… недавние беглецы! Славно рубились! И шесть тысяч казаков, столь грозных в России, дрогнули… побежали! Подо мной был убит конь, а я… опять остался невредим.

Но в тот день я получил иную рану, воистину смертельную: я узнал, что после битвы герцог Эльхингенский спросил генералов: «Не пора ли со всем этим кончать и не дать ему погубить Францию, как он погубил армию?» Так сказал «храбрейший из храбрых». Мои маршалы больше не хотели меня…

«Дедушка Франц», Россия, Пруссия и Англия подписали пакт, где обязались вести войну вплоть до моего разгрома. Почему они так осмелели? Нет, не потому, что моя армия таяла после каждой победы. Они знали, что мне хватит и тысячи, чтобы уничтожить их стотысячное войско! Просто – уже свершилось главное предательство!

Я решил стремительной атакой окончательно отбросить армию союзников к Мецу. Шел на редкость упорный бой. Я

разгромил их кавалерию, будучи уверен, что это авангард, прикрывающий главные силы. Но за кавалерией… не было никого! И я понял – меня провели! Пока я воевал с кавалерией, союзники, и вправду вначале отступавшие к Мецу, вдруг резко изменили направление и стремительно двинулись к Парижу по дороге, которую я оставил неприкрытой… Должен признать, это был великолепный маневр! Потрясающий по дерзости ход! Я не мог поверить, что кто-нибудь из этих говнюков на него способен! И оказался прав – никто из союзников не был способен на это.

Способен был только он – самый умный (и самый подлый – «честь», которую он делил с Фуше) мой Талейран! Оказалось, он написал письмо русскому царю: «Идите на Париж, Вас там ждут все. Военное могущество императора по-прежнему велико, но политическое – ничтожно. Франция устала от него». И негодяй… да, он был прав. Устали не только мои маршалы, народ тоже устал… от славы и крови. Они все хотели покоя…

Когда я понял маневр союзников, у меня еще оставалось время. На подступах к Парижу стоял корпус Мармона. Я верил – он продержится до моего прихода. Но оказалось, Талейран и здесь все устроил – уговорил Мармона открыть дорогу на Париж. И сообщил об этом союзникам.

Мармон! Старый товарищ! Впрочем, среди стольких предательств стоит ли осуждать его? Не лучше ли просто отметить: и Мармон – тоже!..

Еще не зная ничего об измене маршала, я повернул войска и бросился к Парижу. Но когда подъехал к Сене, увидел – река в огне! Это отражались костры – враги готовили себе ужин в Париже! Они пели… Победно пели… А я стоял во мраке и глядел на ярко освещенный город… Мой Париж! Впервые за восемьсот лет неприятель вошел в столицу Франции!

Я недоумевал – где Мармон? Разбит? Убит? Что с сыном? С императрицей? С Жозефиной? Неизвестность… Одно мне было ясно: они легко заставят Сенат и Собрание изменить мне. Что делать? Я мог только приказать верному Коленкуру: «Скачите в Париж! Не дайте этим глупцам подписать…»

А пока я с войсками повернул на Фонтенбло. Наконец из Парижа прискакал гонец! Я все узнал! Когда союзники приблизились к городу, Жозеф исполнил все мои инструкции на этот случай. Он предложил императрице и сыну покинуть Париж. Мой сын плакал и лепетал: «Папа не велел нам уезжать, я не хочу!» Они отправились в Блуа, где моя Луиза… попросила защиты у своего отца! Она получила защиту «дедушки Франца», а мой сын и его внук – негласное заточение… Это все конечно же вычеркните!

А Мармон… никто по-прежнему не мог сообщить, где он! Я приказал любой ценой отыскать маршала и вручить ему приказ – немедленно занять позиции на другом берегу Сены. Я и подумать не мог, что он…

Я стянул в Фонтенбло семьдесят тысяч солдат. Этого было вполне достаточно, чтобы никто из вошедших в Париж союзников не ушел живым. Клянусь честью, я знал, как это сделать! Я собрал маршалов и начал объяснять задуманную диспозицию, но они… не захотели даже слушать! Кто-то из них попросту перебил меня: «Сир, если вам дорог Париж…»

Он не посмел сказать до конца! Да это было и ни к чему. На их жалких лицах я прочел: они уже сговорились между собой.

Наконец они заговорили. Один за другим, они все сказали, что сопротивление будет означать гибель Парижа! Что русские только и ждут этого! Что они хотят нам отомстить! И сожгут Париж, как Москву!..

«Другими словами, вы хотите моего отречения?» – спросил я.

Жалкие трусы молчали. Впрочем, один из них молча положил на стол воззвание Генерального совета департамента Сены. И я прочел: «Жители Парижа! Все ваши несчастья происходят от вопиющего произвола одного человека. Это он ежегодными рекрутскими наборами разрушил ваши семьи. Это он закрыл для нас моря, обескровив нашу промышленность…» И прочее… Далее шли слова «о наших добрых старых королях»… и призыв к возврату Бурбонов!

Я швырнул бумажонку на стол! Они безумны! Возвращать Бурбонов?

В это время Коленкур закончил первые переговоры с «моим братом Александром». И привез мне их результаты… Византиец хитрил – он обещал «попытаться (это слово особенно мне запомнилось) уговорить союзников сохранить корону за Римским королем, но за это…»

Коленкур не посмел продолжать.

«Так чего же они от меня требуют за это?»

«Больших жертв… чтобы сохранить корону вашему сыну. Отречения, Сир… “Иначе на трон сядут Бурбоны”, – так сказал Александр».

«Как? И он тоже думает об этом? – Я расхохотался. – Бурбоны во Франции? Да они и года не продержатся!.. Они там все с ума посходили! Они забыли, что была кровавая революция… для того, чтобы во Франции не было никаких Бурбонов! Навсегда!»

Коленкур молчал… Он привез мне прокламацию союзников. Они составили ее перед тем, как войти в Париж. «К вам обращается вооруженная Европа, собравшаяся у стен вашей

столицы… – так нагло писал этот вонючий австрияк князь Шварценберг, который в русскую кампанию, командуя австрийским корпусом, бездарно погубил своих солдат. – Мы обязуемся сохранить ваш город в целости и сохранности…»

Еще бы! Они готовы были обещать что угодно, только бы меня прогнали. Ибо, даже войдя в Париж, они по-прежнему меня боялись!..

Утром я вновь собрал маршалов – ни я, ни они еще не знали о предательстве Мармона. Но зато они узнали от Коленкура о разговоре с русским царем. И все они – Ней, Макдональд, Лефевр… все, кому я дал титулы, славу, состояния, молча смотрели на меня, ожидая отречения.

Но я сказал: «У нас семьдесят тысяч солдат в строю!» Как я надеялся увидеть в их глазах знакомую жажду битвы… этот огонь! Ну хотя бы огонек… отблеск вчерашней славы… Но на лицах был только страх – они смертельно боялись, что я снова позову их в бой! И, перебивая друг друга, заговорили о выгодах моего отречения… Глупцы! Три месяца я вел успешную войну, имея лишь жалкие остатки моих войск. И тем не менее союзники заплатили дорогую цену – восемьдесят тысяч их солдат лежит в полях Франции. Если бы Париж продержался еще сутки, ни один немец не ушел бы обратно за Рейн!..

Я сказал это маршалам. Но они были непреклонны в своей трусости.

«Франция устала, Сир, – сказал “храбрейший из храбрых” герцог Эльхингенский. – И армия не хочет более воевать».

«Армия подчиняется мне!»

«Армия подчиняется своим генералам, Сир».

Это была открытая угроза. Но я не мог позволить им опозориться – предать меня перед всем миром. И я помог им.

«Хорошо… Итак, господа, во имя счастья моего народа я согласен пожертвовать его величием. Ибо это величие может быть добыто только усилиями, которых, как вы сейчас заявили, я более не вправе требовать от сограждан. Ну что ж, Франция действительно щедро отдавала мне свою кровь. Так что успокойтесь, господа: я проиграл – я один и должен страдать. Я согласен отречься. Вам не придется больше проливать кровь на полях славы, вы захотели покоя, что ж, получайте его! Но запомните то, что я вам сейчас скажу. Мы с вами не из тех, кто создан для покоя, и мирная жизнь на пуховых подушках скосит вас куда быстрее, чем война и жизнь на бивуаках!»

Уже подписывая отречение, я все-таки сказал: «А может, пойдем на них? Ведь мы их разобьем!»

Но мои маршалы испуганно молчали… Запишите, Лас-Каз:

если бы они не предали меня, я в несколько часов выгнал бы союзников из Парижа и восстановил свое величие!.. Сейчас я стыжусь своего отречения – это была моя слабость, вспышка темперамента, подавленная ярость. Запишите: император был охвачен презрением, отвращением к своим вчерашним соратникам. И то, что произошло далее, случилось из-за этого…

В Фонтенбло есть комната на первом этаже, с окнами в шумный двор. Еще будучи Первым консулом, я всегда занимал ее. Жесткая кровать, похожая на походную, колокольчик, которым я звал секретаря посреди ночи, когда мысли приходили в голову… Там, на столике рядом с кроватью, я и приготовил пузырек с опиумом. Да, я решил умереть императором. Пусть не от руки врага, раз Господь мне этого не позволил, а от собственной руки… Но Он не дозволил и этого. Яд не подействовал, хотя были невероятные мучения. Привели медика, я просил дать мне еще… но конечно же он не дал. И слава Богу! Никогда не прощу себе этого! В подобном конце не было бы величия, только жалкая человеческая слабость. Герой должен бороться до конца… Тот, кто управлял судьбами человечества, не смеет быть похожим на проигравшегося игрока. Борьба до конца, непреклонность – вот удел тех, кто бросает вызов судьбе!..

Он замолчал. Сидел недвижно. Потом продолжил:

– Конечно, не надо об отравлении… Запишите: от десятидневного душевного волнения я сделался внезапно болен, однако после вмешательства медика уже наутро проснулся совершенно здоровым… К сожалению, утром я узнал, что мой любимый камердинер Констан и мамелюк Рустам, которого я вывез из Египта… – Император махнул рукой: – Впрочем, если предали маршалы, что спрашивать со слуг!..

В это время Коленкур ездил между Фонтенбло и Парижем. В моем Енисейском дворце разгуливали главы союзных держав… как некогда я в их дворцах… Во время одного из совещаний Александр подготовил сюрприз моему посланцу, сказав: «Вы предлагаете нам регентство императрицы как единственно возможную форму управления страной. Вы уверяете нас, граф, что исходите при этом из несокрушимой верности армии вашему императору. Но знаете ли вы, что многотысячный корпус маршала Мармона перешел на нашу сторону? При этом Мармон сделал знаменательное заявление. “Декретом нашего Сената армия освобождена от присяги императору. Отказываясь сражаться на стороне императора, я хочу тем самым способствовать сближению народа и армии, чтобы избежать гражданской войны…” Так что если ваш Сенат и даже некоторые

маршалы считают себя свободными от обязательств перед Бонапартом, почему мы, воевавшие с ним, потерявшие сотни тысяч подданных, должны иметь какие-то обязательства перед династией узурпатора? Нет, потомки человека, погрузившего всю Европу в кровь и ужас, не должны занимать один из могущественнейших тронов мира».

Коленкур, вернувшись, пересказал мне все это и добавил:

«Да, Сир, ситуация совсем изменилась. Они против вашей династии на французском троне. Они требуют вашего отречения не только за себя, но и за сына. За это они готовы передать вам в управление небольшой остров. Это – Эльба, недалеко от Италии. Плюс два миллиона ренты… и армию в несколько сот…»

Я посмотрел на него, и он поправился:

«…и отряд в несколько сот гвардейцев».

«Ну что ж, Коленкур, они решили забрать из подвалов Тюильри все мое золото и драгоценности, щедро оставив мне из моих же ста пятидесяти миллионов два. Они решили также забрать все мои владения – владения императора, коронованного Папой, наградив меня жалким островом… Сколько раз я бил их всех, но был великодушен. Как выяснялось – непозволительно. Что ж, Бог нас рассудит, а сегодня я согласен на эти подлые условия… Я знаю этот крошечный островок, бывал там когда-то в юности. Воздух там чист, люди честны, и надеюсь, моей дорогой Луизе будет там хорошо… да и мне надо бы отдохнуть от пережитого и прийти в себя после бесконечных предательств».

«Но вы должны подписать…» – сказал Коленкур.

И протянул текст, составленный союзниками: «Поскольку Наполеон является единственным препятствием к миру в Европе, я отказываюсь за себя и потомков своих от тронов Франции и Италии…»

Но я приписал к бездарному тексту: «…ибо готов пожертвовать ради блага Франции всем, в том числе и жизнью».

За окном светало, взошло солнце, чудесный, помню, начинался денек… Оказалось, вчера в Фонтенбло приехала она… графиня Валевская… но мне об этом доложили только под утро. Не осмелились войти в кабинет, пока мы не закончили с Коленкуром, и бедная графиня прождала всю ночь. Когда я узнал об этом, попросил отнести ей записку: «Мария, ваши чувства тронули меня до глубины души, они так же прекрасны, как Вы и Ваше сердце. Вспоминайте обо мне по-хорошему».

Я не мог увидеть ее побежденным, я еще не привык к этой новой роли, сулившей… столь много интересного!

* * *

Император обвел глазами каюту. Я уже писал про эту странность его взгляда. В нем – недоумение. Он живет там и, когда возвращается из воспоминаний, часто в первое мгновение не может понять, где он находится. А поняв, начинает оценивать продиктованное.

Император усмехнулся.

– Да, вы правы. Я хочу вымарать все про графиню Валевскую. – И продолжил диктовку: – Но пора было прощаться с дворцом. И тут я с изумлением понял, что совершенно его не знаю… не было времени разглядывать – я слишком торопился жить. И теперь с любопытством, будто впервые, рассматривал комнату, где сидел… которую теперь будут называть «комнатой отречения»… Маленький трон с моим вензелем, розовый штоф на стенах… Напоследок я прошелся по роскошным залам – особенно меня поразили великолепные камины.

Я стал спускаться во двор, называвшийся (кажется, со времен Генриха Четвертого) «Двор Белого коня». И вдруг понял, что пологая лестница, по которой я шел, расходится в обе стороны, повторяя форму подковы. И только сейчас сообразил – в старину по ней во дворец въезжали на конях…

Во дворе выстроилась Старая гвардия. Барабаны били «поход». Я медленно спускался по лестнице-подкове и думал: что я им скажу? Им и истории… Я был в походном сером сюртуке и треуголке – таким они знали меня в дни нашей славы.

И я сказал им: «Двадцать лет мы шли вместе по дороге чести и славы. Союзники подняли против меня всю Европу… и часть моей армии изменила долгу. Да и сама Франция захотела иной судьбы. И вот я ухожу… но вы остаетесь. Если я решился продолжать свою жизнь, то только для того, чтобы поведать миру о ваших подвигах! Как бы я хотел прижать к сердцу, расцеловать на прощание всех вас… Позвольте мне по крайней мере поцеловать наше знамя. Прощайте, боевые друзья! Прощайте, дети мои!»

И я поцеловал край знамени моей гвардии. Они плакали, боялся заплакать и я… Я смог только добавить: «Служите Франции. И оставайтесь всегда храбрыми… и добрыми».

Уже из окна кареты я обернулся назад – на лестницу-подкову, на «Двор Белого коня». Теперь он навсегда станет «Двором Прощания»…

Все было кончено. Все здесь уже принадлежало Истории!

На этой фразе император отпустил меня на покой.

Последняя диктовка меня странно взволновала. Я долго не мог заснуть… А заснув, уже через час проснулся от яростного шума волн. Посреди ночи разыгралась буря. Огромный корабль плясал в гигантских волнах. Я подумал: неужели это конец… о котором он столько мечтал? Но на рассвете все стихло так же внезапно, как началось.

Утром я принес ему переписанное. Он спросил:

– Испугались ночью?

Я вынужден был кивнуть.

– Впредь не бойтесь. Мы оба обречены жить до тех пор, пока не свершим задуманное… Только после этого… – Он засмеялся. – Только тогда нас освободит Господь… В молодости я был совершенным вольтерьянцем, но теперь все больше убеждаюсь в Его присутствии… Ладно, продолжим…

Итак, мы уехали. Дворец исчез за поворотом. По пути во Фрежюс я сумел убедиться в «постоянстве народной любви». «Смерть тирану!» – вот что я слышал теперь из окна кареты вместо привычного «да здравствует император!». На первой же остановке сопровождавшие нас представители союзников убедили меня снять свой слишком знаменитый мундир. И мундир моих побед я сменил на платье жалкого беглеца, страшившегося собственного народа. Народа, которому я дал бессмертную славу… Из окна кареты я видел, как сжигали мое чучело, обмазанное дерьмом… все это надо было вынести… Я знаю, я все это уже говорил. Но я готов сто раз повторить этот рассказ о народной благодарности! Одно только радовало: я не увидел, как столько раз битые мною пруссаки и русские маршировали по парижским бульварам. Господь избавил меня от этого…

* * *

После диктовки император предложил прогуляться. Мы вышли на палубу. Стояла жаркая ночь, и звезды (совсем иные, чем у нас, очень крупные) низко сияли в небе, в темноте дышал океан… Расхаживая взад и вперед по палубе, император долго молчал, а потом вдруг спросил меня:

– Но вы, Лас-Каз, кажется, были тогда в Париже? И что же там творилось?

Я колебался.

– Нет-нет, говорите правду, мне следует наконец ее узнать. Тем более что я слышал много лжи обо всем этом.

И я рассказал императору, как русские гвардейцы шести футов росту шествовали по улицам, окруженные толпой парижских сорванцов, которые передразнивали каждое их движение. Победителей можно было принять за побежденных – так застенчиво (даже испуганно) они держались в столице мира. Особенно скромен был русский царь.

– Да, эта хитрая бестия не посмел поселиться в моем дворце. Робел «как римлянин среди афинян». Говорят, ходил по Парижу без всякой свиты, пешком, постоянно восхищаясь увиденным…

– Да, он был как-то величественно печален: дескать, пришлось ему против воли участвовать в унижении великого народа. Он сказал несколько удачных фраз, которые разлетелись по Парижу.

– Уверен, сочиненных ему Талейраном. Например?

– Его угодливо спросили: «Почему вы столько медлили? Почему раньше не пришли в Париж, где вас так ждали?» А он ответил: «Меня задержало великое мужество французов». Бурбоны предложили ему изменить название Аустерлицкого моста, как «пробуждавшее печальные воспоминания». Но он отказался, не захотел быть смешным.

На самом деле царь ответил очень удачно: «Зачем? Достаточно того, что я и моя армия прошли по этому мосту». Император слушал меня так ревниво, что я решил пощадить его и не сказал главного: тогда в Париже буквально все были влюблены в обворожительного и столь деликатного русского царя.

– Талейран! Уверен! Его стиль! А «брат Александр» – всего лишь лукавый женственный византиец. Говорят, когда он увидел Вандомскую колонну, то сказал, глядя на мою статую: «Если бы я забрался так высоко, у меня закружилась бы голова». Хитрец прав – никому из них так высоко не забраться. Античные времена великих героев, потрясавших Вселенную, воскресли с Наполеоном и умрут вместе с ним!

А теперь идите спать. Завтра мы запишем мою историю на Эльбе.

Я оставил его стоящим на палубе у пушки. Скрестив руки на груди – любимая поза! – император смотрел на звезды.

Утром он продолжил диктовку:

– Я высадился на Эльбе в тот самый день, когда ничтожный

Бурбон въезжал в Париж. Эльба… конечно же это была издевка Меттерниха. Меня, мечтавшего о Вселенной, наделили владением размером с королевство Санчо Пансы! Но я ничем не выказал разочарования. Только отметил: «Следует признаться, сей остров уж очень мал».

Приехали мать и сестра Полина. Матери на острове очень понравилось. Там были пейзажи нашей Корсики – те же горы, селения, утопающие в зелени, виноградники взбираются на холмы. И тот же климат – ветер с моря, пылающее солнце и лазурное небо. Да и я пережил здесь возвращение в прошлое: знакомая с детства картина – мать, спешащая к мессе. Я смотрел на нее из окна домика, который именовали моим дворцом. И видел, как она теряется среди одинаковых черных платков, которые надевают в храм женщины на Корсике и на Эльбе.

Мать говорила мне: «Господь подарил тебе этот маленький рай». И вначале я был счастлив. Страдают короли, лишившись трона, а я был только солдат, ставший властелином по воле случая. Дворец для меня всегда был в тягость, война и полевой лагерь – мой удел. Здесь я стал тем, кем был прежде, – солдатом, отдыхающим после битв.

Полина и мать рассказали мне новости о семействе. Жозеф и Жером бежали из Парижа в Швейцарию. Они умоляли Марию-Луизу уехать с ними. Но ее отец послал к ней князя Эстергази, и тот увез ее вместе с сыном… Я ждал ее, писал ей письма… правда, без ответа…

И тут последовало обычное: он посмотрел на меня и тотчас ответил моим мыслям:

– Они подсунули ей жалкого австрийского генерала[34], думали меня унизить… Кстати, вы слышали о нем?

– Да, Сир.

Он колебался, но не мог не продолжать.

– Граф молод?

– Ему под сорок, но выглядит как резвый юноша.

– Еще бы! Он не воевал или, в лучшем случае, как и все австрияки, много и ловко бегал с поля боя. Не могу простить себе – зачем я оставил существовать эту жалкую двуличную империю!.. Хотя, надо отдать должное, императрица неплохо справлялась с тем, что я поручал ей, пока бил союзников. Она могла стать действующим лицом великой трагедии! Но жалкой сучке предоставили красивого кобеля… Животное… она справляла свои супружеские обязанности, как ходят на горшок. Она не отдавалась, но предавалась в кровати. Без огня, без упоения. Это было брюхо… австрийское брюхо. Ей оставят

несколько жалких строк в моей истории!..

Его несло, он с трудом остановился. И сказал:

– Вы уже поняли… это – забудьте! Мы будем с уважением… нет, с почтением относиться к императрице в нашей рукописи, ибо она исполнила свое великое предназначение – дала Франции наследника. Он должен править и будет править!.. И тогда, на острове, я написал ей: «Мадам, наш сын должен править Францией… вот почему я с нетерпением жду вас обоих». И потому, когда приехал некий очаровательный польский шляхтич с ребенком… да, это была графиня Валевская, переодетая в мужской костюм… мне пришлось поселить их в самом отдаленном уголке острова. Передохнув всего день, моя Северная Лебедь и наше дитя вернулись в Польшу. Ибо я ждал императрицу и Римского короля.

Но Луиза показала мое письмо отцу и попросила… защиты от мужа! Жаль… жаль… потому что в это время я уже окончательно выработал план…

С первых дней моего пребывания на острове я объявил, что сделаю из этого клочка земли процветающее крохотное государство. Эльба оказалась богата ископаемыми. Я велел разрабатывать железные рудники и строить дороги. Реформировал управление – образовал Государственный совет, который заседал в крохотном домике. Я хотел, чтобы на континент постоянно поступало одно и то же: «Император очень доволен жизнью, он обрушил на остров всю свою неукротимую энергию». И в европейских дворцах весело хохотали над моими «преобразованиями»…

Все это время я получал вести из Франции, которая так ужасно простилась со мной. Как быстро там все переменилось! Обнищавшие эмигранты, как саранча, набросились на несчастную страну – возвращали себе имения, титулы, звания, мундиры. Все, над чем потешались в Париже, теперь нужно было чтить, включая жалкого короля с тройным подбородком. Когда этот ничтожный подагрик впервые прибыл в Париж, он с трудом вылез из кареты. И мои гренадеры, пропахшие порохом, видевшие и смерть, и великие победы, должны были приветствовать старую развалину – эту жертву не поля сражений, но времени. И они надвигали свои медвежьи шапки на глаза, в которых было одно презрение… Мундиры моих маршалов должны были смешаться в Версале с красными мундирами гвардии короля. И израненный в боях маршал Удино шествовал к обедне рядом с герцогом Муши, сроду не подходившим к пушке. И оба презирали друг друга… По улицам расхаживали спесивые дряхлые эмигранты, чьи манеры и одежды давным-давно вышли из моды. Они были смешны –

великая трагедия для всякого француза…

Главное для победы – наладить коммуникации. Я наладил, как только отдохнул, то есть на другой день по приезде. Информация из Парижа поступала теперь ежедневно! Да, пламя ярости уже клокотало, и жалкое новое время рождало тоску о прежнем величии. Пришло письмо от брата Люсьена (он жил в Италии). Брат деловито просил меня «побыстрее приготовить железо для доменных печей, которыми он владеет».

Люсьен просил… железа! И я отлично понял его тайный призыв. Что ж, железо непременно будет! И железная корона Италии вернется на голову того, кому она должна принадлежать! Второй раз после переворота восемнадцатого брюмера брат звал меня взять власть.

Вскоре очередной посланец Люсьена сообщил: на Венском конгрессе Талейран предложил союзникам отправить меня (точнее – сослать) подальше, на Азорские острова. Он предупреждал, как опасно сейчас оставлять меня рядом с Италией – родиной моих побед. И я понял: если великий хитрец забеспокоился, значит, воистину пора! Мне уже прислали его печальное резюме о вернувшихся Бурбонах: «Ничего не поняли, ничему не научились». Что ж, наши мнения совпадали.

Но эти идиоты на Конгрессе только посмеялись над ним. Они ведь *знали,* что отвоевать Францию с несколькими сотнями солдат – невозможно… Да и европейской «четверке» было не до меня. Как я и предполагал, меж ними уже начиналась драчка. И вчерашние союзники на Конгрессе обменивались язвительными колкостями…

Итак, я добился главного: европейские глупцы и вправду поверили, что я вечно буду отдыхать на острове, дожидаясь, когда Европа забудет мою славу, и они отправят меня куда-нибудь на край света. Хотя иногда мне кажется, что Англия… эти воистину коварные сыны Альбиона, неверные, туманные, как погода над их злосчастным островом… с самого начала отлично понимали, что я убегу. Они хотели этого, чтобы получить наконец законное право покончить со мной навсегда! И заодно попугать моим возвращением слишком уж возгордившегося русского царя!

Но это я понимаю сейчас. А тогда понял одно – и Люсьен, и Талейран, и я сходимся: время настало! И, еще раз все обдумав, я принял решение. Никто о нем не знал. Все приготовления были сделаны мной в совершеннейшей тайне.

В день отъезда я, как обычно, поужинал с матерью. И уже после чая сказал ей, как бы между прочим: «Нынче ночью я уезжаю… в Париж». Она сначала не поняла. И тогда я добавил: «Я причинил Франции много бед, пора загладить вину».

Она была матерью солдата и женой повстанца. Она поняла и приняла мой поступок, как и то, что, скорее всего, меня ожидало. И сказала: «Господь, видно, не хочет, чтобы ты погиб от дряхлости, он определил тебе смерть с мечом в руке». Обняла и перекрестила.

Я составил обращение к нации: «Французы, я возведен на престол вами! В изгнании я услышал ваши жалобы и упреки своему императору. Вы упрекали меня за то, что ради своего покоя я жертвую благом Отечества. И вот я переплыл море, невзирая на все опасности. Я снова вступаю в свои права, основанные на правах ваших… Солдаты, мы не побеждены! Просто нашлись среди нас изменники – нашим лаврам, нашему Отечеству и своему Государю. Теперь ваш император снова с вами! Присоединяйтесь! И наш орел снова взлетит до небес и сядет на купол собора Нотр-Дам!»

Ночью я отдал приказ. Семь жалких суденышек было в моем распоряжении. Тысяча человек погрузились на них в темноте. Они не знали, куда и зачем мы отправляемся. Я также велел погрузить все золото, которое у меня было, и прикрыть его любимыми книгами. Одни сокровища – другими…

Посреди ночи, когда погрузка закончилась, я велел разбудить членов Государственного совета и коменданта острова. Полусонные, они почти испуганно смотрели на меня.

«Я удовлетворен своим пребыванием на вашем острове, – сказал я несколько насмешливо. – Но неотложные дела зовут меня покинуть сей райский уголок. Я оставляю на ваше попечение мать и сестру». Они так и не посмели спросить, куда я направляюсь.

Когда мы отчалили, я сказал моим солдатам: «Друзья, мы возвращаемся на путь Славы – если вы, разумеется, не против».

Как загорелись их глаза! Какой рев восторга вырвался из их глоток: «Да здравствует император!»

Но вскоре сильный встречный ветер заставил моряков заговорить о возвращении (что уже бывало в моей жизни). Я приказал продолжать плавание. И ветер, как по команде, вдруг улегся (и это тоже бывало!) Прохладная ночь… свежо… я сидел на палубе, завернувшись в плащ, и ждал рассвета. Я снова был достоин Истории.

Мы подплывали к Каннам. Потянуло ветерком, запели птицы, начало вставать солнце. Птицы!.. Это мой орел взмывал над перепуганными насмерть монархами, над Венским конгрессом!

И Конгресс поспешил объявить вне закона императора, коронованного Папой. Что писали в эти первые дни во Франции наши газеты! «Корсиканское чудовище, тиран…» Ачто обещали

жалкому королю мои маршалы! Герцог Эльхингенский клялся Бурбону привезти меня в железной клетке. Сульт, ставший военным министром короля, разрабатывал диспозицию моего пленения…

А в это время те самые крестьяне, которые еще вчера мазали дерьмом мое чучело, сейчас, увидев меня… Восторг! Слезы! Это была встреча блудных сыновей с отцом, который сам нашел их – к ним вернулся! Я не ошибся. Прекрасная Франция хотела возврата величия – я отучил ее жить в унижении!

И наступил самый прекрасный день моей жизни… да наверное, и всего жалкого века, осиротевшего нынче без моей славы, навсегда потускневшего без моей дерзости. Еще там, на острове, бессонными ночами я мечтал, как это случится. Так и случилось! С горсткой солдат, окруженный толпой крестьян, которые шли со мной на возможную смерть, как на праздник, я увидел вдали их. Наконец-то! Это были войска, посланные меня арестовать. Они построились в каре и ждали…

И тогда я велел остановиться – и крестьянам, и своим солдатам. Приказал им опустить ружья. Сказал: «Теперь – мое дело!» И пошел вперед.

В стареньком зеленом мундире, в треуголке и наброшенном на плечи плаще я шел к тем, кто еще вчера были моими солдатами. Я сразу их узнал… вчерашних моих сыновей… потому что все солдаты – мои дети! Это были солдаты Пятого полка.

Раздалась команда: «Цельсь!» Они вскинули ружья. Я видел командовавшего ими офицерика, совсем молоденького, видно, из этих новых – «приехавших», не нюхавших пороха аристократов. Я подошел совсем близко… какие бледные были у них лица, как дрожали ружья в их руках…

«Пли!» – закричал каким-то жалким голосом офицер. Но они стояли недвижно.

И тогда, распахнув сюртук, я сказал: «Солдаты Пятого полка! Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Стреляйте!»

И они, рыдая, бросились ко мне. Они целовали мне руки… Помню двоих – упав на землю, они обнимали мои колени!

Так начался великий марш на Париж, равного которому нет в истории. Я только стучал табакеркой в крепостные ворота – и они послушно распахивались передо мной. Фейерверки, ликование… и слезы на глазах людей… И, обгоняя меня, в Париж летели слухи о неприступных крепостях, сдававшихся без боя своему императору. Такой был народный восторг!

Толпа, как море – так же изменчива… И вскоре мой неверный маршал, поклявшийся королю доставить меня в железной клетке, вынужден был заявить: «Я не могу двумя руками остановить

движение океана!» Ней присоединился ко мне, мы обнялись, и все было забыто!

Правда, угощая его изысканным обедом, я все-таки спросил у «храбрейшего из храбрых», заботливо подливая ему вина:

«А чем собирались кормить меня вы в уготованной мне железной клетке?»

И герцог Эльхингенский, созданный мною герцог, прошедший кровь и смерть, заплакал от унижения. И я задал ему еще один вопрос:

«Вы понимаете, что теперь мы навсегда вместе – до гроба?»

* * *

Уже на Святой Елене, когда император узнал, что великого маршала расстреляли ничтожные Бурбоны, он почти с ужасом сказал: «Как часто случайно оброненная мною фраза становилась пророческой!» И все представлял, как расстреливали славу Франции в Люксембургском саду…

– Так в пирах и радости, без единого выстрела, я шел к своей столице. Оттуда все время приезжали вчерашние сподвижники, спешили присоединиться ко мне, привозили парижские слухи.

Мне донесли, например, что Шатобриан умолял короля остаться в столице. «Мы укрепимся в Венсенском замке и приготовим Париж к обороне. Да, скорее всего, мы погибнем, погибнете и вы, – обрадовал он короля, – но ваша гибель станет бессмертием Бурбонов!..» Он говорил с королем об истории! Но что могли понять выродившиеся Бурбоны?!.. История! Слава! К чему им? Набить брюхо, по…ся, в сытости и богатстве помереть от старости… вот и вся мечта! И вскоре король, уже успевший объявить, что смерть за народ будет достойным финалом его жизни, поклявшийся «умереть только на французской земле», бежал прямиком в Тент.

Въезжая в Париж, на мартовской дороге я увидел много ворон… и вспомнил о бежавших Бурбонах. «Монитер», еще вчера меня проклинавший, вышел с карикатурой: орлы влетали в Тюильри, откуда поспешно убегали надутые индюки!.. За девятнадцать дней, не сделав ни единого выстрела, не пролив ни капли французской крови, я вернул себе империю. Фантастика? А что не фантастика в моей судьбе?

Так начались мои три медовых месяца с Францией. Я обратился к нации и союзникам: «Я хочу упрочить свой трон, возвращенный мне любовью моего народа, и потому мне нужен

мир. Нет для меня ничего дороже, чем оставаться в мире со всеми державами».

Но они не собирались мне верить. И Меттерних повторил: «Для этого человека нет мира, а есть только перемирие между войнами. Пока он в Париже, мира в Европе не будет». Точнее, ему надо было сказать: «Если он сегодня в Париже, мы боимся, что завтра он окажется в Вене».

Вся Европа приготовилась воевать с Францией. Новый рекрутский набор дал жалкое количество солдат – слишком много могил оставили войны. Но обожествление императора доходило до умопомешательства. Да, с таким числом солдат я не мог выиграть, но при таком энтузиазме не мог и проиграть!

Однако страшное слово «измена» уже бродило меж солдат. Они не верили моим маршалам, однажды предавшим. И не понимали, почему я вернул их в строй, вместо того чтобы отправить на гильотину, как это сделала бы революция. Но у меня не было других маршалов, я должен был воевать с этими…

В это время я решил предпринять некоторые шаги, чтобы помириться с «дедушкой Францем». Но мой глупый Мюрат – король Неаполитанский, изменивший мне и за это молчаливо признанный Венским конгрессом… сей глупец соскучился без битв и попытался возмутить Италию против Австрии. Он начал боевые действия.

Впоследствии на острове император говорил: «Мюрат никогда не понимал (как и все мои маршалы), что он был всего лишь командир моей кавалерии. Не более! Он мог храбро вести ее в атаку – и все! Но сражения выигрывал только я… И, конечно же он был разбит австрийцами. И получил свою расстрельную пулю…»

– Так что мне не удалось отъединить Австрию от союзников. Глупец Мюрат заставил моего тестя поверить, что между Неаполем и Парижем есть тайный сговор. И Франц смертельно испугался. Теперь союзники были едины, как никогда. Они объявили, что сложат оружие только тогда, когда во Францию вернутся Бурбоны…

А пока я решил перестать быть самодержцем… на время, чтобы объединить нацию в борьбе со всей Европой. Я объявил, что сохраню за собой лишь столько власти, сколько нужно для эффективного управления государством. Созвал новое Законодательное собрание, министры теперь были подотчетны не мне, а парламенту, пресса – свободна (я отменил цензуру). И теперь сама нация – в лице своих депутатов – предоставляла в мое распоряжение войска. На этих условиях меня поддерживали

все прежние авторитетнейшие враги «тирании». И республиканец Карно, и глава оппозиции интеллектуалов Бенжамен Констан были со мною. Вновь появился в парламенте аббат Сийес – символ минувшей Великой революции…

Тогда же Люсьен вернулся во Францию и наконец-то согласился принять титул принца. Но со мной не было ни сына, ни императрицы. И я не мог (увы!) вернуть прежнюю: Жозефина умерла… Это было очередное предупреждение судьбы: прежний мир не существовал более… И теперь на балкон к народу со мной выходила ее дочь Гортензия со своими детьми. Но мне нужен был мой собственный сын!

Конечно, либерализация власти, которую я предложил, сделала неэффективным управление страной. Но другого тогда быть не могло. Я ведь получил империю в подарок от нации. Чтобы получить от народа истинную власть, мне нужна была блистательная победа. Но я понимал, как трудно мне ее теперь добыть.

Со мной что-то происходило… Помню, я увидел вечного республиканца Лафайета, который теперь заседал в Законодательном собрании. Выслушав его очередную пламенную речь о свободе, я сказал ему: «Вы совсем не изменились». Как сообщил мне потом Фуше, этот простодушный глупец-идеалист не понял, решил, что я говорю о его внешности. И наивный Лафайет печалился домашним: «Но я не мог ответить ему тем же комплиментом, император очень изменился».

Я и вправду потучнел, расплылся… результат сытой жизнь на острове без бивуаков, без войны… Я стал как-то малоподвижен, исчезла молодая, наглая уверенность… Да, я перестал быть молодым. Я был императором, а сейчас нужен был молодой волк, беспощадный вояка, чтобы победить целую Европу. Ибо только разгром мог образумить врагов. Но я уже чувствовал – его не будет.

Выступая в поход, я обратился к армии: «Солдаты! Много раз вы решали судьбу Европы… Но после Аустерлица, Фридланда и Ваграма мы были слишком великодушны, поверив словам монархов, которых мы оставили на тронах. Теперь они вновь объединились и посягают на судьбу и священные права Франции. Пойдем же навстречу им, разобьем их, как уже били столько раз. Они оставили нам один выбор – победа или смерть!»

В каюте было невыносимо душно. Заходившее солнце било в закрытое шторами окошечко. Император сидел в расстегнутой рубашке, видна была его толстая грудь. Он диктовал непрерывно:

– Перед битвой при Ватерлоо у меня было всего сто двадцать

тысяч – гвардия, кавалерия и пять армейских корпусов. Ней командовал левым флангом, Груши – правым. Я стоял в центре, готовый прийти обоим на помощь. У Веллингтона было девяносто тысяч: англичане плюс ганноверцы, бельгийцы и голландцы – все мои бывшие союзники. У Блюхера – сто двадцать тысяч. К ним на соединение двигались войска России и Австрии. План был ясен: разгромить пруссаков и англичан до прихода подкреплений.

Дело началось успешно. Ней заставил англичан отступить. Я форсировал у Шарлеруа реку Самбру и ударил в стык армий Блюхера и Веллингтона. И вместе с маршалом Груши разбил пруссаков (как обычно) и отбросил к Льежу. Но добить их мне не удалось – не подоспел вовремя корпус Друэ д'Эрлона. Он был храбрый солдат, но бездарный генерал.

Теперь мне необходимо было окончательно разделить Блюхера и Веллингтона. И я отправил корпус Груши добить пруссака. У Груши было тридцать шесть тысяч – треть моей армии! А пока я соединился с Неем. И мы повернули против Веллингтона.

Я нашел англичанина вечером семнадцатого июня южнее деревни Ватерлоо перед лесом Суань и встал перед ним, отрезав ему путь к отступлению. Я не стал атаковать с ходу – поле было размыто недавними ливнями, и я решил подождать, когда подсохнет – удобнее ставить пушки. Да и не худо было дать отдохнуть перед решающим боем усталым молодым солдатам. Я перенес сражение на следующий день.

В полдень восемнадцатого июня заговорили пушки. Задача была проста: я атакую англичан и разбиваю их прежде, чем Блюхер (он должен был надолго завязнуть в битве с Груши) придет к ним на помощь. Но когда я садился на коня, я услышал… у меня было некое чувство… короче, я уже знал, что меня ожидает. Я никогда не видел земли и неба перед сражением. Я видел только своих солдат и врага перед боем, и убитых и раненых – после боя. Но тут я странно отвлекся, впервые заметил, как дул ветер, обнажая сучья деревьев, как серебрились на ветру листья, как на солнце надвигалось темное облако. В воздухе чувствовалась сырость близкого дождя… Все было величественно и напряженно, как бывало перед грозой в Мальмезоне… когда под печальный шум дождя я любил ее…

Очнулся я от выстрела пушки. Сражение началось. Англичане стояли насмерть… До этой фразы, Лас-Каз, все вычеркните… Итак, англичане стояли насмерть, а я должен был любой ценой прорвать их центр. Но после непрерывной пальбы и кавалерийских атак, продолжавшихся много часов, англичане… по-прежнему стояли!

Маршалы просили бросить в бой Старую гвардию. Но я не мог отдать ядро армии и остаться с необученными новобранцами… В семь часов я бросил на прорыв всю свою кавалерию. Но со мной не было Мюрата, а Ней оказался бездарным кавалеристом. Прижатые друг к другу всадники на узком фронте (фронт составлял всего четыре километра, при Аустерлице, например, – десять) стали удобной мишенью для англичан. Они беспомощно кружились, как в водовороте, среди английской пехоты. Но я точно чувствовал пульс боя: еще немного… совсем немного, и мы их сломаем!

И я бросил в бой пять батальонов гвардии. Это был неотразимый удар! Великолепный завершающий аккорд!.. Я видел – мы побеждаем! Побеждаем!..

И в тот самый миг я пал в бездну! Именно тогда, в разгар атаки, я увидел их… войсковые колонны, стремительно двигавшиеся к полю боя. Сколько раз в решающий миг сражения подоспевший резерв давал мне победу!» Великий миг Маренго!.. А теперь… Теперь все было наоборот… Судьба била меня моей же победной картой! Я различил в подзорную трубу прусские знамена – это подходил Блюхер… А в это время Груши далеко отсюда тоже готовился к бою. Он решил, что обнаружил главные силы Блюхера, и собрался их уничтожить. На самом же деле пруссак его надул – перед ним стоял всего лишь жалкий отряд, который должен был его задержать…

Кавалерия Блюхера ворвалась на поле и начала рубить моих солдат! Да, это был конец. Вместе с пруссаками перешли в наступление англичане. Началась паника… позорное бегство… Месиво бегущих… их рубят… я посередине… лицо покрыто пылью и слезами… с трудом держусь в седле… И вместе с моей Славой погибала Старая гвардия. Я понимал, что мне надо умереть здесь, с ними. Но сколько раз в тот день я искал смерти, а так и не нашел! Рядом, впереди, сзади падали солдаты, но для меня не нашлось ни одного ядра, ни одной жалкой пули…

Император задумался.

– Почему я проиграл? Может, зря ждал, пока подсохнет размытое поле, и упустил полдня, вместо того чтобы тотчас атаковать Веллингтона? Или мне не следовало отсылать Груши – ведь это лишило меня трети армии? Это – ошибка? Или то – ошибка?.. Нет, думаю, дело в другом. Что бы я ни делал прежде, все было правильно. А теперь – все было ошибкой. Я перестал быть нужен… кому? Судьбе? Истории? Господу?..

Нет, вычеркните все это! Напишите просто: но Старая гвардия, как и моя Слава, в тот день остались не сломлены. Мои

гвардейцы закрыли своими телами отход остатков армии на Шарлеруа. И Груши, бездарно упустивший Блюхера, сумел увести свой корпус с поля сражения, сохранил всех своих солдат… И, возвращаясь в Париж, я понял: мне нужно жить, чтобы… выиграть!

Император остановился и сказал:

– Однако душно… Выйдем на палубу.

Смеркалось. Он смотрел на волны. И повторил:

– Я выигрываю… побеждаю… и падаю в бездну… Где началось падение? В Смоленске?.. Меня погубила мечта? Но зато какая величественная! Занять Москву, оттуда – в Индию… И там приставить шпагу к английскому горлу! Величайшая империя… бескрайняя…

В этот миг раздался крик с мачты: «Земля!» Люди высыпали на палубу. Вдалеке из волн океана вырастала черная скала. Одинокая скала, которую он получил взамен империи. Остров Святой Елены.

Сегодня 17 октября. Мы были в пути 71 день. Как всегда, все мистично в его судьбе – даже цифры…

Маршан принес подзорную трубу – ту самую, которая была при Аустерлице и других великих победах императора. Теперь он рассматривал в нее итог этих побед – вставший посреди океана остров. Точнее – гигантский выброс вулканической лавы.

Первое впечатление: огромная, без всякой растительности черная скала, вздымавшаяся между двумя столь же мрачными черными пиками. Это был страшный черный нарост посреди океана. После цветущих берегов Франции, после столь красочно описанных им, покрытых зеленью гор Корсики…

Я сказал:

– Похоже на испражнение дьявола по пути в ад.

– Зачем же так? – Император все глядел в трубу на ужасное место и говорил, клянусь, почти удовлетворенно: – Обычная скала… для Прометея… где трусливые боги придумали приковать мятежного героя…

Он усмехнулся. Сравнение было найдено.

Уже был виден порт, беленькие домики выглядывали из густой зелени, и дорога уходила вверх, кружась по мрачной скале.

– Что это за дорога? – спросил император у адмирала.

Тот смутился и объяснил:

– Это дорога на плато Лонгвуд, где вы будете жить. Вершина горы и плато были затянуты тучами – там шел дождь.

– Но пока будут готовить ваше жилище, вы будете жить внизу, – торопливо добавил адмирал.

Император засмеялся и сказал мне:

– Сравнение с Прометеем хоть и банально, но правдиво. Запишите его, Лас-Каз, и… не печальтесь. Запомните: люди не прощают властителям удачных судеб. Кто такая Мария-Антуанетта до гильотины? Хорошенькая потаскушка на троне. А после гильотины о ней начали писать стихи и романы, она стала трагической героиней истории. Несчастье – великий соавтор в судьбе королей. И эта скала нам очень пригодится…

И добавил, не отводя глаз от скалы:

– Я изведал все. Моей репутации не хватало только одного – несчастья. Ибо нет более возвышенного зрелища, чем великий человек, противостоящий невзгодам… он куда более велик, более свят и достоин почтения, нежели сидящий на троне. Я носил две короны – Франции и Италии. Англичане увенчали меня третьей, самой великой, которую носил сам Спаситель, – терновым венцом.

И тут меня осенило – так вот что он задумал! Вот почему он сдался англичанам!

Он прочел мои мысли и улыбнулся:

– Они попались, мой друг. Запишите в вашу летопись: семнадцатого октября после семидесяти одного дня пути император прибыл на остров Святой Елены. Свой сорок шестой день рождения он встретил в неволе, подло захваченный англичанами – его заклятыми врагами.

«Святая Елена, маленький остров»

Только что император удалился в свою каюту, а я отправился в свою. Вместе с сыном мы собираем вещи. А скала все вырастает в окне каюты и скоро совсем закрывает его… Судно подходит к острову.

Мы уже стояли на якоре, когда я вышел на палубу. Совсем темно. Огоньки в домах. И в темноте грозно чернеет скала…

Причалила шлюпка, в нее сошел адмирал Кокберн. Гребцы повезли его к пристани.

Утром я увидел прелестный городок, утопавший в зелени. Император уже был на палубе. Раздались команды, плеск весел – шлюпка привезла назад адмирала. Вместе с ним прибыл губернатор острова, который должен передать свои полномочия Кокберну.

Кокберн представил его императору, и император обрушил на него град вопросов об острове. По смущенным ответам губернатора я окончательно понял, что зеленый Эдем, который раскинулся вокруг пристани, к нам отношения не имеет. Наше жилище будет находиться на той страшной черной скале, укрытой тучами…

Как выяснилось потом – всегда укрытой тучами.

Император смотрел на скалу и – клянусь! – улыбался…

Эти первые дни император проводит на корабле, гуляя по палубе и беседуя с Бертраном и прочими спутниками. И все с той же усмешкой рассматривает беспощадную скалу.

* * *

Наконец-то! Сегодня поздним вечером нас отвезли на остров. Я был в одной шлюпке с императором.

Мы причалили. По каменным ступеням поднялись на пристань. Свершилось! Император в походном сюртуке и низко надвинутой на глаза, знаменитой треуголке ступил на землю Святой Елены. Множество людей столпились на пристани – смотрят на императора почти испуганно…

Пока на скале готовят наше жилище (по слухам, которые принес Киприани, там когда-то был скотный двор), мы обитаем у ее подножья в очаровательном портовом городке Джеймстауне.

Нет спасения от зевак, старающихся заглянуть в наши окна!

Английские корабли стоят прямо напротив наших окон – стерегут. И множество красных мундиров высадилось на острове – тоже стеречь. Каждый день я вижу, как суда медленно оплывают наш остров.

Стерегут… Весьма обстоятельно стерегут…

Сейчас, просматривая дневник, я обнаружил, что не проставлял дат перед записями. Как приходится теперь сожалеть об этом!

У императора – новое, совершенно очаровательное увлечение. Ей… тринадцать лет!

Во время очередной прогулки верхом мы отъехали на пару километров от городка и наткнулись на прелестное имение «Брайерз», принадлежащее некоему Уильяму Бэлкомбу, весьма состоятельному джентльмену, поставщику Ост-Индской компании. Мы проскакали по чудесной аллее – зеленому раю из гигантских лакосов, миртовых и гранатовых деревьев, и в глубине этого зеленого чуда увидели прелестный коттедж, а в стороне, в зарослях – небольшое бунгало для гостей. Император познакомился с весьма радушным владельцем. И уже вскоре получил дозволение адмирала покинуть дом в Джеймстауне (где все время был жертвой любопытства зевак) и переехать в райское бунгало.

И вот тут… начался роман! У сэра Уильяма две дочери. Особенно шумна, бесцеремонна и шаловлива младшая, Бетси – тринадцатилетнее существо с золотистыми волосами, вечно выбивающимися из-под капора. С виду это ангел в белых панталончиках, белой юбке и белом кружевном воротнике. Но… зловредный ангел: ни секунды в покое, носится волчком, обычно что-то опрокидывая, разбивая, доставляя всем опасения и неприятности. И при этом… кокетка!

Император учит ее играть на бильярде, и она нарочно бьет шаром в его руку. Негодяйке нравится, что тот, перед кем дрожали народы, вскрикивает от ее удара.

На днях император обстоятельно рассказывал ей о русской кампании и изобразил крик атакующих казаков. Теперь, подкравшись, она постоянно пугает этим криком всех нас, сестру, сэра Уильяма!.. Кстати, она рассказывала, как ночью (конечно же без разрешения отца) убежала на пристань встречать императора. И с ужасом пряталась на пристани, ожидая, когда его привезут. Оказывается, она ожидала увидеть некое чудовище, людоеда огромного роста с длинными клыками. И не могла поверить, что

низенький человечек в плаще и есть «корсиканское чудовище», которым ее (как и всех английских детей) пугали. Когда она отказывалась есть «противную овсянку», няня говорила ей: «Вот придет Бонапарт и съест тебя за это!» Бетси и ее подружки были разочарованы.

Однако девчонка оказалась достаточно осведомленной обо всех темных делах императора (за завтраком отец читает вслух английские газеты). Она забросала его градом вопросов: об убийстве герцога Энгиенского, о чуме и расстрелах в Египте. И надо было видеть, как горячился император, доказывая тринадцатилетней кокетке свою невиновность! Вот уж действительно – «от великого до смешного…»

Вчера мы направлялись по узкой дорожке к нашему бунгало. Процессию возглавлял император, за ним шел я, потом мой сын, почти ровесник Бетси, и ее старшая сестра. Сама героиня романа шествовала сзади… Она нарочно сильно поотстала от всех. Потом, якобы для того, чтобы нас догнать, разбежалась и, как бы не сумев вовремя остановиться, всем телом толкнула сестру. Бедная девица, потеряв равновесие, упала на моего сына, тот на меня… а я – на императора. Император в наказание схватил Бетси и заставил моего робкого сына ее поцеловать. Она бешено сопротивлялась, и мне показалось, что императору доставляет необычайное удовольствие держать в руках ее гибкое, извивающееся тело…

Сегодня она отомстила. Император дал подержать ей свою шпагу. И очаровательная мерзавка, без всякого почтения к исторической шпаге покорителя Европы, начала делать опаснейшие выпады, заставляя его отступать. Прибежавшему по моей просьбе Маршану пришлось выбить оружие из ее рук… к неудовольствию императора.

Не знаю, как далеко зашел бы этот невинный роман, если бы наш дом на скале не был готов… Впрочем, и после этого она часто приезжала с отцом к нам в Лонгвуд.

На остров прибыли комиссары союзников – наблюдать за императором: австриец, русский и француз. Они хотели представиться своему пленнику, но император отказался их принять. Надо отметить, что все они – не самые лучшие представители человеческого рода. Француз маркиз Моншеню (его знатное имя, пожалуй, единственный дар, который преподнесла ему судьба) напыщен, самодоволен и носит нелепейший парик прошлого века с косицей. Император подговорил Бетси уничтожить эту косицу и даже поручил Киприани купить у аптекаря разъедающее вещество. Но мать

Бетси вовремя остановила эту проделку…

Об австрийском комиссаре император сказал: «Император Франц, чья дочь стала моей женой по ее и его желанию, которому я дважды возвращал его столицу и который теперь задерживает мою жену и моего сына, – имеет ли он право прислать сюда комиссара, не написав мне при этом ни строчки, не сообщив никаких известий о жене, о здоровье моего сына? Могу ли я после этого принять его посланца и о чем-то с ним говорить?»

Почти то же он сказал и о русском: «Когда царь Александр зависел от меня, он был со мной дружен. Да, я вел с ним войны, но политические, не личные… Короче, я не желаю видеть и русского комиссара!»

Сегодня император добился для меня разрешения осмотреть наше будущее жилище. Я отправился туда в сопровождении английского офицера. Мы долго ехали по дороге, ведущей вверх по скале. Восемь километров пути привели к нашему плато. Мой спутник не без удовольствия рассказал, что эта скала, нависшая над морем, считается самым гиблым местом: всегда окутана туманом, всегда – в дожде…

Наконец приехали. Я увидел жалкие каучуковые деревья на пустом плато и маленькое уродливое строение. Отсюда открывалась нерадостная панорама: всюду были видны несущие службу часовые.

– Это и есть Лонгвуд. Ваш теперешний Тюильри, – расхохотался англичанин.

Я осмотрел жалкий дом, состоявший из дурно окрашенных, небольших каморок, сильно пахнущих навозом.

– В течение полсотни лет Лонгвуд использовался как скотный двор. Только в последние годы здесь настелили доски поверх экскрементов, и мы его превратили в жилой дом. Однажды здесь даже была летняя резиденция вице-губернатора. Так что будете обитать в вице-губернаторском дворце и одновременно… на бывшем скотном дворе!

И мерзавец вновь расхохотался. Прощаясь, он сказал:

– Надеюсь, вы повеселите вашего повелителя и правдиво опишете его Тюильри.

Кстати, когда я вернулся и все рассказал, император и в самом деле… очень весело улыбнулся.

Император обнаружил метрах в ста за коттеджем Бэлкомбов родник под тремя ивами. Он долго стоял над ним, потом сказал:

– На этом месте я хотел бы быть похороненным. – Помолчал, будто к чему-то прислушиваясь, и добавил: – И буду.

* * *

Сегодня около родника император вновь заговорил о смерти:

– У меня проблемы с желудком, частые колики… От рака умер мой отец… Но я, скорее всего, умру не от рака, меня… отравят англичане.

И, не дожидаясь моих возражений, завел разговор о Бетси:

– На самом деле мне с ней просто весело. Я смеюсь вместе с ней. Раньше, когда я правил народами, у меня не было чувства юмора. Власть не может быть смешливой. И вот теперь… Но иногда в разговорах с ней возникают и очень серьезные моменты. Как объяснить маленькой девочке, что законы морали и условности порой трудно применимы к властителям?.. Однако все это надо заканчивать и побыстрее переезжать на «сухую гильотину», каковой, как я понял, станет для нас Лонгвуд.

Он сидел на поваленном дереве и что-то чертил палкой на песке.

– Двадцать лет я боролся с англичанами… Я уже побеждал при Ватерлоо, но… Но если бы даже я выиграл, я все равно не победил бы. Я не мог бороться с целой Европой… Я мечтал, чтобы Франция правила целым светом. Но во время Ста дней понял: для этого у нее уже нет необходимого населения. Моя армия лежит на полях Европы, в Африке и в России… Мои ворчуны-гвардейцы остались в грязной жиже на поле Ватерлоо…

Вот почему он отказался сопротивляться тогда, в Париже, когда толпы шли мимо его дворца. «Нет необходимого населения». Его вечное соревнование с Александром Македонским… А меньше целого света он не хотел.

– Я рассказывал вам, как искал смерти на полях сражений. Но судьба все время отказывала мне. И я задавал себе вопрос: почему? И понял: я остался жить, чтобы победить их… Возблагодарим же глупцов за все унижения, которым они меня подвергли… и еще, увидите, подвергнут. Ибо теперь все, что мы с вами запишем, будет читаться как житие мученика. Каждое слово, записанное вами, приобретет в будущем великую цену, ибо будет оплачено моим страданием… Да, двадцать лет я боролся с англичанами. И только теперь смогу их победить! Увидите, мое мученичество вернет корону моему сыну… Я прочел все, что вы записали. Но теперь нам следует еще раз все переписать с самого начала. Начнем, как только переедем в Лонгвуд.

Вчера простились с гостеприимным бунгало. Наш путь лежал

на скалу. И в первый же день возобновилась наша диктовка.

Мы живем на скале, окруженные вечным мокрым туманом. В каморке, именуемой «кабинетом императора», проводим по четырнадцать часов в сутки.

Император заново рассказывает все, что я записал на корабле. Но теперь он диктует мне… совсем иную историю! Это жизнь великого и справедливого полководца, который, оказывается… никогда ни на кого не нападал! Нападали на него, потому что он был законный сын Французской революции. Оказывается, он всегда уважал и свободу творчества, и либеральные идеи. И нес (правда, на штыках) великие идеи свободы и равенства в феодальную Европу. «Я сеял семена свободы повсюду, где внедрялся мой Кодекс. Я боролся за равенство, мечтал установить всеобщую свободу совести и дать благо образования всем классам…»

Но когда на него нападали, его военный гений был беспощаден. По мановению его руки рушились величайшие державы. Его завоевания могли сравниться разве что с победами Александра Македонского. Но эти завоевания, оказывается, должны были осуществить великую мечту просвещенных философов – создать единую Европу. «Я хотел создать единый европейский свод законов и сделать Европу одной нацией. (Правда, во главе с Францией)… Соединенные Штаты Европы – вот моя мечта…»

Что же касается крови сотен тысяч солдат, лежащих в земле Европы, Азии и Африки, то это вина тех, кто вынуждал его обнажать меч. «Впрочем, – его тяжкий вздох, – какие великие дела делались без крови?»

Два десятка жалких комнатушек – здесь мы живем. Я с сыном – в угловой комнате на втором этаже, вместе со слугами. Крыша протекает, сын нездоров.

Предвидение императора быстро сбылось. На остров приехал новый губернатор, сменивший Кокберна, – генерал-лейтенант сэр Гудсон Лоу. За свою карьеру звезд с неба он не хватал, но усердно исполнял разные военные и дипломатические поручения. Будучи главой гарнизона на Кипре, он умудрился сдать остров без единого выстрела небольшому отряду наших драгун.

Император оценил его сразу:

– Вы посмотрите на эту яйцевидную голову, оттопыренные уши и жалкие бегающие глаза! Это болван, сознающий, что он болван и оттого подозрительный, самолюбивый и завистливый.

Он будет впадать в панику, страшась возложенной на него миссии. Он ведь понимает, что если я захочу бежать, ничто не сможет мне воспрепятствовать. И оттого будет постоянно делать из мухи слона, больше всего боясь ошибиться. Впрочем, первой его ошибкой было то, что он родился…

И император добавил с удовольствием:

– Итак, готов держать пари, что он превратит нашу жизнь в показательный ад…

Все так и случилось. Если добрый Кокберн старался не замечать постоянных нарушений инструкций своего правительства, то Лоу болен маниакальным соблюдением этих инструкций. Он хочет иметь оправдание на случай бегства императора. Маршрут наших поездок верхом резко сокращен, а вне маршрута император может появляться лишь в сопровождении охраны англичан.

Император стал запираться в своей комнате (иногда на несколько суток), обрекая губернатора на невыразимые страдания.

* * *

В июне началась зима, тучи окончательно закрыли наше плато и дождь лил беспрерывно. Губернатор чуть не умер от ужаса – он не видел императора целую неделю.

И тогда впервые состоялась эта (обычная теперь) сцена, губернатор «вместе с солдатами пытается войти в дом. Император поджидает его у дверей с двумя пистолетами и громко говорит: «Наконец-то! А то я соскучился по пороховой гари. Клянусь, если он посмеет перейти порог моей комнаты, то уже не будет пить свое виски!» И глаза его сверкают. А губернатор, заслышав его голос, успокаивается и удаляется под презрительные ухмылки своих солдат…

И уже в Лондоне газета оппозиции печатает «Протест со Святой Елены». В нем подробно рассказывается, как императора лишили прогулок и свежего воздуха в надежде побыстрее отправить на тот свет.

Вчера нам сообщили, что Лоу решил урезать деньги, отпускаемые нам на продовольствие. Император расхохотался:

– Это животное может вообще не выдавать мне денег на еду! Я стану обедать с офицерами полка, который меня сторожит. И он может быть уверен: каждый из них почтет за счастье дать место за

столом старому солдату.

Эта трогательная тирада тотчас разнеслась по острову и… также полетела в Лондон.

Придирки продолжаются, причем самые мелочные. Лоу тщательно следит, чтобы императора именовали «генералом Бонапартом». Недавно императору прислали в подарок шахматы из слоновой кости. Как и все подарки, они были тщательно осмотрены губернатором. Увидев на фигурках вензель «N», этот безумец в течение нескольких дней совещался с помощниками: можно ли передать подарок по назначению?

И об этом тоже узнали в Лондоне.

Император делает все, чтобы этих идиотских придирок было как можно больше. Он постоянно именует губернатора «это животное», «этот идиот», «этот болван» и следит, чтобы самолюбивый, тупой и мстительный Лоу об этом узнавал. Однажды он чуть не довел губернатора до сердечного приступа. Он позвал Гурго и Монтолона и в присутствии английского врача Арнотта громким шепотом обсуждал… план побега. «Лучше всего бежать среди бела дня через город. А потом следовать береговой линией. С охотничьими ружьями мы могли бы без труда обезоружить пост в десять человек. Болван губернатор уже привык к тому, что я не выхожу днем из дома, так что сразу нас не хватятся. Впрочем, можно бежать и ночью… ночью даже лучше…»

Тщетно Гурго кивал на врача, всем существом обратившегося в слух. Император, будто не понимая, с упоением продолжал обсуждать план… После чего в течение месяца губернатор не спал – объезжал посты вдоль береговой линии, а вокруг дома стало пестро от красных мундиров…

На днях губернатор вызвал графа Бертрана и учинил ему выговор «за вызывающее поведение генерала Бонапарта».

В воскресенье остров покинул адмирал Малькольм, весьма симпатизирующий императору. Он пришел проститься в сопровождении Лоу, ищущего любой случай увидеть императора, чтобы убедиться: он не сбежал.

Не предложив губернатору даже сесть, император бросился в атаку:

– Бертран командовал армиями! Почему вы смеете обращаться с ним, как с вашим подчиненным?! – И, не дожидаясь ответа, продолжил: – Правительства берут на службу два типа

людей: тех, кого уважают, и тех, кого презирают. Вы – из последних, и ваш пост – это пост палача!

– Я только выполняю приказы, – растерялся Лоу.

– Пройдет время, и о вас, а заодно и тех, кто отдавал вам эти приказы, будут вспоминать лишь в связи с вашим недостойным поведением по отношению ко мне! Убирайтесь и не смейте приходить ко мне не иначе как с приказом о моей казни! Только тогда я велю отворить вам двери! Вон!

Лоу в бешенстве выбежал из комнаты…

– Теперь он жаждет мести, – с удовольствием сказал вечером император. – Однако жаль, что я вынужден говорить слова, которые не простил бы себе в Тюильри. Надо больше хладнокровия – тогда в словах появится больше достоинства и прозвучат они куда сильнее.

И он радостно ждет ответных придирок и издевательств… и о каждом таком случае я должен писать в Европу. И об этой сцене – тоже.

Пришло известие: в палате общин виги (находящиеся в оппозиции) сделали запрос «о недостойном обращении правительства с генералом Бонапартом». Цель достигнута – в обществе начинает расти негодование.

Насчет губернатора император не ошибся – ответ последовал быстро. Лоу сообщил всем нам: «Французы, желающие оставаться при генерале Бонапарте, должны подписать обязательство, в котором они соглашаются подвергнуться всем запретам, какие будут предписаны для генерала Бонапарта. Они должны будут повиноваться английским законам и распоряжениям губернатора и будут осуждены на смертную казнь, если попытаются содействовать побегу генерала Бонапарта. Те, кто откажутся подписать данное обязательство, будут незамедлительно высланы на мыс Доброй Надежды».

Император пришел в ярость и запретил нам подписывать эту бумагу, но мы все подписали ее тайно.

Император попросил меня принести все, что он надиктовал… Две недели читал и вносил поправки, а вчера наконец сказал мне: «Мы славно потрудились».

Да, образ, который он создал, великолепен! Это гений, преданно служивший великим идеям свободы на фоне палящих пушек, развевающихся знамен, мундиров марширующей гвардии и павших к его ногам государств. Каким тусклым будет казаться мир старых монархий после этого сочинения! Император в блеске

великих подвигов вновь возвращался к современникам, чтобы уйти к потомкам – в бессмертие.

Сегодня он попросил меня дописать следующее (он назвал это послесловием): «Меня не заботит, как будут искажать мои поступки. Моя жизнь – гранит, о который ругатели обломают зубы. Историки вынуждены будут рассказывать о моих подвигах, ибо дела мои говорят сами за себя. Я обуздал хаос, облагородил революцию и раздвинул до небес пределы славы. Все это чего-нибудь да стоит… Мой деспотизм? Он был продиктован обстоятельствами – анархия и великий беспорядок уже стучались в дверь, когда я пришел… Моя страсть к войне? Но на меня всегда нападали… Стремление ко всемирной монархии? Но сами враги заставили меня стремиться к этому! Честолюбие? Но самое великое! Я мечтал утвердить царство разума, дать простор человеческим талантам. Надеюсь, историки пожалеют, что такое честолюбие осталось неудовлетворенным».

– Ну что ж, – сказал император, – финита! Я уверен – это будут читать поколения.

И он процитировал Библию, что бывало весьма редко:

– «И увидел Он все, что создал, и вот, хорошо весьма». – И вдруг сказал: – Если, мой друг, вас вышлют, вы обязаны суметь провезти с собой в Европу все, что мы записали.

– Да, Сир, – ответил я, несколько удивленный тем, что он заговорил о высылке.

– Вы помните, что второй вариант наших, – так он сказал, – сочинений на случай обыска должен быть…

– Спрятан за подкладкой вашего саквояжа, Сир. – Этот саквояж (великолепный, кожаный, с двойным дном) он неожиданно вручил мне на днях.

– Да! – спохватился император. – Мы начали с вами писать мое завещание… возвратите мне его. Что еще у вас есть из моих бумаг… естественно, кроме того, что мы с вами написали?

– Карта Аустерлица, которую вы мне дали. И письма русского царя после Тильзита, Сир.

– Возвратите мне все это, мой друг.

Я поднялся в свою комнату и принес бумаги. Он положил их в стол.

– «И совершил Он к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил Он в день седьмой от всех дел своих…» Теперь я могу спокойно заняться завещанием. А вы… вы напишите побыстрее то письмо.

Он имел в виду очередное письмо об издевательствах губернатора. Император предложил мне отправить его с

покидавшим остров чиновником Ост-Индской компании. Я предупредил императора, что человек этот показался мне очень подозрительным.

– Я почти уверен, что он – шпион губернатора.

– Ничего подобного, – ответил император, – мне он внушает доверие. Да и Киприани его проверял…

Когда я закончил письмо, император позвал Киприани и поручил передать его англичанину.

В тот вечер император долго прощался со мной и сказал:

– Мое будущее наступит тогда, когда меня уже не будет. Но главное свое сражение я, кажется, выиграл… Не оплошайте и вы.

Я не понял и переспросил. Он засмеялся и вместо ответа повторил:

– «И почил Он в день седьмой от всех дел своих…»

Пишу на корабле. Как я и говорил, англичанин донес Лоу… Меня выслали. Но обыск был небрежный. Ибо, к счастью, Лоу решил, что так как высылка моя внезапна, вряд ли я успел спрятать что-то серьезное. Так что за подкладкой саквояжа я благополучно вывез рукопись.

На корабле я часто вспоминал спокойное лицо императора и радовался, что он не вспылил и не пустил в ход заряженное ружье, которое всегда стояло у его кровати.

* * *

И только теперь, через много лет, я все понял… Он и не должен был вспылить. Этот фантастический человек, как всегда, предугадал «действия противника». Он нарочно все сделал для того, чтобы письмо перехватили, а меня выслали. Он знал, что обыск будет небрежен, и я смогу у ехать с законченной рукописью. Вот почему, когда меня уводили, из его спальни не донеслось ни звука…

Я понял теперь его последние слова, обращенные ко мне: «Мое будущее наступит тогда, когда меня уже не будет. Но главное свое сражение я, кажется, выиграл. Не оплошайте и вы».

Но, вернувшись в Париж, я выяснил, что понял далеко не все. Оказалось, у императора была еще одна, возможно, главная тайна. Впрочем, так и должно было быть. Он не мог так просто от нас уйти…

Исчезнувшая битва

В Париже, куда я попал спустя много лет, меня ожидали невероятные и очень упорные слухи. Впервые я услышал их в маленьком кафе напротив Люксембургского сада. За соседним столиком сидели двое: подвыпивший старик явно из «недобитков» – старых гвардейцев императора (об этом говорило его лицо, обезображенное ужасным шрамом), и молодой господин. Старик, озираясь, шептал молодому человеку так громко, что мне все было слышно: «Император жив… он заключил секретное соглашение с русским царем… Царь позволил ему скрыться назло англичанам… На острове умер *двойник…»*

Эти нелепые слухи о том, что император не умер, оказались на редкость упорными, хотя все здравомыслящие люди над ними потешались. Но вскоре случилось удивительное. Однажды меня навестил мой старый друг, аббат Муке, один из образованнейших людей нашего времени. И он всерьез заговорил со мной… о том же! Он сказал, что у него есть достоверные сведения, будто в Бретани крестьяне видели францисканского монаха, необычайно похожего на императора. И что маршал Мармон, постыдно предавший императора, ездил в этот монастырь и долго говорил наедине со странным монахом, а когда покидал его келью, у него на глазах были слезы.

– Не хотите ли со мной туда поехать? Вы единственный из моих добрых знакомых, кто хорошо знал императора…

Я решительно ответил:

– Мой вам совет – не будьте смешным. И поговорите лучше об этом с Бертраном, Гурго или Маршаном…

Я начал перечислять своих товарищей по заточению на острове, но аббат прервал меня:

– Я уже пытался это сделать. Маршан меня не принял, граф Бертран не дал мне даже закончить мой вопрос. Он сказал, что император вполне может быть в монастыре, а также в иных самых разных местах, но… исключительно в виде духа. Ибо он лично наблюдал его кончину. И вместе с Маршаном положил его в гроб. А генерал Гурго вообще послал меня… Но неделю назад он прислал мне письмо, где спрашивал… адрес этого монастыря!

Я только пожал плечами и пожелал аббату выбросить из головы подобную чепуху. Однако после его ухода я почему-то не смог последовать собственному совету. И решил встретиться со скандалистом Гурго.

Гурго жил в огромной, очень дорогой квартире на улице

Сент-Оноре, недалеко от Пале-Рояль. Видимо, император неплохо о нем позаботился после смерти… Как и я, генерал не был при кончине императора. Он так надоел своими скандалами, что император почел за лучшее отпустить его с острова.

Когда мы встретились, старая вражда была тотчас забыта – теперь Гурго ненавидел только тех, кто остался на острове до конца. Так что я опускаю эпитеты, которыми он награждал при нашем разговоре Бертрана, Маршана и особенно графа Монтолона – «рогатого мерзавца, получившего от императора деньги в обмен на услуги известной б…и – его жены».

Наконец мы перешли к слухам о спасении императора. Оказалось, Гурго уже побывал в монастыре.

– Слухов было так много, – сказал он, – что я не выдержал и три дня назад поехал туда. Да, монах потрясающе похож, и, зная это, даже немного переигрывает, постоянно держит правую руку согнутой, будто закладывает ее за борт невидимого походного сюртука… и демонстрирует прочие известные всем привычки императора.

– Вы с ним говорили?

– Да, но немного. Мы перебросились парой слов, когда он шел в храм, и этого было достаточно. После чего я успел вдогонку посоветовать хитрецу побольше молчать, потому что его голос совершенно не похож на голос императора, который до сих пор звучит у меня в ушах…

– А вы имели возможность слышать императора до Святой Елены?

– Достаточно часто, – не задумавшись, ответил Гурго, и мне показалось что он… прихвастнул.

– Значит, ехать не надо?

– Только если совсем нечего делать. Но мой совет – лучше отправиться к б…м, чем ухлопать деньги на поездку. Лжец-монах не знает…

Тут Гурго торжественно подошел к письменному столу, достал золотой медальон, открыл его и показал мне маленькую прядь волос.

– Ее состригли с головы умершего императора. Согласно его завещанию, эти медальоны нам всем раздал Маршан. Так что император умер! Умер! Впрочем, людям так хочется, чтобы он был жив… И поверьте, будет еще много слухов…

– А почему Маршан не передал такой медальон мне?

– Значит, вам император его не завещал. Возможно, он не так вас любил, как вам казалось, – с удовольствием ответил Гурго.

Я уже уходил, когда он вдруг спросил:

– А хотите узнать самое интересное?

Я замер в дверях.

– Вот вы вроде все знаете про императора. Вы издали знаменитую книгу. А между тем вы ни хрена о нем не знаете! Известно ли вам, дерьмовый биограф, что еще до вашего отъезда император мог легко бежать с острова? И я – я лично! – подготовил этот побег! – Гурго наслаждался моим изумлением. – Пока вы строчили с императором вашу книгу, к острову причалил корабль из Бразилии под португальским флагом. И мне передали письмо от офицера из моего эскадрона. Оказалось, что он и другие офицеры, эмигрировавшие в Америку после Ватерлоо, основывали там некую коммуну ветеранов Великой армии… И три брата императора – Люсьен, Жозеф и Жером – побывали у них… с бо-о-льшущими деньгами! Кроме того, в Новом Орлеане жило около двадцати пяти тысяч весьма состоятельных французов, мечтавших, чтобы император стал… президентом США! И денег они не жалели! Короче, была подготовлена целая флотилия, чтобы освободить императора. В Новом Орлеане был даже отремонтирован для него дом… он до сих пор стоит там пустым… Оставалось все обсудить с императором. В это же время ему передали письмо от матери. Она жаловалась, что ей не разрешили приехать на остров: «Я уже очень стара и мечтаю умереть около тебя…» На самом деле в письме была тайнопись – план освобождения. Корабли из Америки должны были прибыть под флагами союзников… Но вскоре после получения письма в доме появился… губернатор Лоу и объявил, что ему все известно об американской флотилии! Вокруг были выставлены вторые цепи караулов, на остров дополнительно привезли английских солдат. Но самое интересное не это…

Гурго сделал многозначительную паузу и неторопливо продолжил:

– На острове о заговоре знали только двое – я и император. Никто другой из его окружения ничего не знал. И возникал вопрос: от кого узнал губернатор? Была затронута моя честь… я был в бешенстве! Кстати, к тому времени я уже последовал совету императора – помните, он советовал мне завести любовницу? И я завел ее. Это была жена высокопоставленного офицера, весьма близкого к мерзавцу-губернатору. Она была из самой аристократической семьи, но… очень дурна собой и оттого особенно дорожила нашей связью. Так что я мог попросить ее узнать у мужа все подробности этой истории. Каково же было мое изумление, когда оказалось, что губернатору все сообщил… как вы думаете, кто? Ну, отгадайте!

Я добросовестно перечислил всех слуг и даже назвал графа Монтолона. Гурго посмотрел на меня с презрением и

торжествующе выпалил:

– Киприани – любимец и наушник императора!.. Но дальше меня ждало куда большее удивление… Естественно, я решил немедля убить мерзавца. Но прежде явился к императору и рассказал ему все. Он преспокойно меня выслушал и сказал… что верит Киприани, «как самому себе»! И что Киприани не мог этого сделать, а «даму попросту надул муж, который наверняка знает о вашей связи и даже рад ей, ибо хоть кто-то е…т его жену, избавляя его самого от этой неприятной обязанности. Через нее он и запустил нарочно эту ложь, чтобы оболгать самого верного мне человека».

«Но ведь кто-то же сообщил!.. – воскликнул я. – Знали только мы с вами. Выходит, это… я?»

Император слушал меня со скучающим видом. Потом улыбнулся и вдруг сказал:

«А может быть… я?»

Я был в полном изумлении.

«Может быть, я приказал Киприани выдать заговор? Вы не допускаете такую возможность?»

«Но… почему, Сир?!»

«Обычно я ни с кем не обсуждаю планы своих сражений. Их понимают потом… по результатам…»

«Но что я должен буду понять, Сир? Что вы предпочли свободе плен на острове?»

Император засмеялся:

«Боюсь, что и в будущем вам понять это будет трудно… Конечно же я шучу. Но виноват все-таки я… И любовная цепочка здесь и вправду замешана. Я был легкомыслен и кое-что рассказал некой даме, а она, должно быть, сболтнула своему любовнику… Я уже сделал ей суровый выговор. И забудем все!»

И тут я понял! Это была Альбина Монтолон! Недаром говорили, что у нее есть любовник в городе – английский офицер, с которым император и муж делят ее увядающие прелести. Но почему-то я долго не мог забыть его взгляд, когда он говорил: «Это я приказал Киприани!»

Бедный простодушный глупец Гурго! Куда ему понять? Это был все тот же терновый венец, который император решил не снимать до конца – до самого конца. Вот и все!

* * *

Тогда я спросил Гурго, что он слышал о последних днях

нашего повелителя. И хотя Гурго уже уехал с острова, когда началась болезнь императора, генерал заговорил с обычным апломбом:

– Не думаю, как нынче многие во Франции, что его отравили англичане. Хотя сам император часто говорил: «Они меня убьют»… Впрочем, о его смерти спросите лучше у Маршана, он сейчас в Париже. Но я уверен, что все это чепуха… Просто Маршан, Монтолон… они все помешаны на ненависти к англичанам. Уверен, что все было куда прозаичнее – император умер от наследственного рака, о котором он часто при мне рассказывал.

Естественно, я захотел встретиться с Маршаном и взял у Гурго его адрес. Я хотел узнать: неужели император не оставил мне медальон? Я был уверен, что это не так. Просто многие из его свиты меня недолюбливали, точнее – ревновали ко мне императора. Ведь именно со мной он проводил большую часть времени. Их раздражали мои знания, они считали меня заносчивым, ведь они – необразованные солдафоны. И император мог говорить с ними только о войне, он даже продиктовал Бертрану какое-то сочинение на военную тему. Я был единственный, с кем он мог рассуждать об истории и обсуждать свою жизнь.

Но я не успел отправиться к Маршану. К моему изумлению, уже на следующий день он сам явился ко мне.

Он смешно изменился, очень потолстел и теперь вместо худого парижского сорванца-слуги, с которым я простился на острове, передо мной стоял толстенький самодовольный буржуа. Император позаботился и о нем – за преданную службу оставил ему целое состояние.

Маршан держал в руках портфель, в котором я тотчас признал портфель императора. Он положил его перед собой, а потом степенно поприветствовал меня.

– Я очень рад вам, Маршан. Я как раз собирался вас навестить.

– Да, Гурго сообщил мне об этом.

– Вы поддерживаете отношения с этим невозможным человеком?

– Мы все поддерживаем отношения друг с другом. После возвращения с острова мы вынуждены опасаться за свою жизнь. Было покушение на Бертрана в его имении… В Латинском квартале, где я живу, напали на меня… И хотя все обошлось благополучно, мы по-прежнему тотчас сообщаем друг другу о людях, которые ищут с нами встречи.

И он торжественно открыл портфель с бронзовой литерой «N».

– Чтобы не забыть…

Он вынул медальон и протянул его мне.

– Долго же он меня искал, – усмехнулся я.

– Виноват, – несколько смущенно сказал Маршан.

Да, они очень меня не любили! Я открыл золотой медальон – в нем лежал локон императора.

– Волосы императора в браслетах и медальонах, – продолжал, будто отчитываясь передо мной, Маршан, – я должен был передать всем членам императорской семьи. Так завещал Государь. Два медальона я должен был передать императрице и Римскому королю, но Ее Величество отказалась меня принять. И все-таки мне удалось передать ей оба медальона. Однако после смерти Римского короля мне их вернул лакей в ливрее Ее Величества… причем без всякого сопроводительного письма от нее… Все это заняло, как вы догадываетесь, немало времени. А потом еще мой брак, хлопоты со свадьбой… Я ведь постарался жениться, как завещал мне император, «на бесприданнице, дочери моего обедневшего генерала»… Так что до вас просто руки не дошли… к тому же вы недавно в Париже…

Я разглядывал волосы императора в медальоне. Потом все-таки спросил:

– Вы по-прежнему называете безмозглую самку императрицей?

– Так называл ее император до самой своей смерти. Так до своей смерти буду звать ее и я.

Пора было прощаться. И тут я почему-то начал рассказывать ему об аббате и моей предполагавшейся поездке в монастырь.

– Да, аббат был у меня, – прервал меня Маршан. – И меня очень удивило: такой просвещенный человек – и тратит время на подобную ересь. Волосы в медальонах срезаны мною после смерти императора. Это ответ на все глупости. Я был с императором все дни на острове, был рядом в час смерти и был, когда его зарывали в землю…

И тут Маршан замолчал… Я чувствовал! Чувствовал, что он хочет еще что-то сказать… и колеблется. И я спросил его прямо:

– Маршан, я, как и вы, исполнил волю императора. Я сделал его мысли известными всему миру. Он доверял мне… и вы просто обязаны мне доверить все, что знаете. Хотя бы в память о нем…

Он долго молчал. Наконец сказал:

– Хорошо. Я знаю, что генерал уже рассказывал вам о Киприани. Итак… – Маршан попросил воды, потом подошел к окну, постоял… – Сколько уже лет прошло с тех пор, как я

вернулся с острова, но до сих пор смотрю на улицу: не стоит ли кто подозрительный перед домом. Мы привезли с острова страх…

Итак, уже вскоре после вашего отъезда император начал умирать. Время от времени он заявлял: «Здешний климат убивает меня, поэтому они и послали меня сюда. Это сухая гильотина». И он делал все, чтобы об этом узнавали в Лондоне. В мою… точнее – в нашу общую обязанность входило спускаться в городок и в тавернах рассказывать морякам, как убивают императора. Его Величество немного играл… Но именно в это время он начал подозрительно быстро толстеть. Грудь стала совсем бабьей… мне пришлось распустить в поясе его брюки…

Помню, он принял Бетси… вы, конечно, помните ту очаровательную девушку, с которой у него был смешной флирт? Она с семьей уезжала в Англию… и пришла попрощаться вместе с матерью. Когда она вышла из комнаты императора, ее глаза были полны слез. Она сказала: «Бедный император! Как изменила его болезнь… это старик., восковое лицо… и как он ослабел… опирался одной рукой на стол, а другой на плечо слуги, чтобы просто подняться нам навстречу. Моя мать сказала, что его лицо отмечено печатью смерти…»

Когда они ушли, к императору вошел я. Он, довольно улыбаясь, лежал на кровати. И вдруг поднялся… а точнее, вскочил с кровати. И весело сказал: «Что ж, теперь эти Бэлкомбы довезут до Лондона весть о великом человеке, которого убивает климат! Однако… как жаль, что ей не было хотя бы на пять лет больше!»

Слухи о его нездоровье сделали свое дело. На остров прибыл важный чиновник Ост-Индской компании… Чарлз Риккетс – так его звали. Он плыл из Индии в Лондон, и ему, видно, поручили узнать и доложить, что с императором. Он тотчас попросил о встрече с Его Величеством. Но у императора была, как вы знаете, особая интуиция. «Так! – сказал он. – Решили проверить. Откажите ему… пока».

После этого Лоу вызвал Киприани и стал уговаривать повлиять на императора, чтобы тот принял чиновника. Он объяснял Киприани, как этому Риккетсу доверяют в Лондоне и как это может благоприятно отразиться на судьбе «генерала Бонапарта». Император, которому Киприани тотчас все доложил, позвал меня и Бертрана и долго хохотал. Он мучил Лоу и бедного Риккетса, то соглашаясь на аудиенцию, то отменяя ее. Целых три недели несчастный проторчал на острове, наверняка проклиная свое поручение. Наконец император принял его.

Император был небрит и лежал в полутьме на кровати. Во время беседы он иногда пытался приподняться, как бы с великим

трудом, а я ему помогал. Когда Риккетс вышел, Бертран спросил его: как он нашел нашего Государя?

«Генерал Бонапарт, безусловно, болен, – отвечал Риккетс, – особенно меня пугает его полнота, весьма странная. Голова буквально уходит в плечи, щеки дряблые, спадающие по обе стороны, и ему явно трудно садиться на кровати, два-три движения уже причиняют ему боль… Я переговорю с губернатором о лечении и врачах для генерала».

Между тем наш больной уже к вечеру скакал на лошади, был весел и ел с отменным аппетитом. И даже поработал немного в саду. Правда, вспомнив, что англичане наблюдают, вдруг выронил лопату, пошатнулся и упал на мои руки…

Но именно тогда и меня, и Бертрана, и Монтолона… всех нас неприятно удивило странное доверие Лоу к Киприани. Губернатор ни с кем из нас не поддерживал отношения, а с Киприани, как выяснилось, он общался и даже доверял ему свои поручения. Вот тогда Бертран и рассказал нам удивительную историю, которую узнал от Гурго – о неудачном побеге императора. И о роли Киприани во всем этом…

Маршан уже собирался рассказать ее мне, но я перебил его:

– Я знаю эту историю от самого Гурго.

– Тем лучше. И тогда граф Бертран, – продолжил Маршан, – решился поговорить с императором. В моем присутствии он спросил: не волнуют ли его эти странно доверительные отношения губернатора и Киприани?

Император ответил: «Да, это животное действительно доверяет Киприани. Дело в том, что Киприани – его шпион… Причем очень давно». И долго наслаждался изумлением Бертрана.

Оказалось, Лоу завербовал Киприани еще на Капри, где англичанин должен был оборонять остров от войск императора. И Киприани предложил «идиоту» доставлять сведения о французах. На самом же деле все было наоборот – Киприани верно служил императору. И оттого наши войска при его помощи так легко взяли остров. И когда Лоу стал губернатором на Святой Елене, Киприани по приказу императора тотчас явился к нему и вновь предложил свои услуги…

Все это император рассказал нам. И добавил: «Вы можете себе представить радость этого болвана. Так что теперь Киприани «служит» губернатору, а я знаю каждый шаг англичан, каждое слово. Например, вчера Лоу решил выслать врача О'Мира».

Этот врач-англичанин уважал императора. Именно на него Государь во время врачебных осмотров обрушивал потоки

поношений в адрес англичан. Но тот терпел… А когда О'Мира уехал, император в моем присутствии торжествующе сказал Бертрану: «Знаете, за что его отослали? Как сообщил мне два месяца назад Киприани, губернатор обсуждал с О'Мира, какие выгоды принесла бы Европе моя смерть, и делал это в такой форме, которая, как заявил О'Мира одному из чиновников, «при разнице наших с ним положений ставит меня в самое затруднительное положение». Эти благородные слова и стоили ему карьеры!»

Но император сделал так, что слова доктора стали известны и в Лондоне. И через пару месяцев Его Величество позвал Монтолона, Бертрана и меня и сказал: «Вот вам первый результат истории с О'Мира. Теперь англичане больше всего боятся, что я умру. Ибо вся Европа тотчас обвинит их в моей смерти. Поэтому, как сообщил мне Киприани, из Лондона прибыла депеша с выговором «животному». Так что мне остается только умереть, чтобы добить моих тюремщиков». И он засмеялся.

И действительно, после этого режим явно смягчился – императору разрешили большие прогулки. Помню, во время одной из них мы наткнулись на прелестное поместье километрах в трех от Джеймстауна. Оно принадлежало одному из отставных высших чиновников Ост-Индской компании. Ковер из тропических цветов, целый ботанический сад из всевозможных деревьев, великолепный дом в колониальном стиле… Я поскакал к дому и попросил от имени Государя дозволения отдохнуть в саду. Чиновник с восторгом согласился и вышел сам встретить нашу кавалькаду. Он проводил нас к очаровательной поляне у родника.

Здесь мы славно позавтракали. Во время еды император конечно же принялся оживленно беседовать с хозяином – как обычно, набрасываясь с вопросами на нового человека.

Когда мы уезжали, я пошел поблагодарить хозяина. И тот сказал мне: «Ваш генерал – само очарование. Но я не могу не удивляться его полноте… Как старый врач, я хочу предупредить – это очень опасно. Он болезненно тучный. Тучный и круглый, как китайский боров. У него еще много энергии, но боюсь, слухи о его болезни не сильно преувеличены».

Пока я все это выслушивал, император молодецки вскочил на лошадь, тронул ее с места… и вдруг спешился. И я увидел, как его под руки ведут к экипажу, который по решению врачей теперь всегда нас сопровождал. Я решил, что он, как обычно, притворяется… у него был звериный слух, и хотя мы с англичанином говорили на значительном расстоянии, он мог нас услышать и тотчас показать, как он болен. Но в экипаже у него

началась сильнейшая рвота. И я понял – это уже не было притворством…

Бедный император! Ему по-прежнему казалось, что он играет, а между тем… он и в самом деле был очень болен. Он продолжал стремительно жиреть, у него совсем отвисли щеки, и теперь после еды часто бывала тошнота. Я осмелился сказать, что ему не худо бы серьезно поговорить с доктором. Он рассмеялся и вдруг очень серьезно ответил: «Единственно порядочного врача они выслали, а эти – отравители. Неужели вы не поняли – меня травят. Вы же видите, как я изменился. Но, надеюсь, все выяснится после моей смерти…»

Но как они могли его травить? Я позвал графа Монтолона, который был у нас управителем дома, сообщил ему слова Государя, и мы обсудили положение. Монтолон сказал, что император уже не раз ему говорил об отравлении, но этого быть не может. Мы едим одну еду, император все время на глазах… Однако Монтолон согласился: что-то происходит, Государь наш все меньше играет в болезнь и все больше болеет.

Обсудив все варианты, мы оба пришли к единому выводу: это могло быть только вино! Он пьет свое вино, не доверяя англичанам. И пьет его – один. Ему привозили вино специально из Алжира. А ключ от винного погреба находился… у Киприани!

Проклятье! Опять Киприани! Конечно, мы вспомнили рассказ Гурго о лжешпионе… И я сказал: «А если он… обманывает императора?!»

С этой минуты мы не спускали глаз с проклятого корсиканца. Перед тем как он спускался в погреб, мы с Монтолоном прятались там за бочками и наваленной конской сбруей… И вот однажды корабль привез для императора его вино из Алжира. Мы, как всегда, заняли свой наблюдательный пункт.

В погребе появился Киприани… И мы увидели, как он неторопливо открывает бутылку за бутылкой только что привезенного алжирского вина и… что-то туда подливает! Я первым выскочил из укрытия. Но Киприани, увидев меня, совсем не смутился, а как-то зло спросил, что я тут делаю.

Вышедший из укрытия следом за мной граф сурово спросил его о том же. Киприани засмеялся и ответил: «Доливаю воду в вино по приказанию императора».

Монтолон тотчас поднялся наверх и все рассказал императору. «Совершенно верно, – сказал Государь, – я велел ему сделать это».

И тогда мы решились… Мы тайно перелили вино из бутылок императора в общие и начали потчевать им Киприани. Корсиканец, в отличие от императора, обожал выпить. И пил вино

бокалами…

Маршан остановился и усмехнулся.

– И что же? – не выдержал я.

– Не догадались? Он вскоре умер!.. Через месяц после его смерти остров покидала Альбина Монтолон, и мы тогда получили окончательное подтверждение. Император был с ней очень сух и даже не пошел проводить. Он сказался больным и наблюдал через ставни, как она и ее дети садятся в экипаж. В последнее время он делил ее с молодым английским офицером Бэзилом Джексоном – об этом при мне императору сообщил Киприани. И император тогда сказал: «Она мне больше не нужна… интриганка, ссорившая меня со всеми и отдающая сердце только за выгоду…» Но все равно перед отъездом передал ей весьма кругленькую сумму… А ее муж, граф Монтолон, как вы знаете, остался… К чему я это рассказываю? Уже садясь в экипаж, Альбина вспомнила, что забыла отдать книгу, которую взяла почитать… На титульном листе было написано имя ее владельца – *Киприани!* Это была книга… о знаменитой отравительнице, маркизе Мадлен де Бренвийе, которая *постепенно, малыми дозами мышьяка* убила отца и обоих братьев, чтобы завладеть их состоянием. На страницах, где цитировались допросы маркизы и шла речь о дозах мышьяка, были многочисленные пометки Киприани. В книге были подробности, заставившие меня вздрогнуть. Рвота, головные боли, сильный озноб – все, что император испытывал в последние дни. Это и были симптомы отравления мышьяком!

Киприани умер, но дело, видимо, было сделано. Англичане купили мерзавца! Чтобы у потомков не было сомнений в преступлении, я начал вести дневник болезни императора. Он оказался дневником смерти Государя…

Маршан вынул из портфеля тетрадь.

– Я попытаюсь напечатать его в своих воспоминаниях. Но если они не выйдут, я уступлю дневник вам…

И он начал читать последние страницы.

Когда он читал, мои ощущения были ужасны. Я все видел… я опять видел императора!

Вчера Маршан передал мне свой дневник. Привожу полностью те самые последние страницы (я вновь перечитал их в его присутствии) и наш разговор.

«30 января 1821 года. Кашель, почти прозрачные потухшие глаза, постоянная жажда, боли в желудке. Это симптомы отравления мышьяком.

3 февраля. Император в плачевном состоянии.

4 февраля. Состояние не изменилось – глубокая печаль…

26 февраля. Он окончательно слег. Сухой кашель, рвота, жжение в кишечнике…

17 марта. Английский врач Антомарки конечно же заявляет: «Болезнь, которой страдает генерал Бонапарт, вызвана особенностями климата (!) и симптомы ее крайне опасны!» Почему-то ни у кого из нас климат болезнь не вызвал! А у императора – вызвал! Но попробовал бы этот врач сказать что-то другое!..

20 марта. Антомарки все время дает ему рвотное и ставит клизмы. Вчера император жаловался: «Когда приступ – мне кажется, что в животе у меня режут бритвой».

23 марта. Обострение лихорадки. Ледяной холод в брюшной полости.

30 марта. Губернатор потребовал показать ему императора. Англичане его не видели целых 12 дней – он не выходит на улицу. Чтобы не было скандала, я пошел на обычный компромисс – после клизмы мы посадили императора у окна, и я немного приоткрыл ставни. И губернатор увидел императора, который, опираясь на доктора, возвращался в свою комнату, и услышал его голос, когда он ложился в постель.

15 апреля. Простыни в рвоте и… чернилах – император продолжает работать. Просит Бертрана читать ему вслух любимые «Записки о Галльской войне» и сегодня продиктовал дополнение к главе о военных походах Цезаря… Врачу Антомарки при осмотре приходится терпеть все, что терпел О'Мира – слушать, как император клянет англичан и сулит им ужасную революцию. «Ваши олигархи все одинаковы – наглые, пока командуют, трусливые, когда опасность!.. Это они убили меня!»

21 апреля. Император зовет аббата Виньялли. Они долго говорили о Боге. «Я родился католиком, исповедую католическую религию и хочу воспользоваться обязанностями, которые она предписывает, и благодеяниями, которые она предоставляет». Дал аббату указания относительно своего отпевания: «Вы должны строго выполнить то, что положено, пока я не буду предан земле». Аббат оставил ему Библию, которую император теперь читает каждый день. После ухода аббата он сказал доктору Антомарки: «Можно ли сомневаться в существовании Господа, если все вокруг нас это доказывает? Недаром величайшие умы были убеждены в этой истине».

22 апреля. Утром император завершил свое завещание, где прямо написал: «Я умираю преждевременно от руки английской олигархии и нанятого ею убийцы… Я умираю в лоне Римской

апостольской церкви. Я завещаю моему сыну свою славу, свое имя и своих друзей. Ничего более ему не потребуется для получения трона. Я рекомендую моему сыну никогда не забывать, что он рожден принцем Франции и никогда не соглашался служить инструментом в руках триумвиров, угнетающих ныне Европу. Он должен воспринять мой девиз «Всё ради народа Франции». Мой сын не должен помышлять о мести за мою смерть. Пусть он будет человеком своего времени. Пусть властвует в мире со всеми народами и помнит: если он захочет продолжить мои войны, то будет попросту обезьяной… Пусть читает и чаще размышляет над историей – это единственная подлинная философия… Но все, чему он научится, не поможет, если в его сердце не будет гореть священный огонь добра…»

Он отдал еще много распоряжений и написал много слов. Потом он распределял свое состояние: «Я хочу заплатить все свои долги». Он завещал передать огромную сумму вдове Киприани. Этого вынести я не мог и позвал графа. В его присутствии я рассказал императору о заслуженной смерти негодяя.

«Да, Сир, – добавил граф Монтолон, – мы были его палачами. Я думал, что ваша фраза в завещании: “Я умираю преждевременно от руки английской олигархии и нанятого ею убийцы” означает, что вы это поняли».

Император долго молчал, а потом сказал: «Бедный Киприани!» После чего… вдвое увеличил сумму, оставленную семье мерзавца! И повторил: «Меня отравили англичане. Запомните это!»

Только это ему было важно. И потому он оставил деньги негодяю. Чтобы только англичане считались его убийцами».

Я прочел последние строки вслух и посмотрел на Маршана. И Маршан на моих глазах стал покрываться потом… Он прошептал:

– Вы считаете?..

Я не ответил. Он понял все, о чем я думал, ибо сам, видно, думал о том же.

* * *

Мы долго молчали. Смеркалось. Я велел слуге принести свечи и продолжил читать дневник.

«Император сказал: “Я хочу, чтобы произвели вскрытие моего тела… (Он хотел, чтобы все увидели – он отравлен!) И еще: я хочу, чтобы мое сердце поместили в сосуд со спиртом и отвезли его в Парму моей дорогой Марии-Луизе… Скажите ей, что я ее

нежно любил и никогда не переставал любить… – И еще раз повторил: – Я прошу со всей тщательностью произвести вскрытие моего тела и подробный отчет вручить моему сыну. Я хочу также, чтобы после моей смерти поехали в Рим к моей матери и моему семейству и рассказали обо всем, что происходило на этом печальном утесе. И не стесняйтесь говорить всем, что великий император умер в самом жалком положении, чувствуя недостаток во всем, и брошенный всеми… кроме своей Славы!”

И он дописал в завещании большими буквами: «Я оставляю в наследство всем царствующим домам ужас и позор последних дней моей жизни».

После чего завещал передать сыну все дорогие ему вещи: «Мою шпагу, которая была при мне под Аустерлицем, золотой несессер, который проехал со мной от Ульма до Москвы… и был при многих победах над его дедушкой… орден Почетного легиона, часы Фридриха Великого и медальон с моими волосами…» И добавил: «Я желаю, чтобы мое тело покоилось на берегах Сены среди народа Франции, который я так любил. Впрочем, так оно и будет – вы это увидите…»

Потом он еще раз перечел завещание и сказал: «Жаль будет не умереть, когда навел такой порядок в своих делах».

23 апреля. Император бредил. Вдруг спросил:

«Где Гурго?»

«Он уехал, Сир».

«С моего разрешения?»

«Вы даже письмо для него написали…»

«Где Киприани? Позовите его».

«Он умер».

«Ну что ж, он решил ждать меня там… Он не мог оставить меня одного… верный пес…»

Так он назвал негодяя.

Потом вдруг позвал графиню Бертран, которую до этого почему-то очень не любил… Она сказала мне, рыдая: «Как он изменился! Я рада, что он вернул мне свое расположение. Но была бы счастливее, если бы он позволил мне ухаживать за собой…»

А он все звал знакомцев:

«Где Бетси, где господин Бэлкомб?»

«Они уехали».

«Когда же?»

«Несколько месяцев назад».

«А почему Киприани мне до сих пор не доложил?»

«Киприани умер».

«Да-да, конечно… Отправился выведать, что меня ждет

там…»

2 мая. Совсем незадолго до смерти он вдруг начал вспоминать своих погибших маршалов и генералов: «Клебера убили в Египте, Дезе – при Маренго… На берегу Дуная остался мой храбрец Ланн… Под Бауценом убит Бессьер… Под Макерсдорфом – Дюрок… Бертье и Жюно покончили с собой… Мюрат и Ней – расстреляны… Но живы изменники – Бернадот, Мармон…»

И вдруг заговорил как-то мечтательно, называя меня… Киприани!

«Скоро, Киприани, меня не будет. И каждый из вас получит сладкое утешение – вернуться в Европу, встретить любезных друзей и родных… И я ведь тоже получу свое утешение – я тоже увижу моих храбрецов. Где-нибудь высоко над Елисейскими Полями я встречу своих погибших солдат и маршалов. Клебер, Дезе, Бессьер, Ланн, Дюрок, Массена, Ней, Мюрат, Бертье… Мы будем беседовать о наших победах, о нашей общей славе. Надеюсь, к нам присоединятся и Ганнибал, и Цезарь, и Сципион, и Фридрих… Как это будет отрадно! Только боюсь, Киприани, что в Европе немножко испугаются, увидев в небесах так много вояк…

4 мая. Он впал в забытье и с криком: «Убийца – Англия!» вскочил с кровати. Монтолон боролся с ним, и император пытался его задушить – ему, видно, мерещилось, что он борется с англичанами. Из соседней комнаты прибежали мы с Бертраном и силой уложили его в постель.

Более он не двигался. И умирал – молча…

Ночью был ужасный шторм. Непрерывно лил дождь, ветер будто собрался все снести. У дома переломило иву, под которой император так любил сидеть. Да, он все забирал с собой – буря вырвала все посаженные им растения. Последнее дерево долго боролось, но и оно было вырвано с корнем и исчезло в потоке грязи, низвергавшемся с гор…

Всю ночь император стонал, к утру впал в забытье. И в забытьи шептал – очень ясно – одно и то же: «Франция… мой сын… армия…»

5 мая. День заканчивался. И дождь вдруг прекратился, в небе показалось солнце. Оно уже заходило…

Император вдруг широко открыл глаза… будто что-то увидел… И отдал душу Господу. Было 5.49 пополудни… он скончался. Врач засвидетельствовал последний удар пульса – он держал императора за руку и смотрел на часы… это были часы Истории.

И в следующий миг (я подчеркиваю: в следующий же миг!)

ударила пушка – ибо без десяти шесть был заход солнца. Пушка будто отсалютовала ему, и солнце тотчас скрылось за горизонтом.

Мы вышли из комнаты – объявить слугам… И когда вновь вернулись, застыли в изумлении: на кровати вместо одутловатого, жирного императора лежал худой и совсем молодой человек – юный генерал Бонапарт!

В ночь после его смерти я вышел из дома. Небо было совершенно безоблачно, горели звезды… Еще в середине апреля император объявил нам, что скоро умрет. Именно тогда над островом появилась комета. Когда я сказал ему об этом, он улыбнулся: «Это за мной. Кометы предсказывают рождение и смерть цезарей…» И вот теперь, подняв голову, я задрожал: меж звездами уходила, удалялась от острова, хвостатая звезда – его комета…

Когда его обмывали, кроме двух ран, о которых нам всем было известно, мы с удивлением обнаружили следы еще нескольких глубоких ран! Видимо, он скрыл их, чтобы не смутить солдат, которые должны были верить в его неуязвимость. Он молча терпел сильнейшую боль и обходился без помощи.

На следующий день в два пополудни мы перенесли стол из его кабинета в самую большую и светлую комнату. Семнадцать человек присутствовали при вскрытии – семь врачей, Бертран, я и представители губернатора. Доктор Антомарки вскрыл грудную полость и извлек сердце. Он поместил его в серебряный сосуд со спиртом, как завещал император (но губернатор приказал положить его в гроб вместе с телом). Затем Антомарки извлек желудок – часть его была совершенно изъедена. И объявил: «Вот что сделал климат острова!»

Но остальные врачи не захотели даже такого диагноза. «Он умер от рака!» – заявили они.

Мы с Бертраном потребовали анализа на содержание мышьяка. Напрасно! Врачи-англичане возражали против любого дальнейшего исследования. Тело быстро зашили. Император навсегда унес в гроб свою тайну.

Его одели в форму егерей императорской гвардии – белая рубашка с белым галстуком, белые чулки и зеленый мундир с красными обшлагами, украшенный лентой с орденами Почетного легиона и Железной Короны. На ногах были сапоги для верховой езды, на голове – треуголка с трехцветной кокардой. Мы накрыли тело синим плащом, который был на императоре при Маренго.

Похоронили его, как он и хотел, под плакучими ивами у дома Бэлкомбов в Долине Герани. К могиле был приставлен часовой.

Разгорелся, как и ожидалось, яростный спор: что написать на плите? «Наполеон», как пишут о Государях (так требовали мы),

или «Наполеон Бонапарт», как пишут о подданных (так требовал губернатор). И плита осталась безымянной…»

* * *

Маршан уехал, и теперь, в одиночестве, я хочу записать диспозицию последней битвы, которую выиграл император. Только теперь я до конца понял ее.

Записываю для потомков.

Итак, он решил заманить врага в ловушку. Он осознанно сдался англичанам, зная, что мстительные глупцы непременно наденут на него столь желанный им венец страдальца. В этом терновом венце ему легко было создать свою новую (последнюю) армию – легенду о благородном сыне великой революции. И он отправил эту армию завоевывать Европу… то есть отослал меня с рукописью… После чего жизнь более не имела для него цены. Путь был завершен. Он все объяснил миру. А доживать на покое – невозможно для Александра Македонского.

Оставался финал. Нужно было доиграть до конца – запачкать своей кровью руки врагов, сделать англичан коварными убийцами. И он повелел «верному псу» Киприани ежедневно травить себя мышьяком.

Так он победил. Победил, как всегда, в последний миг боя. И хотя в сонм бессмертных ему не удалось войти владыкой величайшей империи, он вошел в него куда более прочно – гением и страдальцем.

Отныне его поражения забыты – остались только победы. И, прочтя мой «Мемориал Святой Елены», его старый враг Шатобриан вынужден был написать: «Это Карл Великий и Александр Македонский, какими их изображали древние эпопеи… **Этот фантастический герой и пребудет теперь, после смерти императора, единственно реальным».**

Впрочем, когда Бертран (я часто с ним вижусь теперь) прочел мою «диспозицию последней битвы императора», он сказал: «Все верно… кроме конца. Я не верю, что он приказал травить себя. Нет, это Киприани сам решил избавить императора от ничтожной жизни. И сделал это в корсиканском стиле – ядом… Император это понял. И простил его».

Думаю, Бертран не прав. Слишком часто император искал смерти в бою. А для него это был бой. Последний бой… Да и Киприани… нет, верный пес может действовать только по приказу хозяина!

Хотя, как говорится в романах госпожи Жорж Санд, «тайну

знает только могила».

Предсказания императора оказались столь же точны, как и диспозиции его сражений. Через девять лет после его смерти Бурбоны сгнили на троне, и Луи Филипп Орлеанский, потомок «гражданина Эгалите»[35], решил стать преемником революции и ее императора. И Вандомская колонна, увенчанная фигурой «маленького капрала», вернулась на свое место…

Мне рассказали: мать императора жила тогда в Риме. И гордая Летиция, узнав о возврате колонны – ослепшая, парализованная! – поднялась с кресла! И, глядя в даль невидящими глазами, громко объявила: «Император вернулся в Париж!»

Она не дожила каких-то четырех лет до полного торжества, когда ее слова стали буквальны.

Дожил я.

Дней моих на земле осталось немного, восемьдесят лет – не шутка! Подводя итоги, могу сказать – мы славно потрудились с императором. Вся мыслящая Европа, которая когда-то не могла ему простить короны, которую надел вчерашний сын Свободы, теперь была у его ног. Что только о нем не наговорили нынешние писатели: «Последний античный герой… Наш жалкий мир лавочников не смог вынести ослепляющего кошмара его побед…»

И теперь, накануне встречи с Господом, я часто думаю: не согрешил ли я, написав его апологию? И о чем была его история? О воинской славе? О великом полководце? Но сколько их было за тысячи лет – Александр Македонский, Цезарь, Ганнибал, Аттила… А сколько их было до них – великих и забытых героев, сравнявших с землей величайшие царства? Но все они канули в Лету.

Тогда о чем?..

* * *

И я вспоминаю Святую Елену… Я вхожу в его кабинет, он сидит в темноте. В руках у него Библия.

– Послушайте, это из пророка Исайи, – говорит он. – «Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства…» Да, – продолжает он, – это была всего лишь история о гибели очередного Вавилона, который из века в век строят великие правители…

И, помолчав, повторяет из темноты слова Папы:

– «Все великие полководцы собирали великие армии, чтобы железом и кровью завоевать мир, но тщетно. И только Спаситель, безо всяких армий, со своего креста завоевал целый свет одною Любовью».

И я слышу его смех…

Из архива Шатобриана

23 сентября 1832 года. Женева.

После покупки рукописи Лас-Каза Бонапарт преследует меня. Сегодня проснулся посреди ночи. И несмотря на темноту, ясно увидел большие бронзовые часы, висевшие высоко на стене почти под потолком. Они странно светились. Было три пятнадцать… и над часами из тьмы медленно выступала крупная голова… Я не мог пошевелиться. Ужас парализовал меня. Я видел, как голова отошла от стены и поплыла над постелью… я различил закрытые глаза и прядь на лбу… Голова пересекла комнату и столь же медленно уплыла в стену…

Я поднялся, зажег свет… я был мокрый от пота… и первое, что увидел на столе, – рукопись Лас-Каза!

В Женеве меня дожидались Жюльетта[36] и барон д'Отанкур, весьма близко знавший Бонапарта. И я дал им прочесть загадочное сочинение.

Сегодня утром мы с Жюльеттой отправились в замок Кноппе. Здесь жила в изгнании Жермена[37], высланная сюда Бонапартом. Здесь же, в рощице, ее могила…

Барон обещал присоединиться к нам в замке.

Нам открыли ворота. Тишину безлюдных комнат нарушал только звук наших шагов. Тени возвращались… Я понимал, о чем думает сейчас Жюльетта… мы прожили слишком долго бок о бок, так что у нас не осталось несхожих воспоминаний. И нам обоим казалось, что наша подруга вот-вот выйдет из комнаты, сядет за пианино и, сыграв любимого Рамо, присоединится к нашей беседе.

Мы остановились в гостиной у окна. Я начал издалека:

– Итак, милая Жюльетта, вы прочли рукопись. То, о чем я сейчас вам расскажу, особенно странно прозвучит в этих стенах, где бродит тень Жермены… Как все мистично… Вы, конечно, помните эти упорные слухи, о которых так любила рассказывать Жермена: будто у Бонапарта был двойник.

Сапфировые глаза моей подруги загорелись.

– Да, меня преследует сумасшедшая мысль: мне кажется, что эта рукопись полна намеков… именно на этого двойника! Начнем с того, что Лас-Каз упорно называет своего собеседника «император», будто избегает имени «Наполеон». И далее… Вы помните, как в салоне рассказывали, будто двойник был не только рядом с Бонапартом в сражениях, но и подменял его в

опаснейшие моменты боя? И часто двойник, получив свою пулю, отлеживался в палатке, покуда наш «неуязвимый» продолжал руководить сражением… Не потому ли в рукописи на теле мертвого императора находят так много неизвестных ран! Или этот «член, как у ребенка», о котором упорно пишет Лас-Каз. Я знал не одну пассию Наполеона. И все они с удовольствием сплетничали о своих любовных историях, но никто не упоминал об этом. Хотя не стеснялись рассказывать (как положено французским актрисам) массу подробностей…

Она посмотрела на меня с испугом.

– Вы хотите сказать?..

Она замолчала. В окно был виден осенний парк и слышен шум воды, вращающей колесо мельницы. «Колесо времени начало вращаться обратно…»

– Я предложу вам вариант… несколько банальный, но я не могу придумать ничего иного. Итак, после Ватерлоо Бонапарт понимает: перст Божий или судьба отвергли его – и удаляется (опять же намек в рукописи!) в монастырь замаливать кровь, пролитую в бесчисленных войнах.

– Богомольный Бонапарт? Как бы он сам расхохотался!

– Кто знает, кто знает, что делает с людьми подлинное несчастье… Я пишу сейчас биографию некоего Ранее. Этот блестящий аристократ, атеист, великий донжуан закончил свою жизнь… монахом!

– Ах, значит, вы… пишете?

Легкая усмешка в уголках любимого рта. Но я не собираюсь ее замечать.

– Двойник… будем называть его «Император»… возвращается в Париж. Наполеон поручает ему выиграть свою «последнюю битву». Первая задача «Императора» – продиктовать воспоминания, создать образ для истории, который должен жить после его смерти… Именно с «Императором» и знакомится Лас-Каз в Елисейском дворце. Поэтому, как говорится в рукописи, после Ватерлоо «Императора» с трудом узнают Гортензия и Люсьен…

– И двойник смог продиктовать книгу, поразившую всю просвещенную Европу?

– Возможно даже, что он писал за Наполеона его поэтические бюллетени. Недаром в рукописи «Император» постоянно и удивительно точно их цитирует… А потом – героический финал: он завершил текст «мемориала», и верный Киприани сделал то, о чем «Император» договорился с Бонапартом: в игру вступил мышьяк.

Двойник был способен даже на самоубийство? – Она не

скрывает насмешки.

– Он давно чувствовал себя больше Наполеоном, чем сам Наполеон. Он был – «Император»!

Молчание.

– Вы ждете, что я скажу? Мой вопрос: зачем вам было писать о нем от имени Лас-Каза? Могли бы от своего. Вы знали Бонапарта, и он знал вас. Интересно, от чьего имени вы напишете обо мне?..

Злость не идет ей. На прелестном лобике вздувается жила.

– Ваши вечные игры!

Мне приходится ее разубеждать.

В это время раздается зычный голос:

– Я вынужден прервать ваш спор, мои дорогие друзья. Прошу прощения, но я отважусь сказать по-солдатски – какой к чертям двойник!

В дверях появился барон:

– Какая чепуха! Я служил с молодым Бонапартом в Балансе и был его адъютантом во время Итальянской кампании. Я был с ним на Аркольском мосту и схлопотал там две пули. А он, находившийся в самой гуще боя, единственный не имел даже царапины. Он был заговоренный, клянусь!.. И я сразу узнал его в рукописи. Здесь полно его словечек. И здесь его главная черта: никогда и никакого раскаяния! Никаких угрызений совести! Он радостно и точно указывает количество убитых, причем с сознанием исполненного долга. А погибли миллионы, доживают искалеченными – сотни тысяч! Я не забуду несчастного графа Моранди, у которого убили трех сыновей. Он сошел с ума и выкрикивал одну фразу: «Должен ли Господь просить у меня прощения?»

Мы вышли в парк. Я гляжу на вершину Монблана и горящее в закате Женевское озеро. Золотистые облака затянули горизонт. Но нет на свете нашей подруги, которая насладилась бы этим зрелищем, как нет и Бонапарта… который, впрочем, не заметил бы его…

Да, никого уже нет… никого из тех могущественных владык Европы, с которыми довелось беседовать ему и мне. Умер русский царь, умер «дедушка Франц», умер английский король, умер Людовик Восемнадцатый, умер папа Пий Седьмой… Осталась только эта таинственная стопка бумаги, исписанной торопливым почерком.

Жюльетта шепчет:

– Но зачем-то Господь его к нам послал?

– Или дьявол, – говорит барон.

Ветер затих, и в тишине – только говор ручья, вращающего жернова мельницы.

Я молчу. Вспоминаю слова, которые писал о нем тот единственный немец, который его не предал.

Гёте написал мне из Бадена: «Каждый чувствует, что за его историей скрывается **нечто.** Только никто не знает – **что**…»

notes

Сноски

1

Луи Филипп.

2

Луи Наполеон, ставший после смерти Римского короля (сын Наполеона) наследником династии Бонапартов.

3

Секретарь императора.

4

Брат императора.

5

Падчерица императора.

6

День переворота, когда Бонапарт стал Первым консулом.

Монтескье.

8

Брат диктатора.

9

Людовик Восемнадцатый.

10

Один из главных организаторов термидорианского переворота, член Директории – правительства республики после гибели Робеспьера.

11

Видимо, речь идет о мадам Талье. Она действительно была близкой приятельницей Жозефины и любовницей Барраса. Но решив сменить Барраса на богатейшего банкира Уврара, она передала его Жозефине.

12

Член Директории.

13

Генерал, впоследствии маршал.

14

Талейран.

15

Имя адресата не установлено.

16

Товарищ Бонапарта по военной школе, ставший его секретарем.

17

Суворов.

18

Будущий король Людовик Восемнадцатый.

19

Адъютант императора, генерал, впоследствии маршал.

20

Австрийский дипломат, заключавший мир.

21

Австрийский дипломат, заключавший мир.

22

Герцог де Леви, автор книги «Максимы и размышления о различных предметах».

23

Вероятно, князь Радзивилл.

24

Династия, правившая в Португалии.

25

Карл Четвертый.

26

Инфант Фердинанд.

27

Сестра императора.

28

Брат императора Людовик.

29

Сын Жозефины Эжен Богарне, усыновленный Наполеоном и сделанный им вице-королем Италии.

30

Посланник сардинского короля при русском дворе.

31

Маршал Ней.

32

Начальник Парижского гарнизона.

33

Во время Стадией.

34

Граф Нейперг – любовник Марии-Луизы.

35

Филипп Орлеанский по прозвищу «гражданин Эгалите», кузен Людовика Шестнадцатого, впоследствии член Конвента. Казнен по приговору революционного трибунала.

Мадам Рекамье (*прим. – Э.Р.)*.

Мадам де Сталь (*прим. – Э.Р.*).